



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS



PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*

1817



ARTES SCIENTIA VERITAS



le



Ротебниа, Александръ Афанас'евичъ.

МЫСЛЬ и ЯЗЫКЪ.



А. Ротебни.

2-Е ИЗДАНИЕ.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.



ХАРЬКОВЪ.

ТИПОГРАФІЯ АДОЛЬФА ДАРРЕ, РЫБНАЯ УЛИЦА, № 28.

1892.

800
P862 my
1892

На основаніи 41 ст. п. 4 и ст. 138 Уст. Рос. Унив. 1884 г. какъ настоящее сочиненіе, такъ равно и приложенное къ нему предисловіе, составленное профессоромъ Дриновымъ, разрѣшается къ печатанію и къ выпуску въ свѣтъ. 1892 г. Іюня 3.

Ректоръ Императорскаго Харьковскаго Университета

М. Алексѣенко.

61-300980

12
3887

3

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Вмѣсто предисловія	V
I. Намѣренное изобрѣтеніе и Божественное созданіе языка.	1
II. Беккеръ и Шлейхеръ	9
III. В. Гумбольтъ	27
IV. Языкознаніе и психологія.....	48
V. Чувственныя воспріятія.....	64
VI. Рефлексивныя движенія и членораздѣльный звукъ	78
VII. Языкъ чувства и языкъ мысли	90
VIII. Слово, какъ средство апперцепціи	111
IX. Представленіе, сужденіе, понятіе	139
X. Поэзія. Проза. Сгущеніе мысли	177

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Сочиненіе «Мысль и языкъ», обнародованное лѣтъ тридцать тому назадъ въ журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, за 1862 г., въ настоящее время сдѣлалось большою библіографическою рѣдкостію и даже совсѣмъ почти позабыто. Между тѣмъ оно имѣетъ важное значеніе, которое, можно надѣяться, съ теченіемъ времени будетъ только возрастать. — Въ этомъ своемъ сочиненіи покойный А. А. Потебня, излагая взгляды Гумбольта и его школы на отношеніе языкознанія къ психологіи и логикѣ, выставилъ рядъ своихъ собственныхъ выводовъ, какъ по этимъ общимъ, такъ и по многимъ приводящимъ сюда частнымъ вопросамъ, выводовъ, ставящихъ задачи русскаго и вообще славянскаго языкознанія на широкую основу исторіи мысли. Развитые здѣсь взгляды покойный авторъ проводилъ во всѣхъ послѣдующихъ своихъ трудахъ, находящихъ влѣдствіе этого въ столь тѣсной связи съ его сочиненіемъ «Мысль и языкъ», что читателю, незнакому съ послѣднимъ, многое въ нихъ будетъ представляться неяснымъ, недосказаннымъ. Это особенно можетъ относиться къ его «Запискамъ по русской грамматикѣ», гдѣ, разсыпая поражающе мѣткостію и новизною выводы при анализѣ отдѣльныхъ явленій, онъ мало заботится объ общей связи между частными своими обобщеніями, полагая, повидимому, что читатели и сами сѣумѣютъ найти ее при помощи сочиненія «Мысль и языкъ», представляющаго стройное изложеніе почти всѣхъ основныхъ взглядовъ покойнаго на отношеніе слова къ мысли. Этихъ своихъ взглядовъ А. А. Потебня держался до конца своей жизни, о чемъ, между прочимъ, свидѣтельствуетъ оконченный не-

задолго до его смерти и приготавливаемый нынѣ къ печати III-й томъ «Записокъ по русской грамматикѣ», гдѣ, разбирая мимоходомъ нѣкоторыя воззрѣнія, изложенныя въ новѣйшей книгѣ Макса Мюллера—*Das Denken im Lichte der Sprache* (1887 г.), онъ противопоставляетъ имъ свои давнишніе взгляды на отношеніе элементовъ слова къ понятіямъ и представленіямъ, и вообще грамматики къ философіи.— Воснувшій сочиненія Макса Мюллера, появившагося недавно и въ русскомъ переводѣ подъ заглавіемъ «Наука о мысли», кстати замѣтимъ, что нѣкоторыя изъ весьма важныхъ научныхъ положеній, выработка которыхъ тутъ приписывается новѣйшимъ западноевропейскимъ ученымъ (Нуаре), давно развиты А. А. Потебнею въ переиздаваемой теперь его ранней работѣ, аналогичной по содержанію съ новою книгою англійскаго языковѣда.

М. Дриновъ.

МЫСЛЬ И ЯЗЫКЪ.

I. Намѣренное изобрѣтеніе и Божественное созданіе языка.

Вопросъ объ отношеніи мысли къ слову ставитъ лицомъ къ лицу съ другимъ вопросомъ, о происхожденіи языка, и наоборотъ попытка уяснить начало человѣческой рѣчи, неизбежная при всякомъ усилии возвыситься надъ массою частныхъ данныхъ языкознанія, предполагаетъ извѣстный взглядъ на значеніе слова для мысли, и степень его связи съ душевною жизнью вообще.

Имѣя въ виду изложить нѣкоторыя черты той теоріи языка, основателемъ коей можетъ считаться В. Гумбольтъ, мы по свойству самого предмета, должны вмѣстѣ говорить и о происхожденіи слова. Начнемъ съ указанія на нѣкоторые прежніе взгляды, которые должны быть разрушены, чтобы дать мѣсто новымъ.

Прежде всего должны быть устранены взаимно противоположныя мнѣнія о сознательномъ изобрѣтеніи слова людьми и о непосредственномъ созданіи его Богомъ. Оба эти мнѣнія очень стары, но возобновлялись и въ недалекія отъ насъ времена и всегда, не смотря на различіе въ частностяхъ, сходились въ основныхъ положеніяхъ, заключающихъ въ себѣ внутреннія противорѣчія.

Теорія сознательно-намѣреннаго изобрѣтенія языка предполагаетъ, что природа и формы человѣческой жизни податливы готовы принять всѣ виды, какіе заблагоразсудитъ имъ дать произволь челоуѣка; она построена на вѣрѣ во всемогуще-

ство разума и воли, на что-бы они ни были направлены: на преобразования государства, литературы, или языка. Послѣдователи этой теоріи придавали особенный вѣсъ произвольности нѣкоторыхъ правилъ литературнаго языка и отсюда заключали о конститутивномъ вліяніи грамматическихъ работъ, на языкъ вообще. Цѣль грамматики, говоритъ Мерзляковъ, «оградить языкъ отъ чуждаго вліянія, то-есть сохранить его чистоту и характеръ, опредѣлить каждаго слова собственность, доставить каждому надлежащія границы значенія, то-есть *даровать* ему точность и опредѣленность, несмотря на прихоти употребленія, которое, хотя въ вѣчной враждѣ съ грамматикою, но совершенно уничтожено быть не можетъ, какъ средство, придающее слогу иногда краткость, силу, или по-крайней-мѣрѣ, живость и легкость ¹⁾». «Языкъ отечественный, по словамъ другаго ученаго того времени, Каченовскаго, не можетъ быть точнымъ, постояннымъ, совершенно вразумительнымъ въ самыхъ малѣйшихъ отгѣнкахъ понятій, если грамматика не предпишетъ ему твердыхъ правилъ». «Каждый языкъ, доколѣ не имѣетъ своихъ собственныхъ правилъ извѣстныхъ, извлеченныхъ изъ его внутренней природы, дотолѣ подверженъ бываетъ частымъ измѣненіямъ отъ вліянія на него другихъ сосѣдственныхъ или даже отдаленныхъ языковъ». Здѣсь нѣкоторая примѣсь чуждой этому направленію мысли о самостоятельности и народности языка, но всегда за тѣмъ опять переходъ къ любимой темѣ—неограниченной власти человѣка: «когда-же появляются сіи благодѣтельные законодатели, отечественному языку своему назначающіе кругъ его дѣйствія и предѣлы его движеній? Безъ сомнѣнія, уже въ то время, когда языкъ сдѣлался уже богатымъ, по мѣрѣ пріобрѣтенныхъ народомъ познаній, когда въ народѣ явились уже превосходные писатели, однимъ словомъ, когда просвѣщеніе пустило уже глубоко свои корни ²⁾». Такимъ-образомъ законодательство, сообщающее языку всѣ

¹⁾ Труды Об. Люб. Русск. Слов. I, 60, 1812 г.

²⁾ Тр. Об. Л. Р. Сл. IX, 19—20. 1817. Ср. Мерзл. Тр. Об. I. 58.

требуемая превосходная качества, возможно только тогда, когда языкъ самъ приобрѣлъ ихъ и не нуждается въ законодательствѣ. Употребленіе, враждующее съ грамматикой и неосуждаемое на смерть, только ради нѣкоторой приносимой имъ пользы; оказывается единственною законодательною властью; но такъ-какъ оно прихотливо и непостоянно, то можно думать, что въ языкѣ вовсе нѣтъ законовъ. Все въ немъ какъ-то случайно, такъ-что, напр. раздѣленіе его на нарѣчія не есть слѣдствіе въ немъ самомъ сокрытыхъ условій жизни, а дѣло внѣшнихъ обстоятельствъ, въ родѣ татарскаго погрома: «исполнинскими шагами текли Россы къ обогащенію своего языка: какъ вдругъ гроза, которую честолюбіе князей давно готовило, обрушилась надъ нашимъ отечествомъ и истребила только возраставшіе успѣхи просвѣщенія... Сѣверозападная часть Россіи заняла много словъ, *а еще болѣе окончаній* (?!), свойственныхъ языку литовцевъ» (оттуда бѣлорусское нарѣчіе); «языкъ южной Руси, потерявъ сродство съ славяно-русскимъ, совершенно приблизился къ польскому» (оттуда малорусское нарѣчіе); «все-же государство... перенимало множество реченій татарскихъ ¹⁾).

Съ подобными убѣжденіями въ господствѣ произвола надъ языкомъ странно сталкивались мнѣнія о необходимости и важности слова. Словомъ, говоритъ Ломоносовъ, который здѣсь можетъ намъ служить представителемъ многихъ другихъ, человѣкъ превосходитъ прочихъ животныхъ, потому-что оно дѣлаетъ возможнымъ общеніе мысли, связываетъ людей въ общество. Люди безъ слова были-бы похожи на разбросанныя части одной машины, «не только лишены-бы были согласнаго общихъ дѣлъ теченія, которое соединеніемъ разныхъ мыслей управляется, но едва-ли-бы не были хуже звѣрей ²⁾». Очевидно, что человѣкъ въ такомъ состояніи, когда онъ хуже звѣря, не можетъ быть изобрѣтателемъ языка, который ставитъ его выше прочихъ животныхъ, а

¹⁾ Орнатовскій, новѣйшее начерт. правилъ Росс. Грам. Харьковъ, 1810 г. 28.

²⁾ Лом. Грам. § 1.

потому можно-бы думать, что слово врождено человѣку; но это не такъ, потому-что необходимымъ и врожденнымъ въ человѣкѣ можетъ-быть признана развѣ мысль, но не связь ея съ членораздѣльнымъ звукомъ. Звукъ есть средство выраженія мысли очень удобное, но не необходимое. Неудобство мимики, какъ средства сообщенія мысли, по Ломоносову, только въ томъ, что движеніями нельзя говорить безъ свѣта ¹⁾).

Музыкальныя свойства голоса то-же только отчасти неудобны; новышеніе и пониженіе, степень силы и долготы даютъ звуку столько разнообразія, что, если-бы возможны были люди со струнами на груди, но безъ органовъ слова, то звуками струнъ они могли-бы свободно выражать и сообщать другимъ свои мысли. Съ другой стороны, и мысль существуетъ независимо отъ языка. Конечно, если-бы понятіе было невозможно безъ слова, то языкъ не могъ-бы быть человѣческимъ изобрѣтеніемъ, потому-что одни членораздѣльные звуки еще не языкъ, а предположивъ существованіе изобрѣтающей мысли до языка, тѣмъ самымъ нужно было-бы предположить и слово, такъ-что для изобрѣтенія языка былъ-бы нуженъ готовый уже языкъ. Но такое затрудненіе устраняли утверженіемъ, что какъ чувственныя воспріятія и ихъ воспоминанія происходятъ и въ человѣкѣ и въ животномъ безъ помощи слова, такъ и общія представленія только удерживаются въ памяти, сообщаются другимъ и совершенствуются, а не образуются посредствомъ слова. Согласно съ этимъ мнѣнія послѣдователей этой теоріи о происхожденіи языка совершенно противоположны приведенному въ ней положенію о его необходимости.

Сначала люди жили, какъ животныя, потомъ почувствовали побужденіе соединиться въ общество и найти средство взаимнаго сообщенія мысли. Вѣроятно, прежде всего вспала имъ на умъ мимика, но впослѣдствіи они увидѣли недостатки этого языка, замѣтили, что душевныя движенія заставляють ихъ издавать извѣстные звуки и что посредствомъ подоб-

¹⁾ Ib. § 8.

ныхъ звуковъ животныя понимаютъ другъ друга. Естественно было примѣнить къ дѣлу это открытіе и сдѣлать звуки знаками мысли. Первые слова были звукоподражательныя. Изобрѣтатели языка поступали, подобно живописцу, который, изображая траву или листья древесныя, употребляетъ для этого зеленую краску; желая напр. выразить предметъ дикій и грубый, избирали и звуки дикіе и грубые. Затѣмъ, ободренные успѣхомъ, люди стали выдумывать слова, имѣвшія болѣе отдаленное сходство съ предметами. Изобрѣтеніе словъ для общихъ представленій то-же не представило особенныхъ трудностей: общія представленія уже были: должны были явиться и названія для нихъ, потому-что, въ противномъ случаѣ, пришлось-бы не только для всякаго новаго предмета извѣстнаго рода, но и для всякаго новаго воспріятія того-же предмета имѣть особое слово, а такого множества словъ не могла бы вмѣстить никакая память, да и самое пониманіе было-бы невозможно. Такъ появились и части рѣчи: нужно было назвать субстанцію—выдумывали существительное, сами не зная, подобно нынѣшнимъ необразованнымъ людямъ, что это—существительное; требовалось обозначать качество—выдумали прилагательное и т. д. Не слѣдуетъ поражаться глубокимъ разумомъ, съ какимъ въ языкѣ звуки передаютъ изгибы мысли, потому-что языкъ, подобно всѣмъ человѣческимъ изобрѣтеніямъ, вначалѣ грубъ и только исподволь достигаетъ совершенства (при чемъ забывается принимаемая многими и въ XVIII в. мысль, что и грубѣйшіе языки устроены премудро, т. е. стоятъ безконечно выше намѣреннаго, личнаго творчества). Не слѣдуетъ также слишкомъ удивляться изобрѣтателямъ языка, потому-что дѣло ихъ вытекло не изъ глубокаго размышленія, а изъ чувства нужды ¹⁾ (какъ будто наше уваженіе къ великому человѣку уменьшится отъ того, что ему необходимо было самому сознать необходимость истины, прежде чѣмъ показать ее свѣту).

¹⁾ Такъ Тидеманъ (XVIII в.) и мн. др. см. Steintal, Der Ursprung der Sprache. 2-е изд. 5—12.

Противорѣчіе между необходимостью языка и произво-
ломъ въ его изобрѣтеніи совершенно вѣрно общему направ-
ленію теоріи сформулировано у Орнатовскаго: «языкъ или
слово, въ обширѣйшемъ смыслѣ, есть способность выра-
жать понятія членораздѣльными звуками; языкъ, въ тѣснѣйшемъ
смыслѣ, есть содержаніе (по Тидеману, прямо, собраніе)
всѣхъ тѣхъ членораздѣльныхъ звуковъ, которые какой-либо
народъ, *по общему согласію*, употребляетъ для взаимнаго
сообщенія понятій» ¹⁾. «Даръ слова есть даръ общій, *есте-
ственный, необходимый*; напротивъ того языкъ, употребле-
ніе сего дара, есть нѣчто *искусственное, произвольное*,
зависящее отъ людей»; онъ есть изобрѣтеніе, «слѣдствіе
договора, заключеннаго членами общества для сохраненія
общаго единогласія» ²⁾.

Въ мысли о постепенномъ совершенствованіи языковъ
видно законное стремленіе низвести къ возможно меньшимъ
величинамъ все врожденное и сразу данное человѣку; но
это стремленіе, дурно направленное, привело къ тому, что
искомая величина, высокое развитіе человѣка, принята за
данную и уже готовую. При этомъ самый процессъ исканія
оказывается излишнимъ. Такъ напр., языкъ нуженъ для
общества, для согласнаго теченія его дѣлъ, но онъ предпо-
лагаетъ уже договоръ, слѣдовательно общество и согласіе.
Совершенствованіе мысли возможно только, посредствомъ ея
сообщенія, науки, поэзіи, слѣдовательно—слова; но слово
возможно только тогда, когда мысль достигла совершенства,
уже и безъ него. Нѣтъ языка безъ пониманія, но пониманіе
возможно только посредствомъ словъ, незамѣнимыхъ самою
выразительною мимикою. Положимъ, что можно условиться,
посредствомъ мимики, называть столъ *столомъ*, но тогда
нужно будетъ принять, что въ другихъ предшествующихъ
случаяхъ связь между членораздѣльнымъ звукомъ и мыслью
была непосредственно понятна, т. е., что, рядомъ съ произ-

¹⁾ Орнат. новѣйш. начерт. и пр. стр. 37.

²⁾ Ib. стр. 8, 36.

вольно выдуманнѣми и условными словами, были въ языкѣ слова произвольныя и всѣмъ одинаково вразумительныя, безъ договора. Это уничтожаетъ основное положеніе, что языкъ есть дѣло договора, наборъ условныхъ знаковъ.

Второе предположеніе, о Божественномъ началѣ языка въ неразвитой формѣ, впервые появилось, по всей вѣроятности, задолго до разсмотрѣннаго выше, но оно имѣетъ мѣсто и въ исторіи развитія близкихъ къ намъ по времени взглядовъ на языкъ. Мысль, что въ языкѣ есть много сторонъ, о которыхъ и не снилось человѣческому произволу, и что сознательно направленные силы человѣка ничтожны въ сравненіи съ задачами, которыя рѣшаются языкомъ, можетъ служить спасительнымъ противодѣйствіемъ теоріи намѣреннаго изобрѣтенія; но въ теоріи откровенія языка эта мысль представляется въ такомъ видѣ, что уничтожаетъ или себя, или возможность изслѣдованія языка вообще.

Откровеніе языка можно понимать двояко: или послѣ созданія, Богъ въ образѣ человѣческомъ былъ учителемъ первыхъ людей, какъ полагаетъ Гаманнъ ¹⁾, или-же языкъ открылся первымъ людямъ посредствомъ собственной ихъ природы.

Въ первомъ случаѣ предполагается, что Богъ говорилъ, а люди понимали; но какъ даръ невозможенъ безъ согласія принимающаго, такъ пониманіе Божественнаго языка предполагаетъ въ человѣкѣ знаніе этого языка, возможность создать его собственными силами. Дѣти выучиваются языку взрослыхъ только потому, что при другихъ обстоятельствахъ могли-бы создать свой.

Во второмъ предположеніи, что языкъ непосредственно вложенъ въ природу человѣка, то-же два случая: 1) если даны человѣку только зародыши силъ, необходимыхъ для созданія слова, и если развитіе этихъ силъ совершалось по законамъ природы, то начало языка вполнѣ человѣческое и Богъ можетъ-быть названъ творцомъ языка только въ томъ

¹⁾ Steinthal, Der Urspr. d. Spr. 56.

смыслѣ, въ какомъ онъ—Создатель міра; 2) поэтому остается только одно предположеніе, что высоко совершенный языкъ непостижимыми путями сразу внушенъ человѣку. Тѣмъ самымъ вся сила теоріи Божественнаго созданія языка сосредоточивается въ утвержденіи превосходства первозданнаго языка надъ всѣми позднѣйшими.

Такъ-какъ теперь языкъ образованнаго народа, по объему и глубинѣ выраженной въ немъ мысли, ставится выше языка дикарей, то и совершенства первобытнаго языка могли состоять не въ одномъ только благозвучіи, но и въ достоинствѣ содержанія. Божественный языкъ во всемъ долженъ былъ соотвѣтствовать первобытному, блаженному состоянію человѣка. «Тотъ языкъ, говоритъ Е. Аксаковъ ¹⁾, которымъ Адамъ въ раю назвалъ весь міръ, былъ одинъ *настоящій* для человѣка; но человѣкъ не сохранилъ первоначальнаго блаженнаго единства первоначальной чистоты, для того необходимой. Падшее человѣчество, утративъ первобытное и стремясь къ новому *высшему* единству, пошло блуждать разными путями; сознание, одно и общее, облеклось различными призматическими туманами, различно преломляющими его свѣтлые лучи и стало различно проявляться». Въ этихъ замѣчательныхъ словахъ собраны всѣ несообразности, которыми страдаетъ теорія откровенія языка. Мудрость, дарованная въ началѣ человѣку безо всякихъ усилій съ его стороны, а вмѣстѣ нераздѣльные съ нею высокія достоинства языка, могли только забываться и растрчиваться въ послѣдующихъ странствованіяхъ человѣка по земной юдоли. Исторія языка должна быть исторіею его паденія. По-видимому это подтверждается фактами: чѣмъ древнѣе флектирующій языкъ, тѣмъ онъ поэтичнѣе, богаче звуками и грамматическими формами; но это паденіе только мнимое, потому что сущность языка, связанная съ нимъ мысль растетъ и преуспѣваетъ. Прогрессъ въ языкѣ есть явленіе до такой степени несомнѣнное, что даже съ точки противоположной ему

¹⁾ Опыты Русск. Грам. Ч. I. Вып. I. 1860. Стр. 3.

теоріи нужно было признать, что единство, къ которому стремится человѣчество своими средствами, выше того, которое скрыто отъ насъ «призматическими туманами». Если же языкъ, которымъ говоритъ человѣкъ, бывшій еще только сосудомъ высшихъ вліяній, въ чемъ-нибудь несовершеннѣе языка людей, которымъ дана свобода заблуждаться, согласно съ ихъ природою; то роль, предоставляемая Божеству въ созданіи языка, блѣдна, въ сравненіи съ участіемъ человѣка, что не можетъ быть соглашено съ чистотою религіозныхъ вѣрованій.

Самое раздробленіе языковъ, съ точки зрѣнія исторіи языка, не можетъ быть названо паденіемъ; оно не губельно, а полезно, потому-что, не устраняя возможности взаимнаго пониманія, даетъ разносторонность общечеловѣческой мысли. При-томъ, медленность и правильность, съ которою оно совершается, указываетъ на то, что искать для него мистическаго объясненія было-бы также неумѣстно, какъ напр. для измѣненій земной коры или атмосферы ¹⁾).

II. Беккеръ и Шлейхеръ.

Нѣсколько долѣе остановимся на теоріи бессознательнаго происхожденія языка, построенной на сравненіи языка съ фізіологическими отправлениями или даже съ цѣлыми организмами. Однимъ изъ представителей этой теоріи будетъ намъ служить Беккеръ, авторъ книги: «Organism der Sprache», къ сожалѣнію болѣе у насъ извѣстной, чѣмъ посвященное ей разбору, прекрасное сочиненіе Штейнталя «Grammatik, Logik und Psychologie», которымъ мы будемъ пользоваться при послѣдующемъ изложеніи.

«Организмъ» есть для Беккера ключъ къ разрѣшенію всѣхъ недоумѣній, относительно языка; но самое это слово понимается имъ такъ, что не можетъ объяснить ровно ничего. «Въ живой природѣ, говоритъ онъ, по общему ея закону,

¹⁾ Ср. Grimm, Der Urspr. der Sprache. Abhandl. der Akad. zu Berl. 1851. 115—120.

всякая дѣятельность проявляется въ веществѣ, все духовное— въ тѣлесномъ, и въ этомъ тѣлесномъ проявленіи находятъ свое ограниченіе и образованіе (Gestaltung)» ¹⁾. «Всеобщая жизнь природы *становится органическою* жизнью, проявляясь въ своихъ особенностяхъ: всякое органическое существо (Ding), представляется воплощеною особенностью всеобщей жизни, какъ-бы воплощеною мыслью природы» ²⁾. Но въ мірѣ мы находимъ только частности, только «воплощенные» уже «особенности», а «мысль природы» есть очевидно не болѣе, какъ общее понятіе, къ которому мы возводимъ частныя явленія. Такому обобщенію можетъ-быть подвергнуто все безъ исключенія; а потому подъ приведенное опредѣленіе подходитъ и живой организмъ, вполне принадлежащій природѣ, и мертвый механизмъ, представляющій намѣренное видоизмѣненіе даннаго природою матеріала.

Это всеобъемлющее значеніе организма не ограничивается и двумя другими его признаками, выведенными изъ основной мысли о воплощеніи: а) такъ-какъ «общая жизнь природы» или «ея мысль»—не болѣе какъ родовыя понятія, по отношенію къ коимъ понятія видовыя должны имѣть между собою нѣчто общее, то понятно, что всѣ органическія существа—по отношенію къ общей жизни природы, и отдѣльные органы каждаго существа порознь—по отношенію къ идеѣ этого существа, должны быть сходны въ извѣстныхъ основныхъ типахъ образованія и развитія; упомянутое сходство ничего, стало-быть, не прибавляетъ къ первому опредѣленію организма; б) если въ понятіи (идеѣ; слово Begriff, по Беккеру, въ этомъ мѣстѣ тождественно съ Lebens-function) органическаго существа заключены уже съ самаго начала всѣ особенности этого существа», то «воплощеніе», т. е. явленіе его можетъ-быть не «внѣшнимъ сложеніемъ органовъ», а «развитіемъ изнутри». «Законъ развитія организма заключенъ въ его идеѣ (in der besonderen Lebens-function), и по-

¹⁾ Org. d. Spr. 2-te Ausg. § 1.

²⁾ Ib. § 4.

тому органическое развитие совершается по внутренней необходимости» ¹⁾; какъ развитие извнутри, такъ и необходимость этого развитія—это свойства мысли, независимыя отъ того, будетъ-ли предметомъ этой мысли органическое или неорганическое.

Хотя, согласно съ этими положеніями, Беккеръ не долженъ-бы видѣть въ мірѣ ничего кромѣ организма, потому-что для всего даннаго можетъ-быть найдена идея, въ немъ обособленная и управляющая его бытіемъ; но тѣмъ-не-менѣе онъ находитъ противоположность организму въ произведеніи искусства (т. е. механизмъ). Это послѣднее, говоритъ онъ, «вытекаетъ (произвольно) изъ мысли (Reflexion), возбужденной внѣшнею нуждой, а не изъ самой жизни и не съ внутренней необходимостью (какъ организмъ); оно не въ себѣ самомъ носитъ законъ своего развитія, а получаетъ его отъ разума изобрѣтателя» ²⁾. Но разумъ или, что на то-же выйдетъ, человѣкъ, какъ разумное существо, какъ одно изъ необходимыхъ проявленій предполагаемой общей жизни природы, есть организмъ; всѣ его отправленія, между прочимъ, фабрикація машинъ, внутренне необходимы: поэтому машина, по Беккеру, есть то-же организмъ. Она строится по зародившемуся въ мысли плану, и слѣдовательно развивается извнутри; всѣ ея части имѣютъ значеніе только въ цѣломъ, а цѣлое возможно только въ частяхъ, изъ коихъ каждая носить на себѣ общій всѣмъ остальнымъ отпечатокъ. Можно, правда, сказать, что машина создается внѣшними средствами, но, во первыхъ, въ мірѣ, составляющемъ органическое воплощеніе своей идеи, всѣ средства органичны, а во вторыхъ, и животное или растеніе развивается не иначе, какъ принимая и усваивая первоначально внѣшнія для себя вещества. Что-же до противоположенія свободы, съ какою создается машина, и необходимости въ жизни организма, то оно и для самаго Беккера не существуетъ,

¹⁾ Org d. Spr. § 4.

²⁾ Ib. § 6.

потому-что свобода, по его мнѣнію, есть только то въ извѣстномъ явленіи, чему сразу мы не прищемъ закона, такъ напр. постоянно-одинаковое число жилокъ въ листкахъ плюща есть необходимость, а разнообразная, то почти круглая, то остроконечная форма этихъ листковъ—свобода ¹⁾).

Уже изъ сказаннаго можно видѣть, въ чемъ основная ошибка Беккера. Онъ принимаетъ явленія природы за воплощеніе ихъ идеи, т. е. смотритъ на нихъ по отношенію къ цѣли, потому-что воплощеніе идеи есть цѣль явленія, въ немъ самомъ заключенная. Это не болѣе, какъ логическій пріемъ, примѣнимый, хотя неодинаково, ко всему, пріемъ, который самъ по себѣ не можетъ еще дать реального опредѣленія, какое въ немъ находить Беккеръ. Отсюда необыкновенная путаница въ словахъ, приведенныхъ нами въ началѣ. Извѣстно, что логически-правильное опредѣленіе должно заключать въ себѣ родовой признакъ (понятіе общее) и видовое отличіе (понятіе частное, по отношенію къ первому); но, въ опредѣленіи организма, Беккеръ принимаетъ за видовое такое понятіе, которое въ дѣйствительности есть общее, по отношенію къ тому, которое онъ считаетъ родовымъ. Организмъ, по его словамъ, есть всеобщая жизнь природы (понятіе общее), проявившаяся въ своихъ особенностяхъ (понятіе осуществленія идеи, т. е. понятіе цѣли, которое, по намѣренію автора, должно-бы быть частнымъ сравнительно съ понятіемъ природы, но на дѣлѣ—есть общее, потому-что многого, составляющаго проявленіе и обособленіе мысли, напр. сапоговъ, часовъ и т. п. мы не назовемъ организмомъ). Это все равно, какъ еслибы кто опредѣлялъ грамматику такимъ образомъ: «Грамматика есть наука» (общее понятіе), «составляющая одно изъ произведеній дѣятельности человѣческаго ума» (понятіе, которое должно-бы быть частнымъ, но есть общее, потому-что не всякое произведеніе ума есть наука).

¹⁾ Steinthal. Gr. L-u. Ps. § 5, гдѣ выписка изъ соч. Беккера „Das Wort“.

Еще яснѣе бесплодный формализм Беккера, въ опредѣленіи одного изъ основныхъ, по его мнѣнію, признаковъ организма; именно—полярныхъ противоположностей, въ коихъ «заключается законъ развитія организма» ¹⁾. «Органически-противоположными (Organisch different) называются въ естественныхъ наукахъ такія дѣятельности и вещества, которыя именно своею противоположностью взаимно условливаютъ другъ друга и находятся въ такихъ отношеніяхъ, что *a* есть только потому *a*, что противоположно *b*, и наоборотъ». Таковы напр. въ организмѣ земли—противоположности положительнаго и отрицательнаго электричества, сѣверной и южной полярности, въ животномъ организмѣ—противоположности сжиманія и расширенія, усвоенія и отдѣленія (ассимиляціи и секреціи), мускула и нерва и пр. ²⁾. Эти противоположности законны только въ наукахъ, разсматривающихъ элементарныя силы природы въ полномъ ихъ разъединеніи; организмъ-же можетъ быть понятъ, только изъ совокупности того, что входитъ въ его составъ. Несправедливо будетъ выдѣлять изъ животнаго организма мускуль и противопоставлять его только нерву, если мускуль такъ-же невозможенъ безъ нервовъ, какъ и безъ жилъ и костей. Если-же примемъ, что въ организмѣ *a*, какъ зависящее отъ *b*, *v*, *г*, д..., будетъ противоположно каждому изъ нихъ, точно такъ, какъ *b* будетъ противоположно *a*, *v*, *г*, д... и т. д., то это будетъ только значить, что *a* не есть *b* и пр., т. е. полярная противоположность окажется логическимъ отрицаніемъ, о которомъ Беккеръ совершенно справедливо говоритъ слѣдующее: «въ сужденіи *a* не есть *b*, мы только отрицаемъ тождественность двухъ видовъ одного рода, но не опредѣляемъ дѣйствительныхъ отношеній *a* и *b*» ³⁾. Сличивъ съ этимъ мысль Беккера, что органическая противоположность связываетъ части организма въ одно цѣлое ⁴⁾,

¹⁾ Org. der Sprache § 4 и мн. др.

²⁾ lb. § 7.

³⁾ Org. der Sprache § 25.

⁴⁾ lb. § 7.

мы увидимъ, что единство членовъ организма, по Беккеру, только въ томъ, что, положимъ, глазъ—не ухо, или, въ языкѣ, глаголь—не имя. Такая связь, однако, въ глазахъ самого Беккера недостаточна, потому-что «противоположность только тѣмъ связывается въ мысли въ органическое единство, что одинъ ея членъ... *принимается* въ другой, одинъ *подчиняется* другому. Такое соединеніе противоположностей въ единство, посредствомъ органическаго подчиненія, .. можетъ быть названо *логическою формою мысли*» ¹⁾. И такъ это новое единство было-бы опять чисто формальное и не могло-бы отдѣлить организма отъ неорганизма; но оно и логически невозможно, потому-что достигается взаимнымъ подчиненіемъ противоположностей, которыя могутъ быть только соподчинены другъ другу, какъ равные члены высшаго понятія.

Послѣ этого, назвать языкъ организмомъ или органическимъ отправленіемъ, значить не сказать о немъ ничего; но Беккеръ вводитъ языкъ въ болѣе тѣсный кругъ органическихъ отправленій въ общепризнанномъ смыслѣ, и это служить для него источникомъ новыхъ ошибокъ. Въ своемъ сочиненіи «Das Wort» онъ говоритъ: «Если признать языкъ органическимъ отправленіемъ, которое, подобно другимъ, дано въ человѣческомъ организмѣ, вмѣстѣ съ единствомъ духовной и тѣлесной жизни...; то вопросъ о происхожденіи языка будетъ имѣть только такой смыслъ: какимъ образомъ человекъ впервые пришелъ къ совершенію этого отправленія?... Способность дышать дается дыхательными органами; но для дѣйствительнаго дыханія, кромѣ органовъ, нужно еще внѣшнее вліяніе (Reiz), возбуждающее ихъ къ дѣятельности; въ дыханіи это возбуждающее есть воздухъ, въ пищевареніи—пища. Въ примѣненіи къ языку это значить, что способность говорить дается органами слова, и вопросъ только въ томъ, что именно возбуждаетъ эти органы къ дѣятельности? Органы слова могутъ возбуждаться только духовною дѣятельностью, подобно остальнымъ органамъ произвольнаго движе-

¹⁾ Org. der Sprache § 11.

нія, и разница лишь въ томъ, что послѣдніе вызываются къ дѣятельности вліяніемъ воли, а первые—мыслью, познавательною способностью. Впрочемъ, такъ-какъ въ единствѣ человѣческаго духа чувство и воля не отдѣлены отъ мысли; то и въ отправленіяхъ органовъ слова проявляется чувство и воля, и наоборотъ, другіе органы произвольнаго движенія въ мимикѣ становятся органами слова... Человѣкъ такъ-же необходимо говорить, потому-что мыслить, какъ необходимо дышать, будучи окруженъ воздухомъ. Какъ дыханіе есть виѣшнее проявленіе внутренняго образовательнаго процесса, (Bildungsvorgang), а произвольное движеніе—воли; такъ языкъ есть виѣшнее проявленіе мысли ¹⁾.

И такъ, темныя стороны образованія языка должны намъ объясниться сравненіемъ его съ фізіологическимъ процессомъ дыханія, но, во первыхъ: въ дыханіи и органы, и возбуждающій ихъ воздухъ, равно принадлежатъ къ области физическихъ явленій и дѣйствуютъ по яснымъ законамъ, въ языкѣ-же не видно ничего общаго между органами слова и мыслью, и никакой физической или химической законъ не опредѣляетъ дѣятельности мысли въ языкѣ. Въ дыханіи воздухъ, возбуждающее средство, проникаетъ въ легкія, приходитъ тамъ въ соприкосновеніе съ кровью, химически измѣняется, и затѣмъ вытѣсняется изъ груди; но развѣ мысль проходитъ въ органы слова, измѣняется тамъ такимъ извѣстнымъ образомъ, какъ воздухъ въ легкихъ, и опять удаляется?

Во вторыхъ, воздухъ уже существуетъ до дыханія, пища—до пищеваренія, но существуетъ-ли мысль до слова? На этотъ вопросъ Беккеръ отвѣчаетъ въ разныхъ мѣстахъ то утвердительно, то отрицательно. «Не слѣдуетъ думать, говорить онъ, будто языкъ произошелъ такимъ образомъ, что человѣкъ искалъ и находилъ звуки и слова, для выраженія заранѣе готовыхъ въ его душѣ понятій. Предметы природы необходимо появляются, какъ скоро даны органическія условія ихъ существованія, и такое органически-необходимое

¹⁾ См. Steintal Gr. L. u. Ps. § 14.

ихъ появленіе мы называемъ рожденіемъ; слово тоже раждается вмѣстѣ съ понятіемъ, а не отыскивается для него» ¹⁾. «Мысль и языкъ внутренно тождественны»; «мысль только въ словѣ образуется и усовершенствуется, потому-что предметы чувственнаго воззрѣнія только тогда *становятся понятіями*, когда превращены въ предметы духовнаго воззрѣнія и въ словѣ противопоставлены мысли» ²⁾. Очевидно, что если понятіе раждается вмѣстѣ съ словомъ, или образуется только посредствомъ него, то не можетъ въ тоже время служить возбужденіемъ (Reiz) органовъ слова, потому-что, въ противномъ случаѣ мы-бы должны сказать, что и въ дыханіи не воздухъ возбуждаетъ дыхательные органы, а дыханіе возбуждаетъ само себя. Однако мысль, что понятіе образуется только посредствомъ слова, не можетъ быть истиннымъ убѣжденіемъ Беккера. Въ словѣ, по его мнѣнію, мысль воплощается и получаетъ опредѣленность, а между-тѣмъ понятіе гораздо неопредѣленнѣе, безобразнѣе чувственнаго образа, который служитъ для него матеріаломъ, такъ-что, создавая понятіе, слово должно-бы терять одинъ изъ основныхъ признаковъ своей органичности, именно «проявленіе общей жизни (идеи) въ своихъ частностяхъ». При томъ есть положительныя реченія, что Беккеръ признавалъ существованіе не только мысли въ зародышѣ, но и понятія, до слова: «Только понятіе *вообще* воплощается въ звукѣ съ органическою необходимостью; *выборгъ* же того или другаго звука, въ которомъ должно воплотиться понятіе, происходитъ съ органическою свободою» ³⁾. Стало быть, если даже будемъ помнить, что, по Беккеру, свобода тождественна съ необходимостью; то на основаніи одного слова *выборгъ*, предполагающаго существованіе понятія до слова, мы должны заключить, что Беккеръ можетъ себѣ представить только сознательное изобрѣтеніе языка, а не его «рожденіе», что не смотря на всѣ усилія

¹⁾ Das Wort. Steinthal Gr. L. u. Ps. § 24.

²⁾ Org. der Sprache § 4.

³⁾ St. Gr. L. u. Ps. § 15.

видѣть вездѣ необходимость, онъ видитъ только произволь. Новое слово *организмъ* прикрываетъ у него только бытія-перебитыя еще въ прошломъ вѣкѣ понятія. Отношеніе двухъ различаемыхъ имъ сторонъ языка: логической (мысли) и фонетической (звука) — чисто внѣшнее; единство мысли и звука въ словѣ, подобное, по его мнѣнію, единству духа и тѣла въ человѣкѣ, на самомъ дѣлѣ понимается имъ, какъ случайная связь слова съ обозначающимъ его письменнымъ знакомъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ довольно будетъ нѣсколькихъ примѣровъ того, какъ понимаетъ Беккеръ отношеніе содержанія словъ къ ихъ звукамъ въ такъ-называемыхъ имъ глагольныхъ корняхъ и грамматическихъ формахъ.

1. *Глагольные корни*. Оставя въ сторонѣ всѣ логическія беззаконія, совершенныя Беккеромъ, по поводу верховныхъ противоположностей *дѣятельности* и *бытія*, съ которыхъ идея міра начинается свое воплощеніе и обособленіе, и по поводу отношенія развитія природы къ развитію человѣческаго ума ¹⁾, мы согласимся, что «совокупность понятій, выраженныхъ въ языкѣ... есть продуктъ органическаго развитія разнообразія изъ единства». Высшее основное понятіе, изъ котораго въ умѣ человѣка выдѣляются всѣ остальные, есть понятіе дѣятельности въ ея чувственномъ проявленіи, т. е. *движенія*; самое понятіе бытія, по щучьему велѣнію, является производнымъ, хотя оно, какъ органическая противоположность движенія, должно-бы было самостоятельно, вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ, вытекать изъ общаго высшаго начала. Главное родовое понятіе «органически», посредствомъ разложенія на противоположности, развиваетъ изъ себя свои ближайшія видовыя понятія, эти такимъ-же путемъ дробятся на свои виды и т. д. Самая общая противоположность въ понятіи чувственнаго движенія есть противоположность *дѣятельнаго* (движущагося) *бытія* и *объективнаго отношенія*.

Понятіе движущагося бытія дѣлится на противоположныя понятія *движенія живыхъ существъ* и *движенія стихій*

¹⁾ См. Steinthal, Gr. L. u. Ps. § 33, 34.

А. Потебня. Мысль и языкъ.

природы, вліяючихъ на эти существа. *Движеніе живыхъ существъ* или обращено наружу, что обозначено у Беккера словомъ *ходитъ*, или-же есть движеніе внутреннее, обращенное на самый организмъ, въ немъ самомъ заключенное, и обозначаемое словомъ *рости*. Въ *движеніи стихій* различаются движенія *свѣта* и *звука* (свѣтитъ и звучать), *воздуха* и *воды* (вѣять и течь), соотвѣтствующія четыремъ чувствамъ: зрѣнію и слуху, обонянію и вкусу ¹⁾).

Понятіями *объективнаго отношенія* называетъ Беккеръ понятія дѣйствія, направленнаго на извѣстный предметъ и немислимыхъ безъ этого направленія. Здѣсь—три пары противоположностей: *давать* и *брать*, *вязать* и *рѣзать*, *разрушать* (дѣйствіе враждебное) и *покрывать* (защитять, охранять).

Полученныя такимъ путемъ двѣнадцать «кардинальныхъ» понятій, въ свою очередь, дѣлятся на свои частныя, между коими не видно даже и противоположностей, и которыя поэтому не имѣютъ между собою ужъ ровно никакой связи.

Понятія предметовъ и дѣйствій, подлежащихъ чувствамъ, не имѣютъ въ языкѣ непосредственнаго выраженія и обозначаются или своими чувственными признаками (греч. λέγω, говорю, потомъ—думаю) или своими чувственными подобіями (Gegenbilder), какъ напр. *вѣдать*—отъ *видѣть* ²⁾).

Еслибы фраза о единствѣ мысли и звука въ словѣ имѣла смыслъ въ глазахъ самого Беккера, то онъ долженъ-бы былъ стараться доказать, что всякой степени разложенія верховнаго понятія соотвѣтствуетъ извѣстная степень умноженія звуковыхъ формъ для частныхъ понятій; подобно нѣкоторымъ филологамъ стараго времени ³⁾, онъ долженъ-бы выводилъ не только содержаніе языка изъ одного всеобъемлющаго поня-

¹⁾ „Нѣтъ особаго рода движенія, соотвѣтствующаго осязавію, потому-что этому чувству подлежатъ массы, которыя сами не движутся, а только приводятся въ движеніе“. Org. der Spr. 75.

²⁾ Org. d. Spr. § 26.

³⁾ См. указаніе на Фосса и Пассова въ Griechische Etymologie v. G. Curtius 79—80.

тія, но и всѣ корни его изъ одного общаго корня. Но это была-бы очевидная нелѣпость, а потому Беккеръ говоритъ слѣдующее: «Понятіе движенія никогда не представляется чувственному возрѣнію въ своей отвлеченной всеобщности, но всегда въ своей конкретной особенноти, какъ движеніе птицы, камня, рѣки ¹⁾; такъ и въ языгѣ единое основное понятіе не можетъ выражаться однимъ кореннымъ словомъ, но уже *съ самого начала* обозначается разными словами» ²⁾. «Тѣмъ не менѣе, если несомнѣнно, что безконечное разнообразіе понятій въ германскихъ языкахъ развилось изъ понятій, выраженныхъ только 462 глагольными корнями (по Гримму), то это не меньшее чудо, чѣмъ то, что понятія, выраженные 462 глаголами, развились изъ двѣнадцати кардинальныхъ понятій» ³⁾, т. е. если мы вѣримъ Гримму, то должны вѣрить и Беккеру, забывая ту разницу между этими двумя учеными, что первый доказываетъ, а второй—нѣтъ. Но дѣло въ томъ; что, по мнѣнію самого Беккера, исходная точка языка—это 462 (или сколько-бы то ни было, но все-таки много) корня, а исходная точка «естественной системы» понятій—одно верховное понятіе дѣятельности и 12 выведенныхъ изъ него меньшихъ. Изъ этого различія исходныхъ точекъ видно уже, что языку нѣтъ дѣла до этой системы. Самъ Беккеръ очень удовлетворительно доказываетъ это слѣдующимъ: Метафизическая (или какъ-бы ее ни называть) система понятій должна быть во всемъ обязательна для всѣхъ языковъ; но на дѣлѣ она не годится даже для одного нѣмецкаго, потому-что не только въ разныхъ языкахъ, но и въ одномъ и томъ-же извѣстномъ понятіе, напр. *жить*, относится къ различнымъ классамъ (напр. къ классу *идти*, или *вѣть*, или *свѣтитъ*—*горѣть*) ⁴⁾. Слѣдовательно,

¹⁾ Но такъ-какъ умственное развитіе начинается съ чувственнаго воспріятія, то представленная Беккеромъ система дифференцированія понятій не имѣетъ ничего общаго съ ходомъ развитія человѣческой мысли.

²⁾ Org. d. Spr. § 26.

³⁾ Ib.

⁴⁾ Ср. Org. d. Spr. 79.

и въ самой системѣ, и отношеніи ея къ звукамъ—произволь. Звуки для Беккера сами по себѣ, а значеніе само по себѣ; никто не найдетъ ни малѣйшаго соотвѣтствія между его дѣленіемъ понятій (см. выше) и дѣленіемъ корней на корни изъ одной гласной, изъ гласной съ согласною к, т, п..., изъ согласной к, т, п... съ гласною и т. д. Въ языкахъ есть система, есть правильность (но не топорная симметричность), въ постепенномъ развитіи содержанія, но отыскивается она не априорическими построениями. «Въ этимологіи, говоритъ Поттъ, рѣшительно нельзя принять никакого другаго распредѣленія словъ (Anordnungs-princip), кромѣ генеалогическаго сродства» ¹⁾.

2. *Формы.* Чтобы показать, что и въ грамматическихъ формахъ слова Беккеръ можетъ себѣ представить только внѣшнее и случайное отношеніе мысли и звука, начнемъ съ часто имъ высказываемаго утвержденія, что «языкъ есть только воплощеніе мысли». Формы мысли, т. е. понятій и ихъ сочетаній, разсматриваются въ логикѣ; но эти формы проявляются въ грамматическихъ отношеніяхъ словъ; поэтому грамматика, изслѣдованію коей подлежатъ эти отношенія, «находится во внутренней связи» ²⁾, т. е., говоря точнѣе, главною своею стороною тождественна съ логикой ³⁾. Въ доказательство мысли, которою переполнена вся книга Беккера, именно, что языкъ есть воплощеніе только общечеловѣческихъ формъ мысли, укажемъ только на слѣдующее. Въ языкѣ Беккеръ видитъ два рода формъ: а) выраженія взаимнаго отношенія понятій, посредствомъ коего или частное подчиняется общему, или наоборотъ (какъ въ отношеніяхъ подлежащаго къ сказуемому, опредѣлительнаго къ опредѣляемому, дополнительнаго къ дополняемому); б) выраженія отношенія понятій къ категоріямъ бытія и дѣятельности, времени и пространства, дѣйствительности или недѣйствительности, возможности, необходимости, величины, т. е. выраженія лица, числа, времени, наклоненія.

¹⁾ Pott, Die Ungleichheit menschlicher Rassen 213.

²⁾ Org. d. Spr. § 10.

³⁾ Ib. § 47.

Логика одна и однѣ формы мысли для всѣхъ народовъ; поэтому и языки, органическія воплощенія мысли, должны-бы различаться между собою только по звукамъ, а не по значенію своихъ формъ, должна существовать одна грамматика (философская, какъ ее называли встарину), равно обязательная для всѣхъ языковъ ¹⁾. Но въ дѣйствительности, одни языки богаче формами, другіе—бѣднѣе и это Беккеръ объясняетъ такимъ-образомъ: «формы выраженія условлены фонетическимъ развитіемъ языка; поэтому отношенія во всѣхъ языкахъ различаемыя *въ мысли*, не во всѣхъ изображаются звуковыми формами, имъ исключительно принадлежащими. Такъ всѣ языки различаютъ отношенія, которыя мы (т. е. нѣмцы) обозначаемъ сослагательнымъ и условнымъ наклоненіями, но языки славянскіе и семитическіе не имѣютъ для нихъ особыхъ формъ, точно такъ и отношенія сказуемаго ко времени, и дополнительные объективныя отношенія конечно одинаково различаются всѣми языками, но въ одномъ языкѣ бываетъ больше временъ и падежей, чѣмъ въ другомъ ²⁾. Совершенное отсутствіе флексій къ китайскомъ языкѣ Беккеръ признаетъ явленіемъ *неорганическимъ*, изслѣдованіе коего можетъ принести языкознанію только такую пользу, какую физиологія—изслѣдованіе уродливости организмовъ ³⁾. Но можно, умножая число случаевъ, въ которыхъ и совершеннѣйшіе языки не подходятъ подъ одну норму, дойти до того, что не останется въ языкѣ ничего нормального. Напр. если положимъ, что самое согласное съ логикою число падежей—это 2 прямыхъ (именительный и звательный) и 3 косвенныхъ (винит., род., дат.), какъ въ греческомъ; то не только языки вовсе неимѣющіе падежей, но латинскій со своими шестью, славянскій съ семью, санскритскій съ восемью—окажутся уродливыми. Если-же исторія языка покажетъ намъ, что и въ языкѣ съ пятью падежами прежде было ихъ больше

1) Org. d. Spr. Vorrede zur 2-tem Ausg. XVIII.

2) Org. d. Spr. Vorrede zur 2-tem Ausg. XVIII § 49.

3) Org. d. Spr. Vorrede zur 2-tem Ausg. XVIII § 9.

или меньше, то и этотъ представится намъ законнымъ воплощеніемъ мысли только въ одинъ моментъ своей жизни.

Удерживаемъ предположеніе, что число *мыслимыхъ* отношеній остается неизмѣннымъ, и что измѣняются только звуки: тогда будетъ непонятно, какимъ образомъ, звуки иногда (т. е. лучше сказать всегда) освобождаются отъ законовъ мысли, развиваются самостоятельно, и даже обнаруживаютъ влияніе на логическую стихію слова ¹⁾; будетъ непонятно, какими законами управляются эти звуковыя измѣненія, создающія или уничтожающія флексіи, если они не подчинены мысли, которую одну только долженъ-бы выражать языкъ; но совершенно ясно будетъ, что Беккеръ не можетъ себѣ представить другихъ отношеній между стихіями слова, кромѣ случайныхъ. Мысль, по его взгляду, носится надъ словомъ, но не воплощается въ немъ; она вполнѣ развита сама по себѣ, и звукъ слова для нея только роскошь, а не необходимость. Начавши съ полнаго отрицанія теоріи произвольнаго созданія языка, Беккеръ подъ конецъ невольно сошелся съ нею въ результатахъ, принялъ независимость слова отъ мысли и философскую грамматику. Онъ на словахъ только уважаетъ историческое и сравнительное языкознаніе, на дѣлѣ-же видитъ въ языкѣ *логическую* сторону, при дѣйствительномъ существованіи коей сравненіе языковъ было-бы бесплодно, и ее только считаетъ достойною изученія.

Ошибки Беккера были-бы для насъ весьма мало поучительны, еслибы не опредѣлялись до значительной степени тѣмъ положеніемъ, въ которое онъ себя ставитъ, принимая за исходную точку сравненіе языка съ непосредственными созданіями природы. Непрестанное движеніе языка и его связь съ тѣмъ, что называется свободою воли, свойства, о которыхъ Беккеръ не упоминаетъ, но которыя не могли быть устранены изъ теоріи, отбросили его мысль на старые пути, которые онъ оставилъ было за собою. Почти таже исторія повторилась и съ довольно извѣстнымъ лингвистомъ, Шлейхеромъ.

¹⁾ Org. d. Spr. Vorrede zur 2-tem Ausg. XVIII.

Шлейхеръ тоже начинаетъ съ положенія, что мысль безъ языка, какъ духъ безъ тѣла, быть не можетъ ¹⁾; но вслѣдъ за тѣмъ противорѣчитъ себѣ, утверждая, что отношенія понятій, дѣйствительно существующія въ мысли, могутъ не выражаться звуками. Эта мысль предполагается его дѣленіемъ языковъ: Слово языковъ *односложныхъ*, какъ китайскій, невыражающихъ звуками отношеній, есть «строго недѣлимая единица, какъ въ природѣ *кристаллъ*. Слово языковъ *приставочныхъ*, грубо выражающихъ отношеніе самостоятельными словами, приставляемыми къ неизмѣнному корню, есть скорѣе почва для другихъ недѣлимыхъ, чѣмъ субъективное единство членовъ, какъ въ природѣ *растеніе*. Въ языкахъ *флектирующихся*, каковы индо-европейскіе, въ коихъ отношеніе выражается окончаніемъ, неимѣющимъ самостоятельнаго бытія, и измѣненіями корня, слово есть опять единство, какъ въ односложныхъ, но уже единство, въ разнообразіи членовъ, какъ въ *природѣ животный организмъ* ²⁾).

Строеніе совершеннѣйшихъ языковъ, флектирующихся, показываетъ, что они были нѣкогда односложными и приставочными: члены системы наличныхъ языковъ суть представители смѣнявшихъ другъ друга періодовъ жизни языка. Но языкъ имѣетъ исторію только въ томъ смыслѣ, въ какомъ имѣетъ ее растеніе и животное ³⁾, а не въ томъ, въ какомъ существенный признакъ исторіи есть свобода. Жизнь языка не есть непрерывный прогрессъ. Въ историческія времена замѣчаемъ только паденіе языковъ, такъ-что напр. латинскій языкъ гораздо богаче формами, чѣмъ происшедшіе отъ него романскіе; поэтому восходящее движеніе языка, о которомъ— выше, должно быть отнесено ко временамъ доисторическимъ. «*Исторія и языкъ* (т. е. его созданіе и усовершенствованіе)—*это смѣняющія другъ друга дѣятельности человеческого духа*». «Что въ исторіи земнаго шара дочеловѣчскій

¹⁾ Schleicher, Die Sprachen Europas Bonn. 1850.

²⁾ Schleicher, ib. 7—9.

³⁾ Schleicher, ib. 11.

періодъ, то въ исторіи человѣка доисторической: въ первомъ не доставало самосознанія (т. е. человѣка), во второмъ — его свободы; въ первомъ духъ ¹⁾ былъ связанъ въ природѣ, въ послѣднемъ — въ звукѣ, отчего тамъ созданіе царства природы, а здѣсь — царства звуковъ. Въ нашемъ-же періодѣ духъ міра сосредоточился въ человѣкѣ, а духъ человѣческой оставилъ звуки, освободился отъ нихъ. Могущественно-дѣятельная, преизобилующая творческою силою природа прежнихъ періодовъ міра теперь низошла до воспроизведенія, и не создаетъ уже ничего новаго послѣ того, какъ духъ міра дошелъ до сознанія въ человѣкѣ; подобнымъ образомъ и духъ человѣческой, дошедши до сознанія ²⁾ въ исторіи, потерялъ свою производительность въ создаваніи своего конкретного образа — языка. Съ-тѣхъ-поръ поколѣнія языковъ только воспроизводятся, выражаясь все болѣе и болѣе ³⁾.

Здѣсь заключено и другое положеніе, именно, что *«исторія и исторія языка находятся въ обратномъ отношеніи»*. «Чѣмъ свободнѣе духъ раскрывается въ исторіи (т. е. чѣмъ богаче событіями жизнь народа, чѣмъ больше въ ней движенія), тѣмъ болѣе оставляетъ онъ звуки, вслѣдствіе чего стираются флексіи, отдѣльные звуки теряютъ свое значеніе и поддаются дѣйствию физическихъ законовъ органовъ слова, разлагающихъ оставленный творческимъ духомъ организмъ слова, подобно тому, какъ химическіе законы разлагаютъ мертвый растительный или животный организмъ». Такъ потери въ языкахъ народовъ романскаго и германскаго племени несравненно значительнѣе, чѣмъ въ славянскихъ и литовскомъ ⁴⁾.

Положимъ, что духъ міра сосредоточился въ человѣкѣ, но тѣмъ не менѣе продолжаетъ жить и природа; точно такъ, хотя духъ человѣческой теперь развивается въ исторіи, но

¹⁾ Т. е. „Der Weltgeist“, который въ природѣ проявляется въ своемъ „Anders-sein“ (инобытіи), а въ человѣкѣ — въ своемъ „Ansich“.

²⁾ „Seitdem der Menschengestalt... zu sich kam“.

³⁾ Ib. 11—12.

⁴⁾ Ib. 15—16.

и первое его созданіе языкъ—не есть еще мертвое тѣло. Два періода жизни человѣческаго духа: доисторическій—несвободный, и историческій—свободный, должны, поэтому, существовать и теперь, какъ двѣ совмѣстныя, хотя несо- вмѣстимыя, его стороны. Признаніе этого заключается въ томъ, что, по мнѣнію Шлейхера, языкъ въ теперешнемъ своемъ видѣ есть предметъ двухъ противоположныхъ по ха- рактеру наукъ: филологіи и лингвистики. Первая смотритъ на языкъ, какъ на средство проникнуть въ духовную жизнь народа, находить содержаніе только тамъ, гдѣ есть литера- тура, имѣеть дѣло съ исторіею, которая начинается съ по- явленія свободной человѣческой воли, и, по самымъ приѣмамъ, есть наука *историческая*; вторая занимается языкомъ, ради его самого, не имѣеть прямаго отношенія къ исторической жизни народа, возможна и тамъ, гдѣ нѣтъ письменности, и даже по приѣмамъ (непосредственное наблюденіе, сравненіе, классификація по родамъ, видамъ, семействамъ) есть наука *естественная*. То въ языкъ, что вытекаетъ изъ «естествен- ной природы человѣка» ¹⁾ и не подлежитъ произволу, именно формы, вполне относится къ лингвистикѣ; синтаксисъ, болѣе зависимый отъ личной мысли и воли, склоняется на сторону филологіи; слогъ, опредѣляемый волею отдѣльнаго лица безъ раздѣла, принадлежитъ послѣдней ²⁾.

Во всѣхъ изложенныхъ здѣсь взглядахъ Шлейхера про- глядываетъ незамѣченное имъ отсутствіе единства въ по- строеніи.

Во первыхъ, ложное пониманіе связи между словомъ и мыслью обнаруживается въ противопоставленіи сознанія и языка, даетъ мѣсто утвержденію, что отношенія, находясь въ мысли, могутъ не выражаться словомъ. Это могло-бы прямо повести ко мнѣніямъ XVIII в., къ отождествленію грамма- тики съ логикой и признанію произвола въ языкѣ: мысль можетъ-быть выражена, чѣмъ попало; логическія формы не-

1) „Aus dem natürlichen Wesen des M.“

2) Ib. 1—4, 21.

измѣнны, а потому должна быть одна только наука о языкѣ, именно общая грамматика, «философское понятіе всего человѣческаго слова» (Ломоносовъ). Разница между Беккеромъ и Шлейхеромъ та, что сочувствіемъ послѣдняго пользуется не логика, а лингвистика, которая впрочемъ легко можетъ быть примирена съ общею грамматикою, потому-что на свою долю оставляетъ только звуки. Что-же, кромѣ звуковыхъ измѣненій, можетъ быть содержаніемъ Шлейхеровой лингвистики, если отношенія понятій существуютъ независимо отъ своего выраженія въ языкѣ? Какая разница, кромѣ чисто внѣшней, звуковой, между приставочными и флектирующими языками, если и въ тѣхъ и другихъ—то-же единство мысли, въ которой понятія невозможны безъ своихъ отношеній?

Во вторыхъ, не говоря уже о томъ, что «созданіе царства звуковъ» при вышеупомянутомъ предположеніи не имѣть цѣли, двойственность въ творчествѣ человѣческаго духа, которая, повидимому, нужна для поддержки сравненія языка съ растительнымъ и животнымъ организмомъ, опровергается самимъ Шлейхеромъ. Въ синтаксисѣ и слогѣ, входящихъ, по его словамъ, въ кругъ предметовъ филологіи, есть свобода; но «строеніе предложенія и весь характеръ языка» (а слѣдовательно и слогъ) «зависитъ отъ того, какъ выражается звуками понятіе (*Bedeutung*) и отношеніе, отъ *словообразованія*», принимаемаго не только въ смыслѣ образованія корней и темъ, но и частей рѣчи, склоненій, спряженій ¹⁾: слѣдовательно необходимость будетъ тамъ, гдѣ Шлейхеръ видитъ свободу. Наоборотъ, совершенно несправедливо, будто «на языкѣ, какъ предметъ лингвистики, также невозможно вліяніе произвола, какъ невозможно соловью помѣняться пѣснью съ жаворонкомъ» ²⁾: говорятъ-же люди на чужихъ языкахъ. Гегелевское опредѣленіе историческаго развитія, какъ «прогресса въ сознаніи свободы», которое, какъ кажется, было въ виду у Шлейхера, понимаютъ не такъ, какъ

¹⁾ Schleich. ib. 6—7.

²⁾ Schleich. ib. 2.

Шлейхеръ, для котораго сознание и свобода противоположны необходимости, а такъ, что свобода есть необходимое знание неуклонныхъ законовъ духа ¹⁾). Съ такой точки двойственность въ человѣческомъ духѣ, противоположность между доисторическою и историческою его дѣятельностію, должны быть устранены. Этимъ уничтожится двойственность въ языкѣ, а вмѣстѣ и возможность сравнивать его съ кристалломъ или растеніемъ.

III. В. Гумбольтъ.

Приведенныя теоріи представляютъ между собою болѣе мнимое, чѣмъ дѣйствительное различіе. Ихъ ошибки, которыя уничтожаютъ всякую возможность научнаго изслѣдованія вопроса о происхожденіи языка, и задавили-бы въ самомъ зародышѣ историческое и сравнительное языковѣдѣніе, если-бы умъ человѣческій не имѣлъ счастливой способности не замѣчать до поры противорѣчія новыхъ данныхъ старымъ теоріямъ, ихъ ошибки могутъ быть сведены къ одной, именно къ совершенному непониманію прогресса. Для теоріи намѣреннаго изобрѣтенія прогрессъ языка невозможенъ, потому-что имѣеть мѣсто только тогда, когда уже не нуженъ; для теоріи божественнаго происхожденія—прогрессъ долженъ быть регрессомъ, для Беккера и Шлейхера онъ можетъ существовать развѣ въ движеніи звуковъ. Всѣ упомянутыя теоріи смотрятъ на языкъ, какъ на готовую уже вещь (ἔργον), и потому не могутъ понять, откуда онъ взялся. Съ этимъ согласно ихъ стремленіе отождествлять грамматику и вообще языковѣдѣніе съ логикой, которой тоже чуждо начало изслѣдованія историческаго хода мысли ²⁾).

¹⁾ Kuno-Fischer, *Gesch. der Philos.* I. 38.

²⁾ Изъ многихъ доказательствъ, убѣждающихъ въ совершенномъ различіи логики и языковѣдѣнія (Steinthal, *Gram. Log. и Psych.* 145—224), мы приведемъ здѣсь только опредѣленіе логики, согласно со взглядомъ одного изъ глубочайшихъ мыслителей нашего вѣка, Гербарта (ср. *Herbart Lehrbuch zur Einleitung in die Philos.* 4-te Ausg. 19, 51): Логика есть наука объ условіяхъ существованія мысли, независимыхъ отъ ея а) происхожденія и б) содержанія. а) По первому

Въ непониманіи движенія языка заключены и остальные ошибки, именно мнѣніе, что мысль создаетъ слово, но въ свою очередь не получаетъ отъ него ничего, и что вслѣдствіе этого въ языкѣ господствуетъ произволъ. Къ послѣднему заключенію, какъ мы видѣли, невольно приходятъ и поборники органичности языка. Нельзя сказать, чтобы все въ разсмотрѣнныхъ теоріяхъ противорѣчило фактамъ, но въ нихъ не сознаны противорѣчія, живущія въ самихъ фактахъ. Это будетъ видно изъ слѣдующихъ положеній Вильгельма Гумбольта, которыя мы приводимъ здѣсь—не какъ рѣшенія занимающаго насъ вопроса, а какъ указанія на тѣ препятствія, безъ устраненія коихъ невозможно само рѣшеніе ¹⁾).

Языкъ, говоритъ Гумбольтъ, въ сущности есть нѣчто постоянно, въ каждое мгновеніе исчезающее... Онъ есть не *δύλο* (ἔργον), не мертвое произведеніе, а дѣятельность (ἐνέργεια)», т. е. самый процессъ производства. Поэтому его истинное опредѣленіе можетъ-быть только генетическое: языкъ

призыву она есть наука гипотетическая; она основана на предположеніи, что *есть* извѣстныя понятія, сужденія, заключенія, и принимаетъ эти формы мысли, какъ они ей даны, не доискиваясь ихъ происхожденія, тогда какъ, напротивъ, данныя языкованія осмысливаются только своею исторіею, и языкованіе есть наука генетическая. б) Логика спрашиваетъ не о томъ, вѣрна-ли данная ей мысль дѣйствительности, потому-что такой вопросъ, относящійся къ самому содержанию мысли, превратилъ-бы логику, смотря по этому содержанию, въ ботанику, исторію и т. д., а о томъ, вѣрна-ли мысль (какова-бы она ни была) сама по себѣ. Логика, напр., ничего не имѣетъ противъ предразсудка: „карканье ворона предвѣщаетъ несчастье“ и говорить, что это—мысль, мыслимая, заключающая въ себѣ одно изъ необходимыхъ условій истины; но о сужденіяхъ: „мысль безъ языка невозможна“ и „есть языки, въ которыхъ значительная доля мысли говорящаго ими народа не выражается“ логика скажетъ, что они, вмѣстѣ взятая, не составляютъ мысли. Форма, которой она не нашла въ послѣднемъ случаѣ (равенство *a* самому себѣ), какъ и всѣ логическія формы, до того чужда всякому содержанию, что любое понятіе можетъ быть ея содержаніемъ. Такому формальному характеру логики противоположна реальность языкованія, для котораго необходимо знать, дѣйствительно-ли существуютъ именно тѣ, а не другіе признаки понятія. Грамматическія формы составляютъ уже извѣстное содержаніе, по отношенію къ формамъ, разсматриваемымъ логикою.

¹⁾ Въ изложеніи антиномій Гумбольта мы слѣдуемъ Штейнталу (см. *Der Ursprung der Sprache* v. Dr. H. Steintal. 2-te Ausg. Berl. 1858. 61 слѣд. 118 слѣд.). На сочиненіе Гумбольта „*Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues etc.*“ мы ссылаемся по изданію его въ VI т. Собр. Соч. (Wilhelm v. Humboldt's gesammelte Werke).

есть вѣчно повторяющееся усиліе (работа, Arbeit) духа сдѣлать членораздѣльный звукъ выраженіемъ мысли. Это—опредѣленіе не языка, а рѣчи, какъ она каждый разъ произносится (des jedesmaligen Sprechens); но, собственно говоря, только совокупность такихъ актовъ рѣчи (des Sprechens) есть языкъ. Въ безсвязномъ хаосѣ словъ и правилъ, который мы обыкновенно называемъ языкомъ, дѣйствительно есть на лицо только то, что мы каждый разъ произносимъ. При томъ, въ такихъ разрозненныхъ стихіяхъ не видно самаго высшаго, тончайшаго въ языкѣ, именно того, что можно замѣтить или почувствовать только въ связной рѣчи. Это доказываетъ, что языкъ, въ собственномъ смыслѣ, заключенъ въ самомъ актѣ своего дѣйствительнаго появленія».

«Назвать языкъ работою духа (слѣдовательно дѣятельностью) будетъ вполне вѣрно еще и потому, что самое существованіе духа можно себѣ представить только въ дѣятельности и какъ дѣятельность» ¹⁾).

Но съ другой стороны «отъ языка, въ смыслѣ рѣчи, каждый разъ нами произносимой, слѣдуетъ отличать языкъ, какъ массу произведеній этой рѣчи. Языкъ, во всемъ своемъ объемѣ, заключаетъ въ себѣ все измѣненное имъ въ звуки», «всѣ стихіи, уже получившія форму» ²⁾). Въ языкѣ образуется запасъ словъ и система правилъ, посредствомъ коихъ онъ въ теченіе тысячелѣтій становится самостоятельною силою ³⁾). Хотя рѣчь живаго или мертваго языка, изображенная письменами, оживаетъ только тогда, когда читается и произносится, хотя совокупность словъ и правилъ только въ живой рѣчи становится языкомъ; но какъ эта муміеобразная или окаменѣлая въ письмѣ рѣчь, такъ и грамматика со словаремъ—дѣйствительно существуютъ и *языкъ есть столько-же дѣятельность, сколько и произведеніе.*

Опредѣленіе языка какъ работы духа, представляя существеннымъ признакомъ языка, движеніе, прогрессъ, вызы-

¹⁾ Ueb. d. Versch. 41—2.

²⁾ Ib. 62.

³⁾ Ib. 63.

шааеть Гумбольта надъ всѣми предшествующими теоріями; но оно оставляетъ пеяснымъ отношеніе слова къ мысли. Эта неясность уничтожается слѣдующимъ положеніемъ, которое лежитъ въ основаніи новаго направленія, даннаго языко-
знанію Гумбольтомъ: *«языкъ есть органъ, образующій { мысль»* ¹⁾. Объясненіе такого положенія ведетъ къ новымъ важнымъ противорѣчіямъ, которыя, какъ увидимъ, находятся въ связи съ антиноміею дѣятельности и произведенія, и могутъ представиться ея преобразованіями, именно: мысль, дѣятельность вполнѣ внутренняя и субъективная, въ словѣ становится чѣмъ-то внѣшнимъ и осязательнымъ, становится объектомъ, внѣшнимъ предметомъ для себя самой и, посредствомъ слуха, уже какъ объектъ, возвращается къ первоначальному своему источнику. Мысль при этомъ не теряетъ своей субъективности, потому-что произнесенное мною слово остается моимъ. Только посредствомъ объективированія мысли въ словѣ можетъ изъ низшихъ формъ мысли образоваться понятіе ²⁾.

Такимъ образомъ, уже при самомъ рожденіи слова, является въ немъ *противоположность объективности и субъективности*; она связана, какъ увидимъ, съ другою, столь-же нераздѣльною съ языкомъ *противоположностью рѣчи и пониманія*.

Языкъ есть необходимое условіе мысли отдѣльнаго лица, даже въ полномъ уединеніи, потому-что понятіе образуется только посредствомъ слова, а безъ понятія невозможно истинное мышленіе. Однако въ дѣйствительности языкъ развивается только въ обществѣ, и притомъ не только потому, что человѣкъ есть всегда часть цѣлаго, къ которому принадлежитъ, именно своего племени, народа, человѣчества,

¹⁾ Das bildende Organ des Gedankens.

²⁾ Ib. 53.

(Необходимыя объясненія того, какимъ образомъ слово производитъ высшія формы мысли, будутъ изложены послѣ; здѣсь мы можемъ только сказать, что взглядъ Гумбольта вполнѣ подтверждается позднѣйшими психологическими изслѣдованіями).

не только вслѣдствіе необходимости взаимнаго пониманія, какъ условія возможности общественныхъ предпріятій, но и потому, что человѣкъ понимаетъ самого себя, только испытавши на другихъ людяхъ понятность своихъ словъ ¹⁾). Взаимная связь рѣчи и пониманія усиливаетъ противоположность объективности и субъективности: объективность усиливается, когда говорящій слышитъ изъ чужихъ устъ свое собственное слово, а субъективность не только не теряется при этомъ (потому-что говорящій всегда чувствуетъ свою однородность, «единство» съ понимающимъ), но и возвышается, потому-что мысль въ словѣ перестаетъ быть исключительною принадлежностью одного лица, отъ чего происходитъ, такъ сказать, расширеніе субъекта. Личная мысль, становясь достояніемъ другихъ, примыкаетъ къ тому, что обще всему человѣчеству и что въ отдѣльномъ лицѣ существуетъ какъ видоизмѣненіе (Modification), требующее дополненія со стороны другихъ лицъ; всякая рѣчь, начиная съ простѣйшей, связываетъ (ist ein Anknüpfen) личныя ощущенія съ общою природою человѣчества», такъ что рѣчь и пониманіе есть вмѣстѣ и противоположность *частнаго* и *общаго*. «То, что дѣлаетъ языкъ необходимымъ, при простѣйшемъ актѣ образованія мысли, непрерывно повторяется и во всей духовной жизни человѣка. Для дѣятельности мысли (Denkkraft), необходимо нѣчто съ нею одинаковое, и все-же отличное отъ нея; одинаковымъ она возбуждается, на отличномъ—извѣдываетъ вѣрность, существенность своихъ произведеній. Хотя основы познанія истины, того, что безусловно прочно, могутъ заключаться для человѣка только въ немъ самомъ, но его порывы къ истинѣ окружены опасностями заблужденій. Ясно и непосредственно сознавая только свою измѣнчивую ограниченность, человѣкъ принужденъ даже думать, что истина не въ немъ, а гдѣ-то внѣ его: но одно изъ могущественнѣйшихъ средствъ къ ней приблизиться, измѣрить свое разстояніе отъ нея, есть взаимное сообщеніе мысли», т. е. срав-

¹⁾ Ib. 30, 54.

неніе личной мысли съ общою, принадлежащею всѣмъ, возможное только посредствомъ рѣчи и пониманія, есть лучшее средство достиженія объективности мысли, т. е. истины.

Изъ соотвѣтствія антиномій рѣчи и пониманія съ одной стороны, и субъективнаго и объективнаго съ другой — не слѣдуетъ, что рѣчь субъективна и самодѣятельна, а пониманіе — объективно и страдательно». Все, что ни есть въ душѣ, можетъ-быть добыто только ея собственною дѣятельностью; рѣчь и пониманіе — только различныя проявленія (Wirkungen) одной и той-же способности рѣчи (Sprachkraft). Размѣнъ рѣчи и пониманія не есть передача даннаго содержанія (съ рукъ на руки): въ понимающемъ какъ и въ говорящемъ это содержаніе должно развиваться изъ собственной внутренней силы; все, что получаетъ первый, состоитъ только въ гармонически настраивающемъ его возбужденіи» (со стороны говорящаго) ¹⁾.

Если со стороны противоположности рѣчи и пониманія, языкъ является посредникомъ между людьми и содѣйствуетъ достиженію истины въ чисто субъективномъ кругу человѣческой мысли, то съ другой стороны онъ служитъ среднимъ звеномъ между міромъ познаваемыхъ предметовъ и познающимъ лицомъ, и въ этомъ смыслѣ совмѣщаетъ въ себѣ объективность и субъективность. «Совокупность познаваемого лежитъ внѣ языка; человѣкъ можетъ приблизиться къ этой чисто объективной области не иначе, какъ свойственными ему средствами познанія и чувствованія, слѣдовательно только субъективнымъ путемъ», т. е. посредствомъ языка. Языкъ, это средство не столько выражать уже готовую истину, сколько — открывать прежде неизвѣстную, по отношенію къ познающему лицу, есть нѣчто объективное, но отношенію къ познаваемому міру — субъективное. Что до перваго, то «всякій языкъ есть отзвукъ (Anklang) общей природы человѣка; хотя даже совокупность (содержаніе, сущность, Inbegriff) всѣхъ языковъ извѣстнаго времени не можетъ стать

¹⁾ Ib. 54—5.

полнымъ отпечаткомъ субъективности человѣчества, но всё они постоянно приближаются къ этой цѣли; субъективность-же всего человѣчества становится опять сама по себѣ чѣмъ-то объективнымъ» ¹⁾. Что касается до субъективности языка по отношенію къ познаваемому, то она еще болѣе очевидна, и эмпирически доказывается тѣмъ, что содержаніе слова (напр. *дерево*) во всякомъ случаѣ не равняется даже самому бѣдному понятію о предметѣ, и тѣмъ болѣе неисчерпаемому множеству свойствъ самого предмета. Объясненіе въ слѣдующемъ. Слово образуется изъ субъективнаго воспріятія и есть отпечатокъ не самого предмета, а его отраженія въ душѣ. «Такъ-какъ во всякомъ объективномъ воспріятіи есть примѣсь субъективнаго, то отдѣльную человѣческую личность, даже независимо отъ языка, можно считать особою точкою зрѣнія на міръ». Такой взглядъ будетъ еще основательнѣе, если возьмемъ во вниманіе и языкъ, «потому-что слово, объективируя мысль о предметѣ, вноситъ въ нее новую особенность». (Ниже мы постараемся представить объясненіе этой двойной субъективности слова, сравнительно съ чувственнымъ воспріятіемъ). «Какъ отдѣльное слово становится между человѣкомъ и предметомъ, такъ весь языкъ (какъ міросозерцаніе высшей единицы, народа) между человѣкомъ и дѣйствующею на него природою. Человѣкъ окружаетъ себя міромъ звуковъ для того, чтобы воспріять и переработать въ себѣ міръ предметовъ. Въ этихъ словахъ нѣтъ никакого преувеличенія. Такъ-какъ чувство и дѣятельность человѣка зависятъ отъ представлений, а представления—отъ языка; то всё вообще отношенія человѣка ко внѣшнимъ предметамъ обусловлены тѣмъ, какъ эти предметы представляются ему въ языкѣ. Человѣкъ высовывая изъ себя языкъ, тѣмъ-же актомъ вплетаетъ себя въ его ткань; каждый народъ обведенъ кругомъ своего языка, и выйти изъ этого круга можетъ только, перешедши въ другой» ²⁾.

¹⁾ W. Humb. Gesam. W. III Ueb. das vergl. Sprachst. 263.

²⁾ Ueb. die Verschied. 59—60.

Такъ понимаемая антиномія субъективности и объективности видна не только въ томъ, что языкъ вообще служитъ посредникомъ между лицомъ и міромъ, но и въ томъ, какъ именно онъ усваиваетъ человѣку этотъ міръ: въ нестромъ разнообразіи чувственныхъ впечатлѣній мысль открываетъ законность, согласную съ формами нашего духа, и связанное съ нею обаяніе виѣшней красоты. «Созвучія съ тѣмъ и другимъ встрѣчаемъ и въ языкѣ. Вступая въ міръ звуковъ языка, мы въ то-же время не оставляемъ дѣйствительно насъ окружающаго міра (такъ-что въ законности и красотѣ языка опять сходятся противоположности субъекта и объекта). Законность въ языкѣ, субъективное состояние духа, сходное съ законностью въ природѣ, возбуждая высшія и благороднѣйшія силы человѣка, приближаетъ его къ пониманію формальнаго впечатлѣнія природы, которая тоже (т. е. какъ и языкъ) можетъ представляться только развитіемъ духовныхъ силъ». Подобнымъ образомъ «языкъ, посредствомъ свойственной сочетаніямъ звуковъ ритмической и музыкальной формы, возвышаетъ и эстетическое впечатлѣніе (Schönheits-eindruck) природы, перенося его въ другую (т. е. субъективную) область; но дѣйствуетъ и независимо отъ этого впечатлѣнія, извѣстнымъ-образомъ настраивая душу однимъ теченіемъ рѣчи» ¹⁾.

Объективность (согласіе мысли съ ея предметомъ) остается постоянною цѣлью усилій человѣка. Прежде всего человѣкъ приближается къ этой цѣли субъективнымъ путемъ языка, потомъ—онъ старается выдѣлить и эту субъективность и по возможности освободить отъ нея предметъ, хотя-бы даже замѣняя ее на другую, т. е. личную» ²⁾. Такая замѣна, независимо отъ своей конечной цѣли, есть уже великое дѣло языка, потому что она ведетъ не только къ познанію міра, но и самого себя. То и другое находится во взаимной зависимости.

¹⁾ Пб. 61—2.

²⁾ Т. III, 263—4.

Переходимъ къ *антиноміямъ свободы и необходимости, недѣлимаго и народа*. «Выше мы видѣли, что мысль въ языкѣ становится объектомъ для души, и въ этомъ смыслѣ дѣйствуетъ на нее, какъ яѣчто постороннее. Мы разсматривали однако объектъ, со стороны его происхожденія отъ субъекта, а его дѣйствіе на душу—какъ возвратное дѣйствіе души на себя; теперь переходимъ къ противоположной точкѣ зрѣнія, по которой языкъ есть дѣйствительно предметъ посторонній для души, а его дѣйствіе исходитъ не изъ того, на что обращено» ¹⁾).

«Если сообразимъ, какъ стѣснительно дѣйствуетъ на каждое поколѣніе все то, что испыталъ языкъ въ предшествующія столѣтія, и какъ только сила отдѣльныхъ поколѣній (и то не цѣликомъ взятыхъ, потому-что поколѣнія нарастающее и отживающее смѣшаны) соприкасается съ этимъ прошедшимъ языка; то будетъ ясно, какъ ничтожна сила отдѣльныхъ лицъ при могуществѣ языка... «Созданіе никогда дотолѣ неслышанныхъ словъ (Lautzeichen) можно предположить только при началѣ языка (т. е. жизни человѣчества), выходящемъ за предѣлы наблюденія. На памяти исторіи человѣкъ всегда строилъ языкъ на данномъ уже основаніи; не выходя изъ предѣловъ аналогіи съ прошедшимъ, онъ видоизмѣнялъ слова въ употребленіи, а не изобрѣталъ ихъ» ²⁾. Въ языкѣ, живѣе чѣмъ гдѣ-либо каждый человѣкъ чувствуетъ себя только эманациею (ein Ausfluss) всего человѣческаго рода. Тѣмъ не менѣе такъ-какъ каждое лицо порознь и при томъ непрерывно дѣйствуетъ на языкъ, то каждое поколѣніе измѣняетъ его если не въ словахъ и формахъ, то въ ихъ употребленіи. «Воздѣйствіе недѣлимаго на языкъ уяснится намъ, если возьмемъ во вниманіе, что индивидуальность языка—только относительная, что истинная индивидуальность заключена только въ лицѣ, говорящемъ въ данное время. Никто не понимаетъ слова именно такъ, какъ другой... Всякое пони-

¹⁾ Ib. 63.

²⁾ Humb. Ueb. das vergl. Sprachst. III, 261—2.

маніе есть вмѣстѣ непониманіе, всякое согласіе въ мысляхъ вмѣстѣ разногласіе. Въ томъ, какъ измѣняется языкъ въ каждомъ недѣлимомъ, обнаруживается, въ противоположность указанному выше влиянію языка, власть человѣка надъ нимъ... Во влияніи на человѣка заключена *законность языка и его формъ*, въ воздѣйствіи человѣка—*принципъ свободы*, потому что въ человѣкѣ можетъ зародиться то, чему никакой разумъ не найдетъ причины въ предшествующихъ обстоятельствахъ» ¹⁾. «Свобода сама-по-себѣ неопредѣлима и необъяснима», но тѣмъ не менѣе ея присутствіе должно быть признано въ языкѣ ²⁾. Противорѣчія, что языкъ чуждъ душѣ и вмѣстѣ принадлежитъ ей, зависитъ и не зависитъ отъ нея, дѣйствительно соединяются въ языкѣ и составляютъ его особенность. Эти противорѣчія не должны-быть примиряемы тѣмъ, что языкъ отчасти чуждъ душѣ и независимъ отъ нея, а отчасти—нѣтъ. Языкъ именно на столько дѣйствуетъ, какъ объектъ, на столько самостоятеленъ, на сколько создается субъектомъ и зависитъ отъ него. Это потому, что какъ-бы мертвая (принадлежащая прошедшему, подчиняющая себѣ личную свободу) сторона языка, не имѣя нигдѣ, ниже въ письменности, постоянного мѣста, каждый разъ съизнова создается въ мысли, оживаетъ въ рѣчи и пониманіи, слѣдовательно цѣликомъ переходитъ въ субъектъ» ³⁾.

Говорятъ только отдѣльные лица, и съ этой стороны языкъ есть созданіе недѣлимыхъ; но языкъ какъ дѣятельность этихъ послѣднихъ предполагаетъ не только творчество предшествующихъ ноголѣнній (котораго не могло-же быть при началѣ языка), въ каждую настоящую минуту онъ принадлежитъ двоимъ: говорящему и понимающему, причемъ и говорящій и понимающій представители всего народа ⁴⁾. «Существованіе языковъ доказываетъ, что есть духовныя созданія вовсе не переходящія отъ одного лица ко всѣмъ прочимъ,

¹⁾ Ueb. die Versch. 65—6. Cp. ib. 36.

²⁾ Ib. 66.

³⁾ Ib. 63.

⁴⁾ Cp. ib. 63, 35.

а возникающія изъ одновременной самодѣтельности всѣхъ. Языки, всегда имѣющіе національную форму, могутъ-быть только непосредственными созданіями народовъ» ¹⁾. «Между строеніемъ языка и успѣхами всѣхъ другихъ родовъ умственной дѣятельности есть неоспоримая связь... «Извѣстныя направленія духа и извѣстная сила его стремленій немислимы до появленія языковъ того, а не другаго устройства... и въ этомъ смыслѣ будетъ совершенно справедливо, что созданіе народовъ (языкъ) должно предшествовать созданіямъ недѣлимыхъ, хотя въ свою очередь несомнѣнно, что дѣятельность тѣхъ и другихъ одновременно сливается въ этихъ созданіяхъ» ²⁾.

Во второмъ членѣ этой *антиноміи недѣлимаго и народа* повторяется вышеизложенная противоположность свободы и необходимости, и это приводитъ къ новому противоположенію и совмѣщенію въ языкѣ *Божественнаго и человѣческаго*.

Въ утверженіи, что языкъ есть созданіе народовъ, которые слѣдуетъ представлять себѣ духовными единицами, есть два члена, взаимное отношеніе коихъ должно-быть определено, именно духовныя особенности народа и языкъ. Съ одной стороны разнообразіе строя языковъ представляется зависимымъ отъ особенностей народнаго духа и должно объясняться ими ³⁾, такъ-что языкъ будетъ хотя и народнымъ, но все-же человѣческимъ произведеніемъ. Но съ другой стороны языкъ зараждается въ такой глубинѣ челоуѣчества, что его нельзя считать собственнымъ созданіемъ народовъ. Въ немъ есть явственная для насъ, хотя въ сущности своей необъяснимая, самодѣтельность, и съ этой точки зрѣнія онъ не есть произведеніе дѣятельности духа, а—непроизвольная его эманация, не дѣло народовъ, а даръ имъ ⁴⁾. Они упо-

¹⁾ Ib. 33.

²⁾ Ib. 36—7.

³⁾ ... „Müssen wir als das reale Erklärungsprincip und als den wahren Bestimmungsgrund der Sprachverschiedenheit die geistige Kraft der Nationen ansehen“ 38.

⁴⁾ „Eine ihnen (den Nationen) durch ihr inneres Geschick zugefallene Gabe“. 5.

требляютъ языкъ, сами не зная, какъ его образовали... Это не будетъ пустая игра словъ, если скажемъ, что *языкъ* самодѣтельно возникаетъ только изъ самого себя, а *языки*— несвободны (Gebunden von den Nationen) и зависимы отъ народовъ, которымъ принадлежать» ¹⁾. «Такъ какъ языки неразрывно срощены со внутреннею природою челоуѣка и скорѣе самодѣтельно вытекаютъ изъ нея, чѣмъ произвольно создаются ею, то на такихъ-же основаніяхъ можно-бы назвать духовную особенность народовъ дѣйствиємъ языковъ (какъ и наоборотъ). Истина—въ томъ и другомъ вмѣстѣ: характеръ народа и особенности его языка вмѣстѣ и во взаимномъ согласіи вытекаютъ изъ неизслѣдимой глубины духа (des Gemüths)» ²⁾.

Таковъ дѣйствительно смыслъ утвержденія, что языкъ «божественно-свободенъ и вытекаетъ только изъ самого себя», потому-что такъ-какъ связь языка съ духомъ несомнѣнна, а между-тѣмъ языкъ не можетъ быть выводимъ изъ духа народнаго, то, очевидно, и языкъ, и духъ должны имѣть высшее начало, высшее внутреннее единство. Требованіе такого высшаго единства остается только требованіемъ, потому-что самъ изслѣдователь, находя различія въ строеніи языковъ, объясняетъ ихъ только различіемъ народныхъ характеровъ ³⁾, т. е. прямо противорѣчитъ теоретическимъ положеніямъ: если языкъ есть созданіе духа, то онъ, во первыхъ, не самостоятеленъ по отношенію къ послѣднему, связанъ имъ, а не божественно свободенъ; во вторыхъ онъ не нуждается въ единствѣ съ духомъ, но отличенъ отъ него, въ третьихъ происхожденіе языка *отъ* народнаго духа есть чисто-человѣческое.

Усилія Гумбольта удержать не только для практики, но и для теоріи челоуѣческое происхожденіе языка, безуспѣшны. «Если по справедливости языкъ представляется чѣмъ-то

1) Ib. 5—6.

2) Ib. 33.

3) Ib. 38.

вышимъ, чѣмъ-то такимъ, что не можетъ быть, подобно другимъ произведеніямъ духа, дѣломъ человѣческимъ; то это было-бы иначе, если-бы мы встрѣчали духовную силу человека не въ однихъ только единичныхъ ея проявленіяхъ, но если-бы мы могли постигнуть глубину ея сущности и связь въ ней всѣхъ человѣческихъ индивидуальностей, связь, на которую указываетъ языкъ ¹⁾). Но такая душа человечества для насъ непостижима; въ духѣ человѣческомъ нельзя себя представить ничего выше его самого, ничего такого, изъ чего-бы рядомъ могли вытекать языкъ и духовныя особенности народа: поэтому языкъ есть дѣло божественное, при томъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ могутъ быть названы божественными всѣ произведенія, необходимо возникающія изъ свойства человѣческаго духа (напр. поэзія): языку нѣтъ ничего равнаго, кромѣ самого духа; вмѣстѣ съ духомъ онъ возводится къ божественному началу.

Заключительныя противорѣчія единства духа и языка и ихъ раздѣльности, божественности языка и его человѣчности, эти противорѣчія тѣмъ отличаются отъ предшествующихъ, что самъ Гумбольтъ признаетъ ихъ за противорѣчія теоріи и практики; и тѣмъ самымъ заставляетъ считать ихъ слѣдствіемъ ему лично свойственнаго развитія мысли, сырымъ матеріаломъ, котораго онъ не могъ переработать въ научныя положенія.

Крайне ошибочно было-бы сравнивать знаменитыя антиноміи Гумбольта съ невольными и бессознательными логическими ошибками въ родѣ тѣхъ, какія мы видимъ у Беккера. Разница между Гумбольтомъ и Беккеромъ та, что первый—великій мыслитель, который постоянно чувствуетъ, что могучіе порывы его мысли бессильны передъ трудностью задачи, и постоянно останавливается передъ неизвѣстнымъ, а второй въ нѣсколькихъ мелкихъ фразахъ видитъ ключъ ко всѣмъ тайнамъ жизни и языка; первый, заблуж-

¹⁾ Ib., 38—9.

даясь, указывает новые пути наукъ, а второй только на себя доказывает негодность старыхъ. Рѣшить вопросъ о происхожденіи языка и отношеніи его къ мысли, по Беккеру, — значитъ назвать языкъ организмомъ, по Гумбольту — примирить существующія въ языкѣ противорѣчія рѣчи и пониманія, субъекта и объекта, недѣлимаго и народа, чело-вѣческаго и божественнаго.

Противорѣчіе рѣчи и пониманія разрѣшается для Гумбольта единствомъ чело-вѣческой природы. Какъ рѣчь, такъ и пониманіе не были-бы возможны, сообщеніе посредствомъ слова не было-бы только взаимнымъ возбужденіемъ говорящаго и слушающаго, членораздѣльный звукъ не настраивалъ-бы ихъ гармонически и слушающій не овладѣвалъ-бы смысломъ рѣчи посредствомъ самодѣтельнаго, въ немъ самомъ происходящаго развитія мысли, если-бы различіе отдѣльныхъ лицъ не было только проявленіемъ единства чело-вѣческой природы ¹⁾).

Тѣмъ-же объясняется и противорѣчіе субъекта и объекта, свободы и необходимости. «Въ исходящемъ изъ того, что собственно едино со мною, взаимно переходятъ другъ въ друга понятія субъекта и объекта, зависимости (отъ души) и независимости. Языкъ принадлежитъ мнѣ, потому-что я имъ говорю такъ, а не иначе, а такъ-какъ причина этому заключена вмѣстѣ и въ томъ, что этимъ языкомъ говорили всѣ предшествующія поколѣнія, безъ перерыву передавшія его другъ другу, то рѣчь моя стѣснена самимъ языкомъ. Но то, что ограничиваетъ и обуславливаетъ эту мою дѣятельность, вошло въ языкъ изъ чело-вѣческой природы, находящейся со мною во внутренней связи, и чуждое въ немъ — чуждо только для моей мгновенно-индивидуальной, и не для первоначальной истинной природы ²⁾, а потому дѣятельность моя стѣснена мною-же самимъ ³⁾. На вопросъ, какъ можно себя

¹⁾ Ib., 55, 57, 58.

²⁾ Ib. 64—5.

³⁾ Такимъ-образомъ и другой видъ того-же противорѣчія, срединное положеніе языка между познающимъ лицомъ и сознаваемымъ міромъ, примиряется тѣмъ, что возможность познанія истины основывается на первоначальномъ согла-

представить предполагаемое антиноміями рѣчи и пониманія, лица и народа, *внутреннее единство* недѣлимыхъ, разобщенныхъ и различныхъ въ своемъ дѣйствительномъ проявленіи, можно отвѣчать, по Гумбольту, что этого представить себѣ нельзя, что это непостижимо, потому-что мы не имѣемъ даже самаго темнаго чутья (*Ahnung*) какого-либо сознанія, кромѣ индивидуальнаго¹⁾. Но убѣжденіе, что «раздѣльная индивидуальность есть только проявленіе условнаго бытія духовныхъ существъ» поддерживается въ насъ лежащимъ въ самой человѣческой природѣ зародышемъ неугасимой жажды (*Sehnsucht*) цѣльности. «Предчувствіе цѣльности (*Totalität*) и стремленіе къ ней дано непосредственно вмѣстѣ съ чувствомъ индивидуальности и усиливается, по мѣрѣ возрастанія этой послѣдней, такъ-какъ во всякомъ отдѣльномъ лицѣ только одностороннимъ образомъ развивается общая сущность (*Gesamtwesen*) человѣка»²⁾. На народъ тоже можно смотрѣть, какъ на человѣческое недѣлимое, слѣдующее особому пути развитія и требующее дополненія со стороны высшей духовной единицы, человѣчества. Успѣхи гражданственности и образованія исподоволь стираютъ яркія различія народовъ; нравственность, наука и искусство всегда стремятся къ общимъ идеаламъ, освобожденнымъ отъ національныхъ вкусовъ (*Ansichten*)³⁾.

Мы видѣли выше, что предположеніе единой сущности, въ которой сливаются недѣлимые, извѣстныя намъ только въ своемъ ограниченномъ проявленіи, связано у Гумбольта

сія (внутреннее единствѣ?) человѣка съ міромъ. *Gesam. W.* III, 263. Впрочемъ самъ Гумбольтъ слегка только касается этого вопроса.

¹⁾ *Ueb. die Versch.* 31.

²⁾ *Ib.*

³⁾ Но (замѣтимъ противорѣчіе) это стремленіе къ общему, одинаковому для всѣхъ, осуществляется только различными путями, и разнообразіе далекаго отъ ложной односторонности выраженія (обще) человѣческихъ свойствъ (народами), безконечно (*Ueb. die Versch.* 32). Предполагаемое этимъ возрастаніе опредѣленности народныхъ характеровъ совершенно согласно съ приведенною выше мыслью, что въ недѣльномъ стремленіи къ цѣльности увеличивается вмѣстѣ съ чувствомъ индивидуальности, которое должно расти, потому-что жизнь углубляетъ сначала мало замѣтныя духовныя особенности лица.

съ утверждениемъ самостоятельности языка, по отношенію къ духу, и божественнаго его происхожденія. Противорѣчіе божественности и человѣчности языка можно-бы, повидимому, разрѣшить такимъ-же образомъ, какимъ примиряется противоположность объективности и субъективности, т. е. утверждениемъ единства человѣческаго духа съ божественнымъ, которое-бы совершенно соотвѣтствовало единству объективности и субъективности въ языкѣ. Можно было-бы сказать: языкъ истекаетъ изъ божества, а такъ-какъ причина этому заключена вмѣстѣ и въ человѣкѣ, то божество стѣснено здѣсь человѣкомъ; однако ограниченіе божественнаго творчества происходитъ здѣсь изъ божественной-же природы, находящейся во внутренней связи съ божествомъ, и чуждое въ этомъ ограниченіи божеству чуждо его *мгновенно-индивидуальной*, а не первоначальной, истинной и безконечной природѣ, такъ-что въ созданіи языка собственно божество само себѣ служить ограниченіемъ ¹⁾. Однако Гумбольтъ не старается примирять противорѣчія божественнаго и человѣческаго въ языкѣ такимъ страннымъ построениемъ, предполагающимъ въ Богѣ мгновенно-индивидуальную и конечную природу, и оставляетъ упомянутое противорѣчіе неразрѣшеннымъ.

Столь-же мало поддается метафизическимъ преобразованіямъ другое противорѣчіе, что языкъ и зависитъ отъ духа и самостоятеленъ, и въ этомъ отношеніи отлично отъ перваго только тѣмъ, что въ немъ болѣе замѣтны ошибки Гумбольта. Самостоятельность языка не возбуждала-бы ни малѣйшаго сомнѣнія, если-бы не выходила за предѣлы общаго закона человѣческой дѣятельности, по которому всякое произведеніе становится однимъ изъ обстоятельствъ, обуславливающихъ послѣдующую дѣятельность самого производителя ²⁾. Но, если Гумбольтъ утверждаетъ тождество (хотя-бы даже и высшее) языка и духа, если онъ старается

¹⁾ Steinthal, der Urspr. d. Spr. 2-te Ausg. 81.

²⁾ Ср. Humb. Ueb. die Versch. etc. 305.

выйти изъ круга: „безъ языка нѣтъ духа, и на оборотъ—безъ духа нѣтъ языка“ такимъ-образомъ, что водить рядомъ и духъ и языкъ къ высшему началу; то это должно-быть слѣдствіемъ какихъ-нибудь недоразумѣній. Такое рѣшеніе преграждаетъ путь всякому дальнѣйшему изслѣдованію, отождествляя вопросы о происхожденіи языка и происхожденіи духа, между-тѣмъ какъ нельзя въ себѣ подавить убѣжденія, все болѣе и болѣе усиливаемаго фактическимъ изученіемъ языка, что это вопросы неравносильные и отдѣльные другъ отъ друга. Гумбольтъ не находитъ ничего равнаго языку; не отвергая этого безусловно, мы однако смѣло можемъ повторить признаваемую многими мысль, что аналогія поэтическаго народнаго творчества съ созданіемъ языка во многихъ случаяхъ поразительна. Если при дѣйствительномъ существованіи такого соответствія возможно изслѣдовать не только ходъ развитія, но и самое зарожденіе мѣта и народно-поэтическаго произведенія, не вдаваясь въ рѣшеніе метафизическихъ задачъ, то должно-быть возможно и не метафизическое изслѣдованіе начала языка. Уже по этому одному можетъ казаться, что область метафизики не заключаетъ въ себѣ нашего вопроса, а начинается тамъ, гдѣ онъ оканчивается ¹⁾, и что въ вопросахъ о языкѣ прибѣгать къ метафизикѣ—слишкомъ рано. При томъ, хотя мы не можемъ представить себѣ народа безъ языка, и хотя по этому, рассматривая языкъ, какъ произведеніе народа, можемъ принять и самостоятельность языка и его высшее единство съ духомъ; но жизнь недѣлимаго представляетъ много фактовъ, заставляющихъ усомниться и въ этой самостоятельности и въ этомъ единствѣ.

¹⁾ Можетъ-быть уместно будетъ привести здѣсь слѣдующее очень удобное опредѣленіе метафизики: „Познаніе міра и насъ самихъ приносить съ собою многія понятія, которыя становятся тѣмъ несоединимѣе въ мысли, чѣмъ болѣе уясняются. Важная задача философіи—такъ видоизмѣнить эти понятія, какъ это требуется особенностью каждаго изъ нихъ. При этомъ видоизмѣненіи прибавится къ нимъ нѣчто новое, посредствомъ коего будетъ устранена ихъ несовмѣстимость. Это новое можно назвать дополненіемъ. Наука о такой обработкѣ понятій есть метафизика. Herbart, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie.“

Взявши слово *духъ*, играющее въ теоріи Гумбольта очень важную роль въ самомъ обширномъ и можетъ-быть совершенно невѣрномъ смыслѣ душевной жизни человѣка вообще, мы спросимъ себя, до какой степени эта жизнь нераздѣльна съ языкомъ? Въ отвѣтъ на такой вопросъ прежде всего придется устранить неразрывность (но не связь) съ языкомъ чувства и воли, которыя выражаются словомъ, на сколько стали содержаніемъ нашей мысли. Затѣмъ въ самой мысли отмѣтимъ многое нетребующее языка. Такъ дитя до извѣстнаго возраста не говоритъ, но въ нѣкоторомъ смыслѣ думаетъ, т. е. воспринимаетъ чувственные образы, при томъ гораздо совершеннѣе, чѣмъ животное, вспоминаетъ ихъ и даже отчасти обобщаетъ. Потомъ, когда уже усвоено человѣкомъ употребленіе языка, непосредственныя чувственныя воспріятія или существуютъ до своего соединенія съ словомъ, или даже никогда не достигаютъ такого соединенія. Подобнымъ образомъ и сновидѣнія, которыя большею частью слагаются изъ воспоминаній чувственныхъ воспріятій, нерѣдко не сопровождаются ни громкою, ни беззвучною рѣчью. Творческая мысль живописца, ваятеля, музыканта, невыразима словомъ и совершается безъ него, хотя и предполагаетъ значительную степень развитія, которая дается только языкомъ. Глухонѣмой даже постоянно мыслить, и при томъ не только образами, какъ художникъ, но и объ отвлеченныхъ предметахъ, безъ звуковаго языка, хотя, по-видимому, никогда не достигаетъ того совершенства умственной дѣятельности, какое возможно для говорящихъ. Наконецъ въ математикѣ, — наукѣ совершеннѣйшей по формѣ, человѣкъ говорящій отказывается отъ слова и дѣлаетъ самыя сложныя соображенія только при помощи условныхъ знаковъ.

Изъ всего этого видно, что область языка далеко не совпадаетъ съ областью мысли. Въ срединѣ человѣческаго развитія мысль можетъ быть связана со словомъ, но въ началѣ она, по-видимому, еще не доросла до него, а на высокой степени отвлеченности покидаетъ его, какъ неудовлетворяющее ея требованіямъ и, какъ-бы потому, что не можетъ

вполнѣ отрѣшиться отъ чувственности, ищеть внѣшней опоры только въ произвольномъ знакѣ ¹⁾).

Если, несмотря на такую нетождественность мысли и слова, мы удержимъ въ полной силѣ необходимость слова для мысли, чтобъ не впасть въ ошибки теорій, стоящихъ ниже Гумбольта, и если спросимъ когда и для какой именно умственной дѣятельности необходимо слово; то, по Гумбольту, можно будетъ отвѣчать: слово нужно для преобразованія низшихъ формъ мысли въ понятія, и, слѣдовательно, должно появляться тогда, когда въ душѣ есть уже матеріалы, предполагаемые этимъ преобразованиемъ. Въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать и слѣдующее мѣсто: «языкъ есть вмѣстѣ и необходимое усовершеніе (дополненіе) мышленія, и естественное развитіе способности, свойственной одному только человѣку. Это развитіе не есть фізіологически-объяснимое развитіе инстинкта» (и языкъ нельзя назвать инстинктомъ, хотя вполнѣ послѣдовательное и искусное строеніе языка возможно при совершенной грубости народа, точно такъ, какъ правильное строеніе ячеекъ сота не предполагаетъ въ пчелѣ никакихъ познаній). «Не будучи дѣломъ ни непосредственнаго сознанія, ни свободы, языкъ можетъ однако принадлежать только существу одаренному сознаніемъ и свободою; въ этомъ существѣ онъ вытекаетъ изъ неизслѣдимой глубины его индивидуальности, ибо онъ вполнѣ зависитъ отъ того, съ какою силою и въ какой формѣ человѣкъ безсознательно возбуждаетъ къ дѣятельности всю свою духовную личность» ²⁾. Заключенное здѣсь противорѣчіе уничтожается тѣмъ, что слово нужно душевной дѣятельности для того, чтобы она могла стать сознательною, и появляется, какъ дополненіе, тогда, когда есть уже всѣ прочія условія перехода къ сознательности.

Принявши, послѣ этого, *духъ* въ смыслѣ сознательной умственной дѣятельности, предполагающей понятія, которыя образуются только посредствомъ слова, мы увидимъ, что

1) Steinthal. Gr. L. и Psychol. 153 и слѣд.

2) „Seiner gesammten geistigen Individualität den treibenden Anstoss ertheilt“ Ueb. die Versch. etc. 303—4.

духъ безъ языка не возможенъ, потому-что самъ образуется при помощи языка и языкъ въ немъ есть первое по времени событіе. Мы можемъ даже признать языкъ самостоятельнымъ по отношенію къ духу, разумѣтся въ томъ только смыслѣ, въ какомъ духъ, какъ высшая познательная дѣятельность, самостоятеленъ по отношенію къ другимъ душевнымъ явленіямъ, и при томъ если примемъ, что формы творчества мысли въ языкѣ отличны отъ тѣхъ, которыя назовемъ собственно духовными. Языкъ и духъ, взятые въ смыслѣ послѣдовательныхъ проявленій душевной жизни, мы можемъ вмѣстѣ выводить изъ «глубины индивидуальности», т. е. изъ души, какъ начала, производящаго эти явленія и обусловливающаго ихъ своею сокровенною сущностью.

Тоже слѣдуетъ сказать объ отношеніи языка къ духу народному. Языкъ не можетъ быть тождественъ съ этимъ послѣднимъ; какъ въ жизни лица, такъ и въ жизни народа должны быть явленія, предшествующія языку и слѣдующія за нимъ. Взявши во вниманіе, что языкъ есть переходъ отъ бессознательности къ сознанию, можно сравнить отношеніе данной системы словъ и грамматическихъ формъ къ духу народному, съ отношеніемъ къ нему извѣстной философской системы. Какъ та, такъ и другая, завершая одинъ періодъ развитія и подчиняя его сознанию, служить началомъ и основаніемъ другому высшему.

При всемъ этомъ, божественность языка остается въ сторонѣ, и вопросъ о его происхожденіи становится вопросомъ о явленіяхъ душевной жизни предшествующихъ языку, о законахъ его образования и развитія, о вліяніи его на послѣдующую душевную дѣятельность, т. е. вопросомъ чисто *психологическимъ*. Самъ Гумбольтъ не могъ оторваться отъ метафизической точки зрѣнія, но онъ именно положилъ основаніе перенесенію вопроса на психологическую почву своими опредѣленіями языка, какъ дѣятельности, работы духа, какъ органа мысли. Признаніе вопроса о происхожденіи языка вопросомъ психологическимъ опредѣляетъ уже, гдѣ искать его рѣшенія, и какое именно созданіе языка здѣсь

разумѣтся: то-ли, о которомъ говорили теоріи произвольнаго изобрѣтенія и божественнаго откровенія языка, или то, на которое указывалъ Гумбольтъ, говоря, что «языкъ не есть нѣчто готовое и обозримое въ цѣломъ; онъ вѣчно создается, при томъ такъ, что законы, по которымъ онъ создается, опредѣлены, а объемъ и даже родъ произведенія остаются неопредѣленными ¹⁾). Законы душевной дѣятельности одни для всѣхъ временъ и народовъ; не въ этихъ законахъ разница между нами и первыми людьми (по-крайней-мѣрѣ вѣроятная разница въ строеніи тѣла не кажется намъ достаточнымъ основаніемъ утверждать противное), а въ результатахъ ихъ дѣйствія, потому-что прогрессъ предполагаетъ два производителя, изъ коихъ одинъ, именно законы душевной дѣятельности, представляется величиною постоянною, другой—результаты этой дѣятельности—перемѣнною. Если, поэтому, будемъ въ состояніи опредѣлить законы прогресса языка, узнать, какъ онъ измѣняется въ теченіе вѣковъ подъ вліяніемъ дѣйствующей на него мысли, какъ постепенно растутъ перемѣнный агентъ въ прогрессѣ языка, т. е. найдемъ постоянныя отношенія, въ какія становится уже сформированная масса языка къ новымъ актамъ творчества; то и въ этихъ послѣднихъ, взятыхъ въ томъ видѣ, въ какомъ ихъ застаемъ въ насъ самихъ, сможемъ найти черты, общія намъ съ первыми говорившими людьми. Такимъ-образомъ въ исторіи языка, въ психологическихъ наблюденіяхъ современныхъ намъ процессовъ рѣчи — ключъ къ тому, какъ совершались эти процессы въ началѣ жизни человѣчества. Этимъ устраняются мнѣнія, подобныя тѣмъ, которыя мы видѣли у Шлейхера, и можемъ встрѣтить у другихъ ²⁾, будто время созданія языка прошло, будто созданіе это требовало особенныхъ, неизвѣстныхъ намъ и не существующихъ теперь силъ. Такъ называемое паденіе языка, которое Шлейхеру казалось постепеннымъ его омертвѣніемъ, съ точки зрѣнія Гумбольта, представляется постояннымъ повтореніемъ перваго акта созданія языка.

¹⁾ Ueb. die Versch. 56.

²⁾ Шеллинга, Ренана. См. Steinth. der Urspr. der Spr.

Недѣлимое изъ себя создаетъ свое развитіе, но стѣснено въ этомъ направленіемъ путей, пройденныхъ его народомъ. Въ примѣненіи къ языку это выражается антиномією: «языкъ есть столько-же созданіе лица, сколько и народа». Законы развитія языка въ недѣлимомъ относятся къ индивидуальной психологіи; законы-же языка, какъ народнаго произведенія, открываемые языкознаніемъ, требуютъ дополненія со стороны новаго еще отдѣла психологіи, содержаніемъ коего должно быть изслѣдованіе отношеній личнаго развитія къ народному. Какъ индивидуальная психологія указываетъ не только общіе для всѣхъ законы душевной жизни, но и возможное разнообразіе и оригинальность недѣлимыхъ; такъ психологія народовъ должна показать возможность различія національных особенностей и строенія языковъ, какъ слѣдствіе общихъ законовъ народной жизни. Такимъ-образомъ то направленіе науки, которое намъ кажется лучшимъ, предполагаетъ уваженіе къ народностямъ, какъ необходимому и законному явленію, а не представляетъ ихъ уродливостями, какъ должно слѣдовать изъ принципа логической грамматики.

Впрочемъ здѣсь, оставляя почти совсѣмъ въ сторонѣ народно-психологическіе вопросы, тѣсно связанные съ исторією отдѣльныхъ языковъ, обратимся къ болѣе легкимъ—о значеніи слова въ развитіи недѣлимаго.

IV. Языкознаніе и психологія.

Сближеніе языкознанія съ психологією, при которомъ стала возможна мысль искать рѣшенія вопросовъ о языкѣ въ психологіи, и наоборотъ, ожидать отъ изслѣдованій языка новыхъ открытій въ области психологіи, возбуждая новыя надежды, въ то-же время свидѣтельствуетъ, что каждая изъ этихъ наукъ порознь уже достигла значительнаго развитія. Прежде чѣмъ языкознаніе стало нуждаться въ помощи психологіи, оно должно было выработать мысль, что и языкъ имѣетъ свою исторію и что изученіе его должно быть сравненіемъ его настоящаго съ прошедшимъ, что такое сравненіе,

начатое внутри одного языка, вовлекаетъ въ свой кругъ всё остальные языки, т. е. что историческое языкознание нераздѣльно со сравнительнымъ. Мысль о сравненіи всѣхъ языковъ есть для языкознанія такое-же великое открытіе, какъ идея человѣчества—для исторіи. И то и другое основано на несомнѣнной, хотя многими не сознаваемой истинѣ, что начала, развиваемыя жизнью отдѣльныхъ языковъ и народовъ, различны и незамѣнимы одно другимъ, но указываютъ на другія и требуютъ со стороны ихъ дополненія. Въ противномъ случаѣ, т. е. если-бы языки были повтореніемъ одного и того-же въ другой формѣ, сравненіе ихъ не имѣло-бы смысла, точно-такъ какъ исторія была-бы одною огромною, утомительною тавтологіею, если-бы народности твердили зады, не внося новыхъ началъ въ жизнь человѣчества. Говорятъ обыкновенно объ исторической и сравнительной методѣ языкознанія: это столько-же методы, пути изслѣдованія, сколько и основныя истины науки. Сравнительное и историческое изслѣдованіе само-по-себѣ было протестомъ противъ общей логической грамматики. Когда оно подрыло ея основы и собрало значительный запасъ частныхъ законовъ языка, тогда только стало невозможно примирить новыя фактическія данныя со старой теоріей: вино новое потребовало мѣховъ новыхъ. На рубежѣ двухъ направленій науки стоитъ Гумбольтъ — гениальный предвозвѣстникъ новой теоріи языка, не вполне освободившійся отъ оковъ старой. Штейнталь первый, какъ кажется, показалъ въ Гумбольтѣ эту борьбу теоріи и практики, или вѣрнѣе сказать, двухъ противоположныхъ теорій, а вмѣстѣ и то, на которую сторону должна склониться побѣда, по суду нашего времени.

Съ другой стороны психологія не могла-бы внушить никакихъ ожиданій филологу, еслибы до-сихъ-поръ оставалась описательною наукою. Всякая наука коренится въ наблюденіяхъ и мысляхъ, свойственныхъ обыденной жизни; дальнѣйшее ея развитіе есть только рядъ преобразованій, вызываемыхъ первоначальными данными, по мѣрѣ того, какъ замѣчаются въ нихъ несообразности. Такъ и первыя психологическія

теоріи примыкають къ житейскому взгляду на душу. Самонаблюденіе даетъ намъ массу психологическихъ фактовъ, которые обобщаются уже людьми, по умственному развитію, непревышающими уровня языка. Кто называетъ однимъ словомъ испытанныя въ себѣ или замѣченныя въ другихъ различныя обнаруженія любви, и кто эти явленія, взятыя вмѣстѣ съ другими, напр. гнѣвомъ, печалью, обозначаетъ словомъ *чувство*, тотъ не чуждъ подобной разработки понятій. Подвигаясь этимъ путемъ, подводя частныя явленія подъ общія схемы, психологія пришла къ извѣстнымъ понятіямъ, между которыми общаго, съ ея точки, было только то, что обнимаемыя ими явленія происходили въ душѣ; на этомъ основаніи она приписала душѣ столько отдѣльныхъ способностей производить въ себѣ или испытывать извѣстныя состоянія, сколько было группъ, неподводимыхъ подъ одну общую: радость, печаль—это чувство; рѣшимость, нерѣшительность—воля; память, рассудокъ, разумъ—дѣятельность познавательная; но чувство, воля, разумъ, не имѣютъ общаго понятія, кромѣ понятія души, а потому душѣ приписаны отдѣльныя способности понимать, чувствовать, имѣть волю. Если цѣль всякой науки—объяснить явленія, подлежащія ея изслѣдованію, то теорія душевныхъ способностей не имѣетъ научнаго характера. Какъ вообще понятія, образованныя изъ признаковъ, общихъ многимъ единичнымъ явленіямъ, должны говорить намъ не болѣе того, что въ разсмотрѣнныхъ нами явленіяхъ есть такіе-то общіе признаки; такъ и понятія разума, чувства, воли должны быть только общими, и потому неясными очерками, повторяющими событія, ярко изображенныя намъ самонаблюденіемъ. Въ естественныхъ наукахъ общія понятія, правильно и постепенно образуемая изъ частныхъ, ни для кого не имѣютъ реального значенія и всякому кажутся только средствами, созданными мыслью и нужными ей для обзора разнообразныхъ явленій. Зоологъ напр. не станетъ искать причины такихъ или другихъ свойствъ этой собаки въ отвлеченномъ понятіи собаки вообще. Если-же опытная психологія утверждаетъ, что познавательная спо-

способность производить представленія, понятія, что человекъ помнитъ, потому-что имѣеть память; то она нелогично принимаетъ то, что въ насъ происходитъ, за реальныя начала самихъ явленій и, по выраженію Гербарта, изъ опытной науки превращается въ мифологію.

Между-тѣмъ насъ дѣйствительно преслѣдуетъ необходимость искать причины душевныхъ явленій. Языкъ, вообще соотвѣтствующій среднему уровню пониманія въ народѣ, не ограничивается обозначеніемъ душевныхъ явленій посредствомъ сравненія ихъ съ чувственными, или другими душевными: назвавши любовь огнемъ, онъ отъ сравненія переходитъ къ причинѣ и говоритъ, что отъ огня въ насъ любовь, точно такъ-же, какъ наоборотъ народный стихъ, недовольствуясь сравненіемъ физическихъ явленій съ психическими, ночи съ думою, утверждаетъ, что у насъ ночи темныя отъ думъ Божіихъ. Темный человекъ, по своему, грубо удовлетворяетъ потребностямъ, создающимъ впоследствии науку; въ сравненіи онъ ищетъ средства произвести самое явленіе, раскаляетъ слѣды, взятые изъ подъ ногъ другаго, чтобы произвести въ немъ любовь. И при высшей степени развитія, всякій, кому нужно имѣть вліяніе на душу, ищетъ разгадки ея состояніямъ. Нельзя себѣ представить воспитателя безъ извѣстной, истинной или ложной сознательной или безсознательной теоріи причинныхъ отношеній между явленіями душевной жизни, точно такъ, какъ безъ знанія причинъ болѣзни можно быть только страдательнымъ ея наблюдателемъ, а не врачомъ. Теорія способностей, превративши общія схемы явленій въ ихъ реальныя начала, сбилась съ пути, указываемаго обыденною жизнью и сошла съ дѣйствительно-причинной точки зрѣнія. Такъ напр. если говоря, что страсть ослѣпляетъ человекъ, т. е. даетъ одностороннее направленіе его разсудку, мы выражаемъ общее безсознательное убѣжденіе, что психическія явленія различныхъ группъ видоизмѣняютъ другъ друга своимъ вліяніемъ, то тѣмъ самымъ указываемъ на явленіе необъяснимое теоріею способностей. Въ этой теоріи разумъ, чувство, воля—только логически соподчиняются другъ другу и

не могутъ быть приведены въ другую зависимость, потому-что какъ-же будетъ возможно вліяніе познанія на чувство, чувства на волю, если самое названіе ихъ душевными способностями было слѣдствіемъ невозможности привести ихъ къ одному знаменателю?

Отсутствіе причинной связи между явленіями нераздѣльно съ другимъ важнымъ недостаткомъ теоріи душевныхъ способностей, именно съ тѣмъ, что явленія представляются въ ней одновременными и неподвижными членами системы. Какъ предметъ грамматики того направленія, которое называютъ практическимъ, есть литературный языкъ, при томъ не дѣйствительный, потому-что въ такомъ случаѣ эта грамматика должна-бы стать историческою, вслѣдствіе разновременности слоевъ, замѣтныхъ въ каждомъ языкѣ, а идеальный; такъ и предметъ опытной психологіи есть не дѣйствительный, а какой-то мыслимый, невозможный человѣкъ. Положимъ, мы представили описаніе найденнаго нами въ современномъ человѣкѣ; можемъ-ли мы устранить вопросъ о томъ, встрѣчается-ли намъ такая совокупность явленій въ дикарѣ, въ человѣкѣ прежнихъ вѣковъ? Мы не избѣгнемъ также другаго вопроса, всегда-ли въ этомъ образованномъ была такая совокупность? Если не всегда, то гдѣ начинается въ немъ то состояніе, которое мы назвали образованностью? Опытъ намъ скажетъ, что во многихъ образованныхъ мы не встрѣтимъ извѣстныхъ явленій, и что въ одномъ и томъ-же эти явленія постоянно мѣняются, такъ-что не только чувства и акты воли мгновенно то являются, то исчезаютъ, но и познавательная способность дѣйствуетъ въ разные времена съ различною силою. Такое постоянное волненіе не можетъ быть обнято неподвижными схемами. Опытная психологія, чтобы не разойтись съ опытомъ, должна предположить, что способности до своего дѣйствительнаго появленія существуютъ какъ возможности, такъ-что, напр. разумъ можетъ быть безъ познаваемаго, чувство безъ чувствуемаго, при чемъ между возможностью и дѣйствительностью будетъ ничѣмъ незаполненная пропасть.

Очевидно, что при такомъ состояніи науки, сближеніе ея съ языкознаніемъ невозможно. Напрасно будемъ ей предлагать вопросъ объ условіяхъ зарожденія языка и его вліяніи на послѣдующее развитіе, если ей самой чуждо стремленіе изслѣдовать условія явленій.

Руководясь необходимостью внести причинный взглядъ на душевную жизнь, легко можно замѣтить, что не всѣ ея явленія могутъ быть названы равно первоначальными. Такъ, относительно познанія, давно уже извѣстно, что *nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu*, т. е. что всѣ дѣйствія, приписываемыя различнымъ способностямъ этой группы—только видоизмѣненія матеріала давнаго чувствамъ, или, если захотимъ отрицать причинную связь между душою и міромъ, создаваемого душою во время чувственнаго воспріятія. Согласно съ этимъ память и воспоминаніе, которыя удерживаютъ и воспроизводятъ впечатлѣнія, фантазія, прихотливо ихъ группирующая, разсудокъ, преобразующій ихъ въ понятія и сужденія, какъ олицетворенія безъ реального значенія, какъ миѳическія существа, которыя сами рождаются въ одно время съ тѣмъ, что производятъ, могутъ быть устранены. Преобразованія чувственныхъ впечатлѣній могутъ быть выведены изъ силъ, которыя не таятся въ этихъ воспріятіяхъ до времени, а дѣйствительно возникаютъ при извѣстныхъ условіяхъ, подобно тому, какъ физическія силы не пробуждаются въ веществѣ, а рождаются въ немъ при его взаимодействіяхъ съ другимъ. Условія появленія силъ, видоизмѣняющихъ воспріятія, будутъ взаимодействія этихъ послѣднихъ; если иное представленіе забывается, другое помнится, то это не потому, что мы имѣемъ способность помнить и забывать (это не объясняетъ дѣла), а потому, что одно испытываетъ большее давленіе со стороны другихъ, а другое—меньшее, подобно тому, какъ одна чашка вѣсовъ опускается, а другая поднимается, не потому только, что способны къ этому, а потому-что на одной лежитъ тяжесть, на другой нѣтъ. Не слѣдуетъ смущаться тѣмъ, что употребленное нами слово «давленіе» имѣетъ матеріальный смыслъ;

психологія, какъ и всякая наука, принуждена пользоваться языкомъ, а языкъ и невещественное обозначаетъ словами первоначально выражавшими подлежащее чувствамъ. Сила не въ словахъ, а въ томъ, что при такомъ возрѣніи дается возможность опредѣлить психо-механической процессъ возникновенія сложныхъ явленій изъ простѣйшихъ стихій и управляющихъ ими законовъ, и изгоняются мелкія душевныя способности, столь-же ненужныя, какъ флогистонъ въ химіи и жизненная сила въ физиологіи. Это нисколько не противорѣчитъ опыту. Представленія возстаютъ изъ глубины души, сцѣпляются и тянутся вереницами, слагаются въ причудливые образы или въ отвлеченныя понятія, и все это совершается само собою, какъ восхожденіе и захожденіе свѣтилъ, безъ того двигателя, который необходимъ для кукольнаго театра.

Подобнымъ образомъ разложимы и двѣ другія области душевной жизни: чувство и воля. Признавши ихъ первичными, необходимо было-бы отказаться отъ ихъ объясненія, потому-что всякое объясненіе было-бы разложеніемъ ихъ на простѣйшія представленія. Но наблюденіе показываетъ, что чувства не только сопровождаются мыслью, но и находятся отъ нея въ зависимости. Въ этомъ можно увѣриться, сравнивши проявленія чувства и воли въ людяхъ разныхъ степеней развитія. Развитіе ума порождаетъ новыя чувства и стремленія и подавляетъ старыя. Въ дитяти желанія настойчивѣе, чувства мельче и вообще все состояніе духа измѣнчивѣе, чѣмъ во взросломъ. Воля, посредствомъ мысли, то совсѣмъ разрушаетъ чувство, то подавляетъ его только на мгновеніе, давая ему возможность въ слѣдующій разъ проявиться съ большею силою. Вообще сомнѣваться во влияніи умственного развитія на чувство и волю значитъ сомнѣваться во всесторонности прогресса и отрицать, что въ образованномъ обществѣ менѣе возможны неукротимые порывы чувства, чѣмъ между дикарями. Не безъ основанія мы цѣнимъ челоуѣка не по одному развитію ума, но и по степени власти надъ собою, которая, какъ сказано выше, посредствуется мыслью.

Эстетическія и нравственныя чувства зависятъ отъ самаго содержанія представленій, но объ остальныхъ этого сказать нельзя. Поэтому причины чувства вообще можно искать не въ томъ, что вообще представляется, а въ томъ, какимъ образомъ представленія дѣйствуютъ другъ на друга.

Возьмемъ для примѣра чувство ожиданія и предположимъ извѣстнымъ во 1-хъ, что различныя воспріятія при извѣстныхъ условіяхъ ассоціируются, соединяются между собою, такъ-что одно, которое мы вспомнили, приводитъ на память и другія; во 2-хъ, что одинаковыя представленія сливаются между собою. Положимъ, мы ѣдемъ по знакомой дорогѣ; представленія предметовъ, замѣченныхъ нами прежде, образовали въ насъ рядъ, первый членъ котораго вызываетъ въ сознаніи всѣ остальные. Мы видимъ мостъ черезъ рѣчку и при этомъ думаемъ, что за мостомъ начнутся пески, потомъ лѣсъ, затѣмъ гора, на которой стоитъ монастырь. Еслибы прежнія представленія возникали въ насъ, по мѣрѣ того какъ мы видимъ всѣ эти предметы, то вновь полученные нами ихъ образы сливались-бы съ прежними и не произошло-бы никакого опредѣленнаго чувства; но мысль наша забѣгаетъ впередъ и представляетъ намъ гору и монастырь, тогда какъ передъ нами еще пески, и представленіе горы, вызванное къ сознанію другими, связанными съ нимъ, то вновь подавляется тѣмъ, что мы дѣйствительно видимъ, то всплываетъ опять. При такомъ колебаніи представленій происходитъ непріятное само-по-себѣ чувство ожиданія. Съ ожиданіемъ сродно другое непріятное чувство, желаніе. Оно происходитъ тогда, когда мы представляемъ предметъ, отъ котораго можемъ ожидать удовольствія, но вмѣстѣ сознаемъ, что для удовольствія нашего недостаетъ дѣйствительнаго присутствія этого предмета. Мы желаемъ ѣсть, когда въ болѣе или менѣе заманчивомъ видѣ представляемъ пищу, но чувствуемъ недостатокъ чувственныхъ впечатлѣній, сопровождающихъ ѣду. Такимъ-образомъ мы желаемъ не самаго предмета, а извѣстныхъ видоизмѣненій его представленія, извѣстнаго пріятнаго чувства удовлетворенія. На возраженіе, что можно представлять отсут-

ствующій пріятный предметъ и не желать его, отвѣчаютъ, что въ такомъ случаѣ и предметъ вовсе не представляется пріятнымъ для насъ въ эту минуту: мы думаемъ, что онъ когда-то доставлялъ намъ удовольствіе. Этими примѣрами мы хотимъ сказать, что чувство вообще можетъ быть названо состояніемъ души, при извѣстныхъ движеніяхъ представленій (въ обширномъ смыслѣ этого слова), при измѣненіи ихъ взаимныхъ отношеній.

Въ основаніи третьяго разряда душевныхъ явленій, воли, лежитъ желаніе, но между волею и желаніемъ есть разница. Я могу желать совершенно независимаго отъ моей воли, совершенно несбыточнаго по моему собственному мнѣнію, напр., чтобы подулъ такой вѣтеръ, при которомъ я найду затишье, чтобы взошла такая-то звѣзда, чтобы судьба дала мнѣ богатство, и отъ этой несбыточности нисколько не уменьшается сила желанія. Желаніе нерѣдко идетъ даже на перекоръ воли, напр. можно думать про себя «чтобы онъ пропалъ», но при встрѣчѣ не только не пустить ему камня въ голову, что вполне-бы зависѣло отъ воли, но снять шапку и раскланяться. То—чего я хочу—непремѣнно должно мнѣ казаться возможнымъ (при чемъ, конечно, возможно съ моей стороны заблужденіе); оно должно вызывать въ сознаніи извѣстныя представленія, съ которыми ассоціировалось прежде, и которыя необходимо должны осуществиться при моемъ содѣйствіи прежде, чѣмъ достигну того, чего хочу. Такимъ-образомъ воля происходитъ тогда, когда, желая, мы видимъ вмѣстѣ возможность посредственно или непосредственно произвести желаемое; она есть, какъ и желаніе, результатъ извѣстнаго отношенія представленій ¹⁾.

Такова въ общихъ чертахъ господствующая теперь Гербартова теорія представленій, какъ силъ, вся основанная на стремленіи постигнуть законность душевной жизни. Она первая поставила психологію на степень науки, освободивши ее и

¹⁾ Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft v. Th. Waitz. Braunschweig 1849.

отъ грубаго, непригоднаго и въ практическомъ отношеніи эмпиризма и отъ нѣкоторыхъ ошибочныхъ предположеній. Признавая въ ней многое неопровержимымъ, и не оспаривая самой мысли о душевномъ механизмѣ, можно и должно однако спросить, все-ли можетъ объяснить этотъ механизмъ и нѣтъ-ли въ параллелограммѣ душевныхъ силъ такой, величина которой для насъ неопредѣлена и неопредѣлима? На этотъ вопросъ Лоце ¹⁾ отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ: «Безъ сомнѣнія наша наука не станетъ выше средствъ нашего познанія, и должна будетъ признать за рядъ данныхъ фактовъ то, чего не сможетъ вывести изъ одного основанія. Усилия во что-бы ни стало свести все къ одному—вводятъ только въ искушеніе безсознательно устранить кое-что изъ даннаго содержанія фактовъ, чтобы легче объяснить остальное. Мы признаемъ законнымъ всякое требованіе видѣть во всѣхъ проявленіяхъ одного и того-же существа лишь различныя слѣдствія его собственной природы, но не въ состояніи удовлетворить этому требованію въ наукѣ. По немногимъ мѣстамъ, какія комета въ разныя времена занимала на небѣ, мы заключаемъ о дальнѣйшемъ ея пути; прошедши черезъ извѣстныя точки, она, по законамъ небесныхъ движеній, необходимо должна пройти и черезъ другія, принадлежащія вмѣстѣ съ первыми къ одной закономъ опредѣленной кривой. Такую-же послѣдовательность мы предполагаемъ въ душѣ. Если природа ея такимъ, а не другимъ образомъ проявилась при извѣстномъ возбужденіи (Reiz), то и слѣдующее ея проявленіе, какимъ она отвѣтитъ на другое возбужденіе, уже не предоставлено ей произволу. Одинъ шагъ опредѣляетъ всѣ слѣдующіе, и какъ-бы ни были разнообразны внѣшнія возбужденія, отношенія души къ нимъ обусловлены тѣмъ, какъ она относилась къ первому изъ этихъ возбужденій. Различныя воздѣйствія души на внѣшнія возбужденія не лишены взаимной связи, а слагаются въ цѣльное выраженіе послѣдовательной много-

¹⁾ *Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Antropologie v. Herm. Lotze. Leipzig. 1856—7.*

сторонности души. Но какъ астрономія по одной точкѣ въ пути кометы не можетъ судить о ея быстротѣ и направленіи, такъ и мы въ одномъ способѣ проявленія души не найдемъ средствъ предсказать то, какъ она выскажется при другихъ условіяхъ. Тѣмъ-не-менѣе, въ небесномъ тѣлѣ въ каждую минуту вполнѣ есть движеніе, опредѣляющее его дальнѣйшій путь; точно такъ и въ каждомъ отдѣльномъ проявленіи души можетъ уже заключаться внутренняя необходимость такихъ, а не другихъ слѣдующихъ проявленій. Связь всѣхъ точекъ въ пути кометы заключается въ законахъ притяженія и инерціи; закона, который-бы представилъ намъ всѣ различныя дѣятельности души, не смотря на ихъ формальное различіе, звеньями одной и той-же цѣпи развитія, слѣдовало-бы искать гораздо глубже. Этотъ законъ предполагаетъ знаніе, почему существо, видящее свѣтъ и цвѣта, когда возбуждено волнами ээира, необходимо должно слышать звуки, если колебанія воздуха дѣйствуютъ на его слухъ, или почему его природа, при однихъ впечатлѣніяхъ (Eindrücke) производящая наглядныя, но безразличныя воспріятія (Wahrnehmungen), подъ вліяніемъ другихъ—испытываетъ удовольствіе и неудовольствіе. Врядъ-ли нужно говорить, что такая задача никогда не была рѣшена, и что не видно никакой возможности ея рѣшенія. Всякая психологія будетъ убѣждена, что такая непрерывная послѣдовательность есть въ природѣ души, но ни одна не съумѣетъ выразить ея закона. Требованіе такого единства души можетъ всегда быть путеводною нитью нашихъ изслѣдованій, но при самомъ исполненіи ихъ мы принуждены довольствоваться, признаніемъ различныхъ проявленій души за данные факты ¹⁾).

Было-бы ошибочно принимать полную независимость разума, чувства и воли. «Наблюденіе слишкомъ явственно показываетъ, что съ теченіемъ представленій связано чувство, что изъ удовольствія и неудовольствія развивается стремленіе достигнуть желаемого и устранить нежелаемое.

¹⁾ Lotze Mikr. I 189—191.

Но такая очевидная зависимость не рѣшаетъ того, представляетъ-ли предшествующее событіе полную удовлетворительную причину, своею собственною силою производящую послѣдующее, или-же предшествующее есть только обстоятельство, служащее поводомъ послѣдующаго, и дѣйствуетъ вмѣстѣ съ другою силою, ускользающею отъ нашего наблюденія. Точный разборъ фактовъ устранить это сомнѣніе. Если намъ удастся въ данномъ найти рѣшительно всѣ зародыши и стихіи будущаго, и вмѣстѣ,—ихъ движеніе, изъ котораго само собою должно образоваться будущее, то мы будемъ имѣть основаніе считать предшествующее достаточною причиною послѣдующаго. Если-же въ результатѣ окажется излишекъ, необъяснимый предшествующими обстоятельствами, то мы принуждены будемъ заключить, что въ нихъ не было полного основанія послѣдующаго явленія, что къ нимъ слѣдуетъ прибавить еще одно, незамѣченное нами условіе.

«Сравненіе упомянутыхъ душевныхъ явленій принуждаетъ насъ, какъ кажется, принять послѣднее. Если будемъ разсматривать душу, какъ существо познающее (*vorstellendes Wesen*), то ни въ одномъ изъ состояній, въ какія она можетъ быть приведена совершеніемъ этой дѣятельности, мы не откроемъ достаточнаго основанія, которое принудило бы душу, оставивъ такой способъ своего проявленія, развить въ себѣ чувства удовольствія и неудовольствія. Конечно, можетъ казаться, что ничего не можетъ быть естественнѣе того, что непримиренныя противоположности представленій, борьбою своею причиняющихъ насиліе душѣ, производятъ въ ней чувство неудовольствія, изъ котораго должно возникнуть стремленіе къ исцѣленію. Но это такъ кажется только намъ, существамъ болѣе чѣмъ познающимъ; эта послѣдовательность не сама собою разумѣется, и выводится изъ внутренняго опыта, давно пріучившаго насъ къ ея неизбѣжности и заставившаго насъ упустить изъ виду, что на дѣлѣ есть перерывъ между предшествующимъ и послѣдующимъ членомъ ряда, перерывъ, который можемъ заполнить, только принявши новое, еще незамѣченное нами условіе. Независимо

отъ опыта, познающая душа не нашла-бы въ себѣ причины иначе воспринимать свои внутреннія измѣненія, даже угрожающія ея бытію, чѣмъ съ тою-же равнодушною точностью наблюденія, съ какою она смотритъ на борьбу постороннихъ силъ. Еслибы, при такомъ холодномъ воспріятіи, изъ другихъ источниковъ возникло чувство, то душа только чувствующая, даже при самомъ жестокомъ страданіи, не нашла-бы въ себѣ ни причины, ни способности перейти къ стремленію измѣнить свое состояніе; она-бы страдала, не возбуждая себя къ волѣ. Такъ какъ въ дѣйствительности—не то, то въ душѣ должна съ самаго начала заключаться способность чувствовать удовольствіе и неудовольствіе, и теченіе представленій, воздѣйствуя на природу души, должно не создавать изъ себя, а только возбуждать проявленіе этой способности; далѣе, чувства, какія-бы они ни были, становятся только мотивами (Beweggründe) способности воли, которую они уже застаютъ въ душѣ, которой дать, еслибы ея не было, они-бы не могли. Это убѣжденіе никакъ не могло-бы быть замѣнено уступкою, которую намъ могутъ дѣлать: что, конечно, извѣстное отношеніе представленій само по себѣ еще не есть вытекающее изъ него чувство удовольствія и неудовольствія, или воля, но что чувство и стремленіе—не что иное, какъ формы, въ какихъ эти отношенія воспринимаются сознаниемъ. Мы должны-бы были прибавить, что именно эти формы воспріятія вовсе не второстепенныя прибавленія (Beiwerk), о коихъ можно-бы было упомянуть только по поводу расположенія представленій, составляющаго сущность дѣла; существенное здѣсь именно въ томъ, какъ эти представленія являются душѣ (das wesentliche liegt hier vielmehr in der Art des Erscheinens). Чувства и стремленія, именно какъ чувства и стремленія, имѣютъ цѣну для душевной жизни, значеніе коей не въ томъ, что бываютъ разныя сочетанія представленій, которыя между прочимъ доходятъ до сознанія въ формахъ чувства и воли, а въ томъ, что природа души въ состояніи испытывать отъ чего-бы ни было чувства и стремленія» ¹⁾.

¹⁾ Lotze Mikr. 194—196.

Принимаемая такимъ-образомъ три способности «не отдѣльными корнями вырастаютъ изъ почвы души», но представляются тремя степенями ея дѣятельности, такъ-что воля возбуждается чувствомъ, а чувство—представлениями. Что до затрудненія, представляемаго бытіемъ способностей въ возможности (*in potentia*), то оно, и по мнѣнію Дробиша, одного изъ представителей школы Гербарта, не существуетъ и для Лоце, потому-что способности—это «не зародыши, лежащіе въ душѣ въ ожиданіи развитія и развиваемые возбужденіями (*Reiz*), не сжатая пружины, которыя распрямляются отъ внѣшнихъ вліяній, а только роды отношеній души (*Verhaltensweisen*) ко внѣшнимъ вліяніямъ, возникающіе въ ней не раньше и не позже самихъ вліяній; а ихъ возможность есть только отвлеченное понятіе въ мысли человека, разсуждающаго объ условіяхъ ихъ дѣйствительнаго существованія, потому-что эти условія заключаются не въ одной сущности души, но вмѣстѣ и въ свойствѣ внѣшнихъ возбужденій ¹⁾, въ отношеніяхъ души и этимъ послѣднимъ. «Душа, говоритъ Лоце, не по частямъ проявляется въ этихъ способностяхъ, не такъ-что однѣ изъ ея частей пробудились, а другія еще сняты, напротивъ, въ каждой формѣ своей дѣятельности дѣйствуетъ вся душа; уже въ представленіи она приводитъ въ дѣйствіе не одну свою сторону, а всей своей цѣлости даетъ одностороннее выраженіе, потому-что на извѣстное возбужденіе она можетъ отвѣчать не всею, а только извѣстною возможностью своего проявленія. Сравнивши *четыре* съ *пятью*, увидимъ, что первое единицею меньше втораго; но безъ особаго требованія само это число не прибавить, что оно вдвое больше двухъ и вдвое меньше восьми и нужны новыя сравненія, чтобъ привести себѣ на память и эти отношенія. Однако въ каждомъ изъ этихъ отношеній выражается вся природа *четырёхъ*, но только одностороннимъ образомъ, соотвѣтственно нашей точкѣ зрѣнія. Или,

¹⁾ Zeitschrift für Philosophie v. Ulrici u. Wirth. XXXIV, II. Ueber Lotzes psychologischen Standpunct.

возвращаясь къ прежнему сравненію, по одной точкѣ никто не можетъ судить о направленіи и быстротѣ движущагоси тѣла, а между-тѣмъ въ каждое мгновеніе въ немъ вполне дѣйствуетъ сила, опредѣляющая его дальнѣйшій путь. Такъ въ дѣятельности представленія для насъ высказалась не вся природа души и не видно, что въ слѣдующее за тѣмъ мгновеніе представленіе можетъ перейти въ чувство и волю; однако въ этой частицѣ пути развитія души дѣйствуетъ вся ея природа. Божественный разумъ могъ-бы по одной недѣлимой точкѣ судить о направленіи небеснаго тѣла, невуждаясь для этого въ протяженной части его пути, точно такъ, какъ и въ одномъ проявленіи души ему-бы предстояла вся ея природа и необходимость при другихъ условіяхъ перейти къ другимъ формамъ дѣйствія; человѣческому-же разуму остается только исподоволь исчерпывать эту глубину знанія и при этомъ помнить, что въ основаніи принимаемой нами множественности способностей лежитъ единая сущность души. Впрочемъ, мы не имѣемъ основанія считать признаніе различія способностей только слѣдствіемъ слабости нашего ума; въ нѣкоторомъ смыслѣ, это—самая сущность дѣла. Быть можетъ, даже божественный разумъ не нашель-бы въ одномъ актѣ представленія, почему за нимъ должно слѣдовать чувство; онъ-бы только во всемъ разумномъ смыслѣ душевной жизни ясенѣ насъ увидѣлъ причину, повелѣвающую этимъ явленіямъ быть вмѣстѣ и слѣдовать другъ за другомъ, причину, подобную идеѣ, одушевляющей стихотвореніе, крѣпко и необходимо связующей разнообразныя его части, изъ коихъ ни одна сама не развила-бъ изъ себя другой».

Всякая психологическая теорія необходимо признаетъ нѣсколько такихъ способовъ проявленія души, которыхъ нельзя свести въ одинъ. Однако ученіе, которому психологія обязана столь многимъ, признаетъ множественность только въ непосредственныхъ воздѣйствіяхъ души на возбужденіе извнѣ, т. е. только въ чувственныхъ воспріятіяхъ. И оно полагаетъ, что нельзя вывести другъ изъ друга этихъ первѣйшихъ проявленій души, и не берется сказать, почему

существо, видящее свѣтъ, воспринимаетъ другія впечатлѣнія въ видѣ звуковъ. Напротивъ, всѣ высшія дѣятельности (по этому ученію) будто-бы вполне вытекаютъ изъ этихъ первичныхъ состояній; душа, разъ создавши этотъ первичный матеріалъ, какъ будто оставляетъ свою творческую дѣятельность, предоставляетъ свои произведенія законамъ ихъ взаимодействія. Такимъ-образомъ душа въ своей дальнейшей жизни оказывается только сценою, которая хотя и сопровождаетъ сознаниемъ то, что на ней происходитъ, но не обнаруживаетъ на это никакого другаго вліянія. Противъ этого именно направлены наши замѣчанія. Творчество души обнаруживается не одинъ только разъ при созданіи простыхъ ощущеній; напротивъ, хотя ощущенія и подчиняются въ своихъ взаимодействіяхъ извѣстнымъ механическимъ законамъ, но эти законы не исчерпываютъ и не объясняютъ высшихъ явленій духовной жизни. Механическое теченіе воспріятій служитъ только поводомъ, только вызываетъ новыя формы дѣятельности души, которыя никакъ-бы не вышли изъ самаго этого механизма. Душа точно такъ относится къ каждому изъ своихъ внутреннихъ состояній, какъ относилась ко внѣшнимъ возбужденіямъ: на каждое свое состояніе она можетъ отвѣтить такого рода дѣятельностью, какой мы не въ состояніи вывести изъ предшествующихъ обстоятельствъ, которая дѣйствительно заключена не въ однихъ только этихъ обстоятельствахъ» ¹⁾...

Намъ остается только сказать нѣсколько словъ объ отношеніи изложенныхъ здѣсь мыслей къ нашему предмету. Нетолько чувство и воля не могутъ быть выведены вполне изъ отношеній между представленіями, но и въ болѣе тѣсномъ кругу явленій умственной жизни представлять послѣдующее и высшее прямымъ слѣдствіемъ немногихъ извѣстныхъ намъ предшествующихъ обстоятельствъ, значитъ невольно оболъщать себя и другихъ. Говоря о переходѣ образа предмета въ понятіе о предметѣ, въ болѣе исключительно-

¹⁾ Мікр. I. 196—199.

человѣческую форму мысли, мы увидимъ, что этотъ переходъ можетъ совершиться только посредствомъ слова, но при этомъ будемъ помнить, что само слово никакъ не создастъ понятія изъ образа, что понятіе, какъ и многое другое въ личной и народной жизни, навсегда останется для насъ величиною, произведенною, такъ сказать, умноженіемъ извѣстныхъ намъ условій на неизвѣстныя намъ и, вѣроятно неизслѣдимыя силы. Здѣсь нѣтъ призыва къ смиренному бездѣйствію, основанному на томъ, что умъ нашъ слабъ, а пучина премудрости Божіей бездонна, и есть только законное сомнѣніе въ близости конечной цѣли мысли, т. е. знанія связи явленій. Кажется, лучше, при равенствѣ знаній, находить, подобно Лопе, темныя стороны въ предметѣ, чѣмъ считать этотъ предметъ почти или совершенно яснымъ.

Слово, предполагаемое извѣстными степенями развитія мысли, въ свою очередь, предполагаетъ чувственныя воспріятія и звукъ, а потому мы начнемъ съ этихъ послѣднихъ условій.

V. Чувственныя воспріятія.

Мы не можемъ представить себѣ безусловнаго отсутствія въ насъ душевной дѣятельности, точно такъ, какъ глазъ нашъ не можетъ видѣть совершенной тьмы. Дни и часы, которые мы называемъ потерянными для жизни, все-же дни и часы, все-же время, а представленіе времени для насъ неразлучно съ представленіемъ ряда событій въ душѣ. Если мы постараемся удалить занимающія насъ обыкновенно мысли и чувства, и прекратимъ доступъ впечатлѣніямъ зрѣнія, слуха, обонянія и, на сколько это возможно, вкуса и осязанія, то все-же намъ останутся впечатлѣнія, неотдѣлимыя отъ жизни нашего организма: извѣстная степень напряженности и ослабленія мускуловъ и органической теплоты, сопровождающихъ процессъ пищеваренія, степень давленія воздуха на все наше тѣло и вообще измѣненія, которыя мы обнимаемъ общими словами: болѣзнь

и здоровье. Обыкновенно эти впечатлѣнія не замѣчаются взрослымъ человѣкомъ и какъ-бы подавлены другими, болѣе явственными, хотя иногда сами вытѣсняють всѣ остальные и на нѣкоторое время вполнѣ овладѣвають нашимъ вниманіемъ. Это послѣднее бываетъ или тогда, когда, вслѣдствіе извѣстныхъ соображеній мы ждемъ опасныхъ для себя измѣненій въ организмѣ, что нерѣдко случается съ мнительными людьми, или — когда эти впечатлѣнія достигаютъ значительной степени силы, напр. когда чувствуемъ голодь, жажду, усталость, всякую боль или, напротивъ, удовольствіе отъ извѣстнаго состоянія организма, отъ удовлетворенія физическимъ потребностямъ. Совокупность такихъ ощущеній называютъ *общимъ чувствомъ*. Можетъ показаться страннымъ, что къ одной и той-же группѣ явленій причисляются повидимому столь далекія другъ отъ друга ощущенія, какъ боль и усталость (которой мы не назовемъ болью), но дѣло въ томъ, что всѣ они указываютъ на состояніе нашего организма, а не на свойства внѣшнихъ тѣлъ, какъ остальные чувства, и что во всѣхъ ихъ преобладающе въ глазахъ наблюдателя чертою является связанное съ ними удовольствіе и неудовольствіе.

Соотвѣтственно свойствамъ данныхъ, доставляемыхъ общимъ чувствомъ, оно не имѣетъ особаго органа; органъ его — все пространство тѣла снаружи и внутри, откуда только идутъ чувствительные нервы къ головному и спинному мозгу. Осязаніе сходно въ этомъ съ общимъ чувствомъ, но органы его — не все тѣло, а только его поверхность, особенно тѣ мѣста, гдѣ какъ въ концахъ пальцевъ и въ губахъ, наибольше нервовъ осязанія. Впечатлѣнія общаго чувства постоянно сопровождаютъ всѣ болѣе сложныя дѣйствія души и не только служатъ имъ фономъ, но и даютъ имъ извѣстное направленіе. Извѣстно напр., что когда намъ отъ физиологическихъ причинъ не по себѣ, мы думаемъ и

¹⁾ Ср. Lotze, Mikr. II 168 слѣд. Steintal. Gr. L. и Ps. 235. 246. 282 и слѣд.

чувствуемъ иначе, чѣмъ когда мы совершенно здоровы. Легко однако замѣтить, что, при нормальномъ состояніи нашего организма, эти впечатлѣнія не доходятъ до сознанія, что даже боль, голодъ, усталость вовсе не замѣчаются, или забываются, если мы чѣмъ нибудь заняты. Все то, что заставляетъ насъ забыть о состояніи нашего тѣла есть явленіе сложное и сравнительно позднѣйшее; даже чувственный образъ поверхности предмета, обнимаемой нами, по видимому однимъ взглядомъ, предполагаетъ мелкія, недѣлимые воспріятія, еще несложившіяся въ образъ предмета съ двумя измѣреніями. Если устранимъ все приобретаемое нами впоследствии, то окажется, что при самомъ началѣ развитія въ душѣ есть съ одной стороны впечатлѣнія общаго чувства, которыя назовемъ субъективными въ томъ смыслѣ, что даютъ знать душѣ только о состояніи нашего тѣла, съ другой—впечатлѣнія объективныхъ чувствъ. Эти послѣднія впоследствии проицируются, то есть соединяются въ извѣстныя группы и въ такомъ видѣ принимаются душою за внѣшніе для нея предметы; но тогда еще разъединены, а потому имѣютъ еще только субъективное значеніе и стоятъ еще на степени общаго чувства, потому-что представляются только измѣненіями организма. Устранивши физиологическій вопросъ объ томъ, такова-ли дѣятельность зрительныхъ, слуховыхъ и другихъ чувственныхъ нервовъ въ ребенкѣ, только-что начинающемъ жить, какъ и во взросломъ, мы должны съ психологической точки зрѣнія принять, что если и всегда, какъ нужно полагать, глазъ видитъ не что иное какъ свѣтъ, ухо слышетъ только звукъ, то эти впечатлѣнія вначалѣ имѣютъ для души совсѣмъ иное значеніе, чѣмъ впоследствии, не могутъ возбуждать такого интереса, какой имѣютъ для насъ тѣ-же впечатлѣнія, сложившіяся въ образы внѣшнихъ предметовъ.

Субъективныя впечатлѣнія общаго чувства и совершенно несходныя съ нимъ по своей послѣдующей судьбѣ впечатлѣнія объективныхъ чувствъ могутъ даваться вмѣстѣ въ различныхъ сочетаніяхъ и, безъ сомнѣнія, смѣняются другъ другомъ въ

душѣ (напр. звукъ—свѣтомъ, холодъ—тепломъ); но вызываемое этою смѣною состояніе души не будетъ походить на чувства, испытываемыя нами при смѣнѣ уже организованныхъ воспріятій. Это состояніе представляютъ особымъ душевнымъ явленіемъ и называютъ тоже общимъ чувствомъ.

Итакъ однимъ названіемъ обозначаются два явленія: а) воспріятіе впечатлѣній отъ состоянія тѣла и б) состояніе души при хаотическомъ смѣшеніи этихъ впечатлѣній съ впечатлѣніями другихъ чувствъ, еще несложившимися въ образъ внѣшняго предмета. Общее чувство, принятое въ первомъ смыслѣ, имѣетъ хотя невыразимое, но опредѣленное содержаніе, сообщаетъ душѣ такія данныя, какихъ она не можетъ получить ни отъ какого другаго чувства и только сопровождается удовольствіемъ и неудовольствіемъ, а не исчерпывается ими; во второмъ смыслѣ—оно лишено опредѣленнаго содержанія, есть только извѣстная форма отношенія души къ неопредѣленнымъ членамъ, и вполне заключается въ категоріяхъ удовольствія и неудовольствія. Въ первомъ смыслѣ общее чувство однородно съ зрѣніемъ, слухомъ, обоняніемъ, во второмъ со скукою, ожиданіемъ и т. п. И въ томъ и другомъ значеніи общее чувство характеризуетъ первое время жизни. Субъективныя ощущенія состояній организма отодвигаются на задній планъ лишь по мѣрѣ того, какъ образуется для души различіе между внѣшнимъ и внутреннимъ, т. е. по мѣрѣ проекціи впечатлѣній объективныхъ чувствъ. Оставляя въ сторонѣ важный психологическій вопросъ объ томъ, что заставляеть насъ ставить внѣ себя свои личныя ощущенія, и какъ совершается этотъ процессъ выдѣленія міра изъ души, мы, на основаніи данныхъ, замѣчаемыхъ во взросломъ человѣкѣ, постараемся опредѣлить степень удаленія впечатлѣній пяти объективныхъ чувствъ отъ субъективнаго общаго и такимъ образомъ—найти общія свойства человеческой чувственности. Предварительно однако нужно обратить вниманіе на слѣдующее.

Вайцъ приписываетъ запутанность ученій о чувствѣ (Gefühl) частью сбивчивости терминологіи, частью тому, что

весьма трудно, при изслѣдованіи извѣстныхъ состояній духа (т. е. чувства въ собственномъ значеніи и воли), отдѣлить вліяніе организма отъ вліянія собственно душевныхъ явленій. «Нерѣдко, говоритъ онъ, смѣшиваютъ совершенно различныя понятія, напр. голода и благодарности, которыя одинаково называются чувствами, тогда какъ между ними нѣтъ ничего общаго: голодь есть только извѣстное нервное возбужденіе (Nervenreiz), впечатлѣніе, воспринимаемое душою и, по законамъ организма, инстинктивно производящее извѣстныя движенія, назначеніе коихъ — устранить это впечатлѣніе и возстановитъ безразличное состояніе организма; благодарность же сама-по-себѣ не вытекаетъ (непосредственно) изъ нервного раздраженія, не производитъ тѣлодвиженій и есть явленіе совершенно психическое. Такъ и всякаго рода боль есть явленіе фізіологическое въ нервахъ и не имѣетъ ничего общаго съ душевными страданіями. Душевные чувства относятся цѣликомъ къ психологіи, тогда какъ тѣлесными ощущеніями (Sinnliche Empfindungen) психологическая теорія занимается лишь на столько, на сколько они содѣйствуютъ образованію пространственныхъ представленій и вліяютъ на душевныя чувства, а впрочемъ предоставляетъ ихъ объясненіе фізіологіи» ¹⁾).

Дѣйствительно есть большая разница между фізіологическимъ и психологическимъ взглядомъ на чувства. Фізіологія изслѣдуетъ только заключенныя въ организмъ условія, безъ которыхъ было-бы невозможно образованіе въ душѣ извѣстныхъ ощущеній; психологія не спрашиваетъ объ этихъ условіяхъ, не доискивается, какія измѣненія происходятъ въ тѣлѣ, когда мы чувствуемъ голодь, усталость или свѣтъ и звукъ, и принимаетъ ощущенія за готовые данныя душевной жизни. «Ощущеніе въ сознаніи, говоритъ Лоце, вовсе не сопровождается воспоминаніемъ о свойствѣ внѣшнихъ движеній, возбудившихъ дѣятельность органа: колебаніе воздуха (а вмѣстѣ и измѣненія въ слуховомъ нервѣ) въ

¹⁾ Waitz, Lehrb. d. Ps. 286—7.

душѣ замѣняется звукомъ, дрожаніе ээира—цвѣтомъ; и звукъ, и цвѣтъ, конечно, слѣдствія, но не изображенія своихъ внѣшнихъ причинъ. Поэтому напрасно было-бы при изслѣдованіи вліянія этихъ ощущеній на дальнѣйшую внутреннюю жизнь обращаться къ свойствамъ ихъ внѣшнихъ причинъ. Какъ въ звукѣ мы слышимъ самый звукъ, а не количество звуковыхъ волнъ, такъ музыка не гармоничнѣе для того, кто знаетъ, какъ образуются звуки и ихъ сочетанія, чѣмъ для другаго, который, не зная этого, просто поддается ея вліянію» ¹⁾. Не трудно, стало быть, остаться на психологической точкѣ зрѣнія, говоря о чувственныхъ впечатлѣніяхъ. Что-же касается до опасности смѣшать эти послѣднія съ чисто-психологическими чувствами, то мы ей не подвергнемся, хотя, какъ кажется, нѣсколько отступимъ отъ теоріи, которой слѣдуетъ Вайцъ. Съ точки Гербарта нельзя видѣть въ голодѣ душевнаго чувства, потому-что такое чувство считается явленіемъ вторичнымъ и производнымъ; но съ другой, на которую мы указали выше, возможно другое заключеніе. Въ данныхъ общаго чувства, а равно и осязанія, вкуса и прочихъ, замѣтны двѣ стороны: 1) впечатлѣнія отъ свойствъ, приписываемыхъ нами внѣшнимъ предметамъ и собственному тѣлу и 2) оцѣнка значенія этихъ впечатлѣній для нашего индивидуальнаго бытія, испытываемое по ихъ поводу чувство удовольствія и неудовольствія. При такомъ различеніи чувство голода хотя не можетъ быть названо чувствомъ въ томъ смыслѣ, какъ благодарность, но заключаетъ въ себѣ стихіи однородныя съ этою послѣднею, которыя мы будемъ называть чувствомъ и которыя не могутъ быть выведены изъ взаимодѣйствія представленій, потому-что являются уже по поводу простѣйшихъ чувственныхъ впечатлѣній.

Различіе чувственныхъ впечатлѣній разныхъ органовъ заключается столько-же въ свойствѣ, сопровождающемъ ихъ чувства, сколько и свойствахъ объективнаго содержанія—то и другое тождественны по связи.

¹⁾ Mikr. II. 169.

Напряженность чувства находится въ обратномъ отношеніи къ раздѣльности содержанія впечатлѣній. Впечатлѣнія общаго чувства бѣдны содержаніемъ и такъ не ясны, что ни отдать себѣ въ нихъ отчета, ни передать ихъ другому нѣтъ никакой возможности; но сила чувства—неудовольствія можетъ быть такъ велика, что почти совершенно подавляетъ содержаніе впечатлѣнія. Это легко замѣтить при сравненіи общаго чувства съ другими: приближая руку къ огню, получаемъ впечатлѣніе теплоты, т. е. осязаніемъ познаемъ извѣстное качество предмета; вложивши ее въ огонь, мы чувствуемъ боль, а свойство производящаго ее предмета для насъ потеряно, такъ что еслибъ мы не прибѣгли къ пособію другихъ чувствъ, то и не знали-бы, происходитъ-ли эта боль отъ пламени, отъ холоду, или-же отъ дѣйствія какихъ-нибудь ѣдкихъ кислотъ. Подобнымъ образомъ боль въ языкѣ отъ чего-нибудь жгучаго уже перестаетъ быть вкусомъ.

Гораздо явственнѣе и разнообразнѣе сравнительно съ общимъ чувствомъ впечатлѣнія вкуса и обонянія, и сопровождающее ихъ чувство не такъ сильно. Извѣстный вкусъ или запахъ могутъ быть противны до рвоты, до обморока, но даже и въ такомъ случаѣ они—не боль, и различаются между-собою не только по степени силы, но и по качеству, такъ что мы не смѣшиваемъ напр. двухъ родовъ горечи, одинаково для насъ непріятныхъ, и замѣчаемъ ихъ тонкіе отбѣнки.

Осязаніе можетъ возбудить сильную степень удовольствія и отвращенія, но сопровождающее его чувство можетъ быть почти совсѣмъ незамѣтно при полной опредѣленности содержанія впечатлѣній, тогда какъ вкусъ, запахъ непремѣнно или пріятны или непріятны, а безразличіе считается ихъ полнымъ отсутствіемъ. Относительно раздѣльности содержанія довольно сказать, что осязаніе вмѣстѣ со зрѣніемъ имѣетъ предъ другими чувствами то преимущество, что одновременныя потрясенія нервовъ не смѣшиваются въ немъ въ одно, какъ напр. смѣшиваются впечатлѣнія обонянія, а совмѣстно передаются душѣ. На этомъ основано значеніе осязанія для образованія представленія пространства.

Чистый, но не оглушительный звукъ самъ-по-себѣ намъ болѣе или менѣе пріятенъ, и только извѣстныя соединенія звуковъ непріятно поражаютъ слухъ. При этомъ неудовольствіе никогда не достигаетъ до степени отвращенія, какъ въ трехъ низшихъ чувствахъ.

Цвѣта, какъ-бы ни безобразно было ихъ соединеніе, не возбуждаютъ даже и той степени неудовольствія, какую вызываютъ диссонансы, о которыхъ мы говоримъ, что они «уши дерутъ» или «терзаютъ слухъ». Во всѣхъ впечатлѣніяхъ зрѣнія, кромѣ ослѣпительнаго блеска, который скорѣе относится къ общему чувству, мы не видимъ ничего нарушающаго правильное теченіе жизни нашего организма. Болѣзненное дѣйствіе извѣстныхъ цвѣтовъ можетъ быть слѣдствіемъ довольно рѣдкихъ идиосинкразій, знаменательныхъ для физиологии и психологии, но не уничтожающихъ общаго правила. Этому безстрастію, съ какимъ мы воспринимаемъ впечатлѣнія зрѣнія и слуха, соотвѣтствуетъ безконечное разнообразіе доступныхъ намъ оттѣнковъ звука и цвѣта, которыхъ ни по числу ни по опредѣленности и сравнивать нельзя ни съ какими другими воспріятіями.

По мѣрѣ того, какъ съ увеличеніемъ раздѣльности впечатлѣній, по направленію отъ общаго чувства къ зрѣнію, уменьшается сила сопровождающей ихъ физической боли или наслажденія ¹⁾, все яснѣе и яснѣе выступаетъ другаго рода оцѣнка впечатлѣній, именно—чувство ихъ собственной красоты, независимой отъ согласія или несогласія съ требованіями нашего организма. Такой объективной оцѣнки незамѣтно въ общемъ чувствѣ, но она есть уже въ другихъ низшихъ. Такъ напр. мы уже не ограничиваемся животнымъ удовольствіемъ, какое доставляетъ вкусная пища, а безсознательно переносимъ въ нее это удовольствіе, въ ней самой

¹⁾ Вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшается важность чувствъ для организма. Потеря зрѣнія, слуха можетъ-быть мѣстнымъ зломъ и совмѣстима съ здоровьемъ; гораздо опаснѣе потеря обонянія и вкуса, а съ прекращеніемъ общаго чувства кончается жизнь.

находимъ достоинства, которыя могутъ намъ открыться только путемъ вкуса. Сладость предмета представляется намъ его собственною заслугою, его дружелюбнымъ расположеніемъ къ намъ, горечь, острота—злостью. Чтобы убѣдиться, что это не фраза, довольно вспомнить, что напр. и въ нашемъ и въ другихъ языкахъ представленіемъ сладости обозначаются вполне объективныя качества предметовъ, напр. въ галицко-русскомъ нарѣчій *солодкий* значитъ милый. Въ высшихъ чувствахъ исчезаетъ почти всякій слѣдъ эгоистической оцѣнки. Мы убѣждены, что въ сочетаніяхъ звуковъ и красокъ наслаждаемся не нашимъ личнымъ чувствомъ, а тѣмъ, что звуки, краски расположены такъ, а не иначе, и потому сами-по-себѣ хороши.

Наклонность наслаждаться въ явленіяхъ ихъ собственнымъ достоинствомъ нераздѣльна со стремленіемъ искать въ нихъ внутренней законности. Само-собою, что и то и другое становится замѣтнымъ не въ то время, когда душа воспринимаетъ только отдѣльныя чувственныя качества, потому-что тогда эти воспріятія еще близки къ общему чувству, а тогда, когда становится возможнымъ сравненіе этихъ воспріятій, получившихъ уже объективное значеніе. Каждому изъ сравниваемыхъ чувственныхъ качествъ человѣкъ назначаетъ извѣстное мѣсто въ ряду другихъ однородныхъ, и весь рядъ представляетъ одною стройною системою. Природа самихъ воспріятій содѣйствуетъ этому въ различной мѣрѣ. Такъ звукъ разлагается для насъ на лѣстницу членовъ, коихъ разстояніе другъ-отъ-друга, сродство и противоположность, мы представляемъ вполне ихъ собственнымъ требованіемъ; цвѣта менѣе опредѣленнымъ образомъ повторяютъ ту-же законность отношеній, а впечатлѣнія другихъ чувствъ служатъ только слабымъ ея отголоскомъ. Свойство звуковъ слагаться въ законченныя и легко уловимыя въ цѣломъ сочетанія, раньше становится понятно человѣку, чѣмъ подобныя-же свойства другихъ чувственныхъ впечатлѣній; искусство легче овладѣваетъ звуками, чѣмъ напр. вкусами—и музыка всегда будетъ совершеннѣе повареннаго искусства, потому-что легче построить гамму звуковъ, чѣмъ вкусовъ.

Какъ отдѣльныя содержанія воспріятій, такъ система-тезируетъ человѣкъ и ихъ общія формы — пространство и время. Человѣкъ, конечно, не имѣлъ-бы представленій пространства, если-бы зрѣніе и осязаніе не передавали ему разомъ двухъ или нѣсколькихъ впечатлѣній. Изъ свойства этихъ чувственныхъ данныхъ человѣкъ безсознательно выводитъ ихъ пространство, и въ этомъ вѣроятно не отличается отъ животныхъ; но эта форма становится для него закономъ самихъ чувственныхъ явленій. Такъ напр. востокъ — первоначально для насъ тамъ, гдѣ выходитъ солнце, — западъ тамъ, гдѣ оно заходитъ; но мы видоизмѣняемъ эти чувственные данные, такъ что упомянутыя точки горизонта не мѣняются для насъ по временамъ года вмѣстѣ съ положеніемъ солнца, а остаются неподвижными и служатъ закономъ дѣйствительныхъ явленій: востокъ не тамъ, гдѣ восходитъ солнце, а тамъ, гдѣ оно *должно* восходить. Подобнымъ образомъ мы-бы не въ состояніи были дѣлить время и сравнивать величину его частей, если-бы не встрѣчали въ природѣ періодическаго повторенія явленій; но полученные такимъ путемъ дѣленія исподволь теряютъ для насъ свою случайность, теченіе времени становится неизмѣнною мѣрою движенія, вовсе независимую отъ дѣйствительныхъ явленій; день и ночь, величины измѣнчивыя, превращаются въ неизмѣнную величину, — сутки и т. д. Каждое мгновеніе, заполненное извѣстнымъ явленіемъ, кажется намъ частью одного цѣлаго, которому ни начала, ни конца мы не знаемъ, но которое мы принимаемъ за цѣлое.

Такимъ-образомъ въ ряду различныхъ по органамъ чувственныхъ воспріятій взрослога человѣка, разсматриваемыхъ какъ одновременные члены системы, замѣчаемъ, что раздѣльность воспріятій и объективность ихъ оцѣнки возрастаетъ по направленію отъ общаго чувства къ такъ называемымъ высшимъ, т. е. къ зрѣнію и слуху. Подобное увеличеніе раздѣльности и объективности будетъ видно и въ жизни всякаго отдѣльнаго чувства, взятаго порознь. Во первыхъ: степень раздѣльности воспріятій одного и того-же чувства и

количество отношений, замѣчаемыхъ между ними, не есть ничто неподвижное, но возрастаетъ съ развитіемъ отдѣльныхъ лицъ. На каждомъ шагу встрѣтимъ случай къ подтверждающимъ это наблюденіямъ. Тонкость слуха, свойственная музыканту, тонкость осязанія, замѣчаемая въ слѣпорожденныхъ и шулерахъ, разборчивость вкуса гастрономовъ, въ большинствѣ случаевъ зависятъ не отъ совершенства органовъ, не отъ того, что они съ самаго начала получаютъ другія внѣшнія впечатлѣнія, а отъ упражненія, отъ привычки. При равенствѣ условій, т. е. при тѣхъ-же возбужденіяхъ извнѣ и при отсутствіи измѣненій въ органахъ, раздѣльность воспріятія можетъ произвольно и путемъ произвольныхъ соображеній увеличиваться до неопредѣлимой степени. На этомъ основаніи предполагаемъ, что если ребенокъ получаетъ тѣ-же впечатлѣнія, что и взрослый, то рѣшительное большинство ихъ имѣетъ для него тоже значеніе, что для насъ ощущенія общаго чувства. Напр. если на первыхъ порахъ онъ произноситъ только легчайшія сочетанія губныхъ согласныхъ съ *a*, то всѣ остальные членораздѣльные звуки существуютъ для него лишь въ той мѣрѣ, въ какой для насъ мудреное слово чужаго языка, которое мы слышали, но повторить не можемъ, или сложный мотивъ, отъ котораго намъ остается только извѣстное чувство, а не воспоминаніе завершеннаго круга звуковъ. И впечатлѣнія зрѣнія вѣроятно представляются ребенку какъ болѣе или менѣе неопредѣленный свѣтъ, и только исподоволь слагаются въ опредѣленные очертанія.

Тожe по-видимому и въ жизни народовъ. Древніе языки, по-крайней-мѣрѣ индоевропейскіе, имѣютъ только три основныя гласныя (*a*, *i*, *y*), и уже относительно поздно вырабатываютъ тѣ неудовимые для непривычнаго слуха средніе звуки, какіе встрѣчаемъ во многихъ новыхъ языкахъ. Это зависитъ не отъ невозможности принудить органы произнести эти звуки, а отъ того, что они не замѣчались, хотя и могли случайно встрѣчаться въ говорѣ. Кажется также, что въ исторіи музыки можно-бы открыть увеличеніе любви къ сложнымъ модуляциямъ и сочетаніямъ звуковъ, подобно тому, какъ въ платѣ

люди, стоящіе на низкой степени цивилизації, предпочитаютъ яркіе цвѣта, образованные-же темные или блѣдные.

Во вторыхъ: въ связи съ раздѣльностью возрастаетъ объективная оцѣнка чувственныхъ впечатлѣній. Есть разница между грубымъ, хотя все-же не животнымъ утоленіемъ голода и жажды, и наслажденіями гастронома и знатока винъ: во второмъ случаѣ человекъ менѣе занятъ своимъ личнымъ чувствомъ, чѣмъ свойствами самыхъ потребляемыхъ предметовъ. Еще замѣтнѣе эта разница въ сложныхъ сочетаніяхъ чувственныхъ воспріятій. Древній и, какъ не совсѣмъ вѣрно говорятъ, близкій къ природѣ человекъ, смотрѣлъ на природу только своекорыстно, что видно изъ языка и поэзіи; какъ дѣтямъ, природа нравилась ему, на сколько была полезна; если-бы онъ обладалъ всѣми техническими средствами искусства, то все-же ландшафтная живопись была-бы для него невозможна. Важность этой послѣдней въ наше время свідѣтельствууетъ не только о большемъ знаніи природы, но и о большемъ умѣннн цѣнить ея самостоятельную красоту.

Въ заключеніе повторимъ сказанное нѣсколько выше, что движеніе въ развитіи чувствъ становится для насъ замѣтнымъ не тогда, когда, по предположенію, они еще близки къ общему чувству, а тогда, когда впечатлѣнія ихъ, сложившись въ образы предметовъ, послужили каждое по своему для созданія міра. Тѣмъ совершеннѣе наши чувственные воспріятія, чѣмъ прекраснѣе кажется намъ этотъ міръ и *чѣмъ болѣе мы отдѣляемъ его отъ себя*. Такое отдѣленіе не есть отчужденіе: оно только сознаніе различія, предполагаемое тѣмъ, что мы называемъ намѣреннымъ вліяніемъ человека на природу и свою собственную жизнь. Если мы такимъ образомъ вносимъ въ характеристику чувственности, съ которой начинается развитіе, наиболѣе сложныя явленія душевной жизни, именно отдѣленіе *я* отъ *не я* и связанная съ этимъ измѣненія въ оцѣнкѣ явленій; то это на основаніи предположенія, что уже самыя первыя воздѣйствія души на виѣшнія возбужденія должны быть сообразны со всѣми остальными ея проявленіями: чувства человека, въ первое время его жизни

характеризуются тѣмъ, на что они пригодны при дальнѣйшемъ развитіи. Отъ этого развитія, которое намъ извѣстно изъ наблюденій надъ собою, заключаемъ къ свойствамъ чувствъ, лишенныхъ развитія, о которыхъ судить иначе мы не можемъ, потому-что никакое наблюденіе надъ ребенкомъ не покажетъ, какъ именно представляется свѣтъ, звукъ и проч.

Такимъ-же путемъ приходимъ къ заключенію о чувственности животныхъ, душевная жизнь коихъ извѣстна намъ еще меньше жизни ребенка. Нельзя отказать животному въ способности проекціи воспріятій: оно угрожаетъ, защищается, ищетъ пищи, вообще внѣ себя находитъ причину своихъ ощущеній. Механизмъ сочетанія простѣйшихъ чувственныхъ воспріятій тотъ-же въ душѣ животнаго, что и въ душѣ человѣка. Животное, какъ и человѣкъ, одновременною несмѣшивающихся между собою впечатлѣній зрѣнія и осязанія принуждено ставить впечатлѣніе внѣ себя; и для него, какъ для человѣка, къ сочетаніямъ впечатлѣній этихъ двухъ чувствъ присоединяются впечатлѣнія всѣхъ остальныхъ, такъ, что если въ одно время съ видимымъ образомъ предмета воспринимается и извѣстный запахъ, то и впечатлѣніе запаха относится ко внѣшнему образу. Извѣстно также, что силою чувственныхъ впечатлѣній многія животныя значительно превосходятъ человѣка и замѣчаютъ предметъ въ такой дали и вообще при такихъ обстоятельствахъ, при какихъ намъ это было-бы невозможно. Но это не противорѣчитъ тому, что всѣ воспріятія животныхъ болѣе человѣческихъ приближаются къ характеру общаго чувства, становятся все важнѣе для поддержанія организма и бесплоднѣе для душевнаго развитія. Даже цвѣтъ и звукъ дѣйствуютъ на иныхъ животныхъ приблизительно такъ, какъ на насъ чувства боли и физическаго удовольствія. Красный цвѣтъ приводитъ въ ярость быка; индѣйскій пѣтухъ замѣтно раздражается свистомъ; съ одною изъ пѣвчихъ птицъ южной Азіи, которой, какъ говорятъ, довольно разъ услышать иное слово, чтобъ повторить его, дѣлаются судороги отъ громкихъ и нестройныхъ звуковъ.

Въ замѣнъ объективности вышихъ, общее чувство достигаетъ значительной опредѣленности, и на указанія его основываются вѣроятно многія изъ тѣхъ дѣйствій животныхъ, которыя намъ кажутся предвѣдѣниемъ будущаго, тогда какъ на самомъ дѣлѣ суть слѣдствія уже совершившихся, но незамѣтныхъ для насъ перемѣнъ въ ихъ организмѣ.

Можно думать, что для животнаго внѣшніе предметы существуютъ только—какъ причины его личныхъ состояній. Какъ гравюра передаетъ только свѣтъ и тѣнь, но не колоритъ картины, такъ въ чувственности животныхъ преобладаетъ эгоистическое чувство удовольствія и неудовольствія и исчезаетъ колоритъ, свойственный возбуждающимъ ихъ предметамъ. Одному человѣку свойственно безкорыстное стремленіе проникать въ особенности предметовъ, неутомимо искать отношеній между отдѣльными воспріятіями и дѣлать эти отношенія предметами новыхъ мыслей. Хотя нѣкоторыя пѣвчія птицы замѣчаютъ, удерживаютъ въ памяти и повторяютъ гармоническіе промежутки звуковъ (напр. переходъ отъ основнаго тона къ терціи и квинтѣ), но въ собственномъ ихъ пѣніи такіе промежутки встрѣчаются только случайно. Пѣвчей птицѣ недоступно то объективное и строгое дѣленіе звуковъ, на которомъ основана человѣческая музыка, хотя безъ сомнѣнія на нее совершенно иначе дѣйствуютъ высокіе, чѣмъ низкіе тоны. Тоже въ воспріятіяхъ другихъ чувственныхъ впечатлѣній и ихъ формъ, напр. числа. «Безсомнѣнія, три человѣка, которые сходятся и расходятся, представляются животному не одною массою, а тремя раздѣльными образами, которые на зрѣніе дѣйствуютъ иначе, чѣмъ два при такихъ-же обстоятельствахъ. Если замѣчать такія различія значитъ считать, то животныя считаютъ; но если считать значитъ вмѣстѣ сознавать, что 3 принадлежитъ къ безконечному ряду чиселъ, занимаетъ въ немъ опредѣленное мѣсто между двумя и четырьмя и можетъ быть получено изъ этихъ послѣднихъ, посредствомъ прибавленія или вычета единицы, то животныя считать не могутъ и только человѣкъ можетъ такъ ясно сознавать отношенія числа и мѣры» (Lotze).

Результаты развитія животныхъ такъ незначительны въ сравненіи съ тѣми, какихъ достигаетъ человѣкъ, что и чувственность ихъ должна стоять многимъ ниже нашей. Не зависимо отъ явственнаго для сравнительной анатоміи и физиологіи различія въ строеніи и дѣятельности органовъ чувствъ, на сторонѣ человѣка есть необъяснимое, повидимому, преимущество въ способности пользоваться возбужденіями, переданными посредствомъ органовъ, въ излишкѣ, такъ сказать, воздѣйствія души, въ отличающей человѣка склонности къ безкорыстному неутилитарному наслажденію. Въ этомъ совершенствѣ воспріятій, замѣтномъ уже въ ребенкѣ, должна заключаться одна изъ причинъ того, что человѣкъ есть единственное на землѣ говорящее существо ¹⁾).

VI. Рефлексивныя движенія и членораздѣльный звукъ.

«Въ чемъ-бы ни состояло то возбужденіе, въ какое нервы чувствъ приводятся внѣшними предметами, во всякомъ случаѣ оно есть физическое движеніе, которое, по закону инерціи, не можетъ прекратиться, пока не встрѣтитъ сопротивленія, или не раздробится, передавшись близлежащимъ частямъ организма. Если цѣль чувственныхъ органовъ—посредствовать при познаніи внѣшняго міра, то потрясеніямъ, которыя производятъ въ нихъ извѣстное впечатлѣніе въ данное мгновеніе, необходимо ослабляться такъ скоро, чтобы не противодѣйствовать впечатлѣніямъ слѣдующаго момента, или не исказить ихъ постороннею примѣсью. Пока физическое движеніе, возбуждающее чувства, незначительно по величинѣ, оно можетъ уничтожаться частью въ самомъ органѣ посредствомъ постоянно происходящей въ немъ перемѣны частицъ, частью употребляться на образованіе самаго ощущенія въ душѣ, потому-что ощущеніе, какъ новое состояніе души, субстанціи находящейся въ механическомъ взаимо-

¹⁾ О чувственныхъ воспріятіяхъ ср. Lotze, Mikr. II, 168 слѣд. Steinthal, Gram Log. и Ps. §§ 86, 89, 90.

дѣйствию со стихіями тѣла, образуется не только по поводу возбужденія нервовъ; на самое его образованіе истрачивается часть этого возбужденія. Такъ бываетъ при обыкновенныхъ впечатлѣніяхъ свѣта и звука; по-крайпей-мѣрѣ сознанію незамѣтно никакой особенной дѣятельности, уравнивающей ихъ вліянія. Когда-же внѣшнія впечатлѣнія достигаютъ болѣзненно-ощутительной силы, то слѣдуетъ ожидать соответственнаго увеличенія мѣрѣ къ ихъ устраненію. Назначеніе нервныхъ нитей—доводить до мозга возбужденія, полученныя наружными ихъ концами, а потому нельзя думать, что упомянутыя мѣры состоятъ въ мгновенномъ прекращеніи тока на серединѣ пути, или въ замѣтно усиленномъ раздѣленіи его силы во всѣ стороны. То и другое противорѣчило-бы естественнымъ отправленіямъ чувственныхъ нервовъ. Притомъ-же можно считать общимъ признакомъ организма то, что онъ устраняетъ опасныя для себя потрясенія не новыми средствами, а тѣми-же, которыя дѣйствуютъ при здоровомъ его состояніи. И такъ, мы примемъ, что пока чрезмѣрное потрясеніе не парализуетъ нерва и тѣмъ не устранить дальнѣйшихъ послѣдствій слишкомъ сильнаго впечатлѣнія, возбужденіе проводится нервомъ до центральныхъ органовъ, и уже тамъ умѣряется воздѣйствіями, большими тѣхъ, какія можно замѣтить при обыкновенной силѣ возбужденій». «Въ мозгу распространеніе возбужденія можетъ происходить по тремъ путямъ, потому-что чувственный нервъ встрѣчаетъ тамъ частью другіе чувственные, частью растительные, частью двигательные. Передача безпокойства нерва другимъ чувствамъ, слѣдовательно возбужденіе другаго ощущенія, можетъ быть только очень незначительна, если цѣль чувствъ—посредствовать при познаніи внѣшняго міра—должна быть достигнута. Притомъ-же такое явленіе не подтверждается опытомъ: самый сильный свѣтъ не возбуждаетъ ощущенія звука, ни звукъ—запахъ». Переходъ возбужденія на растительные нервы симпатической системы могъ-бы быть безвреденъ и дѣйствительно имѣетъ мѣсто въ нѣкоторыхъ случаяхъ. «Но главнымъ образомъ раздраженіе чувственныхъ нер-

вовъ передается двигательнымъ и возбуждаетъ движенія, посредствомъ коихъ душа дѣлаетъ воспринимаемые предметы объектами своихъ дѣйствій. Такая тѣсная связь нервовъ чувственныхъ съ двигательными и ощущенія съ движениемъ такъ необходима при нормальномъ теченіи жизни, что неудивительно, если и болѣзненные потрясенія главнымъ образомъ уравниваются тѣмъ-же путемъ, т. е. посредствомъ движеній».

Рефлексію, то-есть преломленіе силы, дѣйствующей извнѣ внутри организма, можно принять за первоначальный источникъ движенія въ организмѣ, и самое движеніе—за средство уравновѣшивать и дѣлать безвредными потрясенія, полученныя тѣломъ; отсюда легко заключить, что многія и притомъ самыя необходимыя для органической жизни движенія происходятъ или безъ всякаго участія души, подобно судорогамъ обезглавленнаго животнаго, при сильныхъ внѣшнихъ возбужденіяхъ, или безъ участія непосредственнаго, намѣреннаго и творческаго. Жизнь организма должна-бы прекратиться при самомъ своемъ зарожденіи, если-бы необходимыя для нея движенія появлялись не раньше того времени, когда душа будетъ способна открыть ихъ возможность. Умѣнье сосать, глотать, кричать и проч.; предшествующее первымъ замѣтнымъ проблескамъ душевной жизни ребенка и общее ему съ животнымъ, можетъ быть понятно только какъ слѣдствіе тѣлеснаго механизма. Даже взрослый человекъ не догадался-бы, что ему слѣдуетъ кашлянуть, чтобы удалить изъ горла постороннее тѣло, если-бы самъ организмъ не производилъ этого движенія безъ вѣдома души.

Рядомъ съ собственно рефлексивными движеніями, происходящими отъ потрясеній организма извнѣ, напр. съ движеніями уязвленныхъ членовъ, рвотою отъ дѣйствія отвратительной пищи, смѣхомъ отъ щекотанья, стоятъ движенія, непосредственнымъ источникомъ коихъ должны быть признаны извѣстныя состоянія души. Таковы движенія при одной мысли объ угрожающей намъ опасности, рвота отъ представленія предмета отвратительнаго по вкусу, смѣхъ, произ-

водимый безвредными и неожиданными противорѣчіями въ мысли. Согласно съ приведенною выше мыслью, что часть силы, потрясающей организмъ, истрачивается на образованіе ощущенія въ душѣ, Лоце полагаетъ, что «при предположеніи механическаго взаимодействія тѣла и души, и душевныя потрясенія не могутъ представляться ея событіямъ, которыя, оканчиваясь въ самой душѣ, требуютъ еще особыхъ мотивовъ для проявленія въ тѣлѣ: они съ самаго начала и сами по себѣ—извѣстное движеніе ¹⁾, такъ что нужны особыя средства не для того, чтобы сдѣлать возможнымъ ихъ вліяніе на тѣло, а развѣ для того, чтобы воспрепятствовать вліянію».

Движенія, зависимыя отъ состоянія души, распадаются на двѣ группы. Во первыхъ, въ подергиваньи, которое испытываетъ человекъ, увлеченный плясовою музыкою, видомъ пляски или фехтованья, въ порывахъ разгнѣваннаго, который видитъ передъ собою предметъ своего гнѣва и во всѣхъ невольныхъ движеніяхъ, въ маломъ видѣ изображающихъ дѣятельность, о которой мы думаемъ, или представляющихъ ея начала, есть нѣчто общее съ возбуждающими ихъ представленіями. Движеніе здѣсь осуществляетъ самую мысль или стремится къ указанной ею цѣли. Но, во вторыхъ, движеніе можетъ и не имѣть такой видимой связи съ содержаніемъ своего мотива. «Когда душа безцѣльно волнуется чувствами удовольствія или неудовольствія, тогда дѣятельность ея обнаруживается главнымъ образомъ въ разнообразныхъ измѣненіяхъ дыханія, или, точнѣе, проявляется только въ этихъ измѣненіяхъ, потому-что безъ нихъ не обходятся и всѣ остальные тѣлодвиженія. Не одни только сильныя чувства, какъ радость, гнѣвъ, печаль, замедляютъ или ускоряютъ, усиливаютъ или ослабляютъ дыханіе; тоже въ меньшемъ размѣрѣ замѣчается и при чувствахъ, ускользящихъ отъ наблюденія, даже при безстрастномъ переходѣ мысли отъ одного предмета къ другому... Всѣ эти движенія съ

¹⁾ „Sie sind von Anfang an ein gewisses Quantum wirksamer Bewegung“.

А. Потемкин. Мысль и языкъ.

перваго разу обнаруживаютъ замѣчательную особенность: они не производятъ ничего, не имѣютъ никакой внѣшней цѣли и служатъ чистѣйшимъ выраженіемъ состояній души. Уже и сами по себѣ они могли-бы быть для наблюдателя живымъ и вѣрнымъ изображеніемъ душевной жизни: но природа приводитъ въ связь органы дыханія съ органомъ голоса и даетъ возможность самымъ незамѣтнымъ особенностямъ безцѣльныхъ волненій души, изображаясь въ звукахъ, передаваться внѣшнему міру.... Такъ въ царствѣ животномъ появляются звуки страданія и удовольствія, которые болѣе лишены опредѣленнаго указанія на предметы и дѣйствія, чѣмъ самые грубые жесты, но какъ выраженіе даже тайныхъ движеній души безъ сравненія богаче всякаго другаго средства, какое живыя существа могли-бы выбрать для взаимнаго сообщенія». Поэтому, въ противоположность теперь уже невозвратно отвергнутому мнѣнію, что родъ человѣческой только послѣ долгаго размышленія и выбора между нѣсколькими средствами сообщенія дошелъ до мысли о звуковомъ языкѣ и на ней остановился, мы должны принять, что, напротивъ, представленная физиологическая необходимость принуждаетъ душу выражать въ звукѣ по-крайней-мѣрѣ общій характеръ ея внутреннихъ состояній.

Врядъ-ли кто когда-либо отвергалъ необходимость связи чувства со звуками въ родѣ животныхъ криковъ, смѣха, плача, стона; но слѣдуетъ сказать больше, что и членораздѣльный звукъ, внѣшняя форма человѣческой рѣчи, физиологически однороденъ съ упомянутыми явленіями и также зависитъ отъ волнующаго душу чувства, т. е. первоначально также произволенъ, хотя потомъ становится послушнымъ орудіемъ мысли.

Если-бъ природа не научила человѣка членораздѣльному звуку, то самъ онъ никогда-бы не открылъ, въ какое положеніе слѣдуетъ привести члено-раздѣляющіе органы, посредствомъ какихъ нервовъ и какъ возбудить голосъ, чтобъ получить этотъ звукъ. Произвольное и сознательное употребленіе слова необходимо предполагаетъ произвольное и безо-

знательное. Сознательность наша никогда не идет далѣе наблюденія надъ способомъ, какимъ мы произносимъ звукъ, къ которому мы при этомъ относимся страдательно, какъ къ готовому и независимому отъ насъ факту. На извѣстной степени развитія зависитъ, повидимому, отъ нашего произвола, произнести-ли звукъ, или нѣтъ; но, когда мы произносимъ, въ сознаниіи нашемъ есть только наша цѣль, т. е. образъ требуемаго звука и связанное съ нимъ смутное воспоминаніе о томъ состояніи общаго чувства, которое сопровождало движенія органовъ, нужныя для осуществленія этой цѣли. Участіе произвола видно здѣсь только въ измѣненіи цѣли, измѣненія-же пружинъ, ведущія къ ея исполненію, происходятъ сами собою и остаются внѣ сознанія ¹⁾.

Возможность существованія въ душѣ звуковаго образа, какъ цѣли, а вмѣстѣ и весь процессъ сознательнаго произношенія, предполагаетъ такой-же процессъ, вполне безсознательный, хотя и происходящій не безъ участія души. Примѣромъ послѣдняго могутъ служить не только тѣ вполне обыкновенные случаи, когда волнуемая чувствомъ грудь невольно облегчается члено-раздѣльнымъ восклицаніемъ, но еще больше общая ребенку съ попугаемъ склонность повторять звуки, поражающіе его слухъ. Въ ребенкѣ и въ птицѣ, которая выучивается произносить члено-раздѣльные звуки, потрясеніе слуховыхъ нервовъ, содѣйствуя образованію представленія въ душѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ съ физиологическою необходимостью отражается въ дѣятельности голосовыхъ органовъ.

Однако результаты доказываютъ, что сходство между человѣкомъ и животнымъ въ ходѣ образованія звуковъ далеко

¹⁾ Мысль, что исходною и единственною, доступною произволу точкою при намѣренномъ произношеніи звука служитъ его образъ, находящійся въ сознаниіи, вѣрна только въ примѣненіи къ большинству говорящихъ, надѣленныхъ отъ природы слухомъ. Для глухо-нѣмого, котораго учать говорить, указывая на соотвѣтствіе отдѣльныхъ начертаній звуковъ извѣстнымъ положеніямъ и движеніямъ органовъ, намѣренно-измѣняемою цѣлью становится не образъ звука, котораго никогда не было въ его сознаниіи, а состояніе общаго чувства, сопровождавшее произношеніе звука. За воспоминаніемъ этого чувства у него слѣдуетъ самое движеніе органовъ и звукъ.

не полное. Члено-раздѣльный звукъ все-же есть исключительная принадлежность человѣка; въ крикахъ животныхъ болѣе близкихъ къ намъ по устройству тѣла, онъ вовсе не встрѣчается, а въ птицахъ—только какъ случайное для ихъ природы слѣдствіе усилій человѣка, или по-крайней-мѣрѣ какъ явленіе неимѣющее для ихъ жизни и тѣни того значенія, какое оно имѣетъ для нашей. Здѣсь самъ собою представляется вопросъ, почему члено-раздѣльность свойственна только одному человѣку? Всякій отвѣтъ на это долженъ или предположить яснымъ самое понятіе члено-раздѣльности, или начаться съ его разложенія и уясненія, которое можетъ быть достигнуто разными путями. Физикъ, быть можетъ, могъ-бы открыть, что графическія изображенія звуковыхъ волнъ, производящихъ членораздѣльный звукъ, подобныя тѣмъ, какія найдены для музыкальныхъ тоновъ, особенно правильны и симметричны сравнительно съ изображеніями животнаго крика. Физиологъ могъ-бы изслѣдовать движенія органовъ, нужныя для члено-раздѣльности, и вмѣстѣ отвѣчать на вопросъ о причинахъ ея отсутствія въ животныхъ тѣмъ, что хотя многія животныя, судя по виѣшнему устройству органовъ (голосовыхъ струнъ, гортани, нѣба, языка, и т. д.), и были-бы въ состояніи издавать члено-раздѣльные звуки, но ихъ нервы, приводящіе въ движеніе упомянутые органы, лишены способности вѣрно рефлексировать потрясеніе слуха. Но чтобы остаться на психологической точкѣ зрѣнія, нужно искать опредѣленія члено-раздѣльному звуку не въ томъ, что онъ такое—независимо отъ сознанія, а въ томъ, какъ онъ представляется самому сознанію говорящаго. Ближайшій источникъ звука для сознанія и вмѣстѣ для психологіи есть не дрожаніе нервовъ, какъ для физиологій, а чувственное воспріятіе, извѣстное состояніе души. Звукъ со стороны вліянія его на нашу душевную жизнь представляется намъ не мѣрою, необходимою для успокоенія организма, а средствомъ уравнивать душевныя потрясенія, освобождаться отъ ихъ подавляющей силы. Не всякому, конечно, приходилось спрашивать себя, какая польза человѣку крикнуть отъ испуга;

но всякій, кто созналъ свой испугъ и его проявленіе въ звукѣ и кто поставленъ этимъ въ необходимость смотрѣть на звукъ по отношенію его къ мысли, скажетъ, что онъ кривнулъ *отъ* испуга. Развитое такимъ путемъ понятіе о звукѣ предполагаетъ его соотвѣтствіе свойствамъ душевныхъ потрясеній и заставляетъ искать причины члено-раздѣльности въ ея соотвѣтствіи отличительному характеру чувственности человѣка.

«Членораздѣльность (die Articulation), говоритъ Гумбольтъ, основывается на власти духа принуждать органы къ такимъ видоизмѣненіямъ (Behandlung) звука, какія соотвѣтствуютъ формѣ дѣятельности самаго духа. Между дѣятельностью духа и члено-раздѣльностью то общее, что и та и другая разлагаетъ свою область на основныя части, соединеніе коихъ образуетъ такія цѣлыя, которыя носятъ въ себѣ стремленіе стать частями новыхъ цѣлыхъ. Сверхъ этого, мышленіе требуетъ сочетанія разнообразія въ единство. Поэтому необходимые признаки члено-раздѣльнаго звука — а) ясно осязаемое единство и б) такое свойство, по которому онъ можетъ стать въ опредѣленное отношеніе ко всѣмъ другимъ члено-раздѣльнымъ звукамъ, какіе только мыслимы ¹⁾).

а) Гласная и согласная—это простѣйшія стихіи, на которыя мы разлагаемъ матеріалъ слова. Въ первой насъ болѣе поражаетъ голосъ, звуковое волненіе воздуха, опредѣляемое степенью напряженности голосовыхъ лентъ; во второй — болѣе замѣтенъ шумъ, происходящій отъ препятствій, встречаемыхъ звукомъ во внѣшнихъ органахъ, начиная съ гортани. Они относятся другъ къ другу не какъ внутреннее и внѣшнее, не какъ содержаніе и форма, а скорѣе какъ звуки различныхъ инструментовъ ²⁾. Хотя согласная и гласная по-

¹⁾ Ueb. die Versch. 68—9.

²⁾ Если скажемъ, что согласная есть форма гласной, то, хотя изъ этого и будемъ въ состояніи объяснить, что одна безъ другой существовать не можетъ, но принуждены будемъ прійти къ нелѣпому заключенію, что, такъ-какъ мы слышимъ согласную или впереди или позади гласной, то и форма вообще можетъ даваться намъ прежде или послѣ содержанія, отдѣльно отъ него, тогда какъ на дѣлѣ такое отдѣленіе содержанія отъ формы невозможно. Если-же пред-

лучаются только посредствомъ разложенія слова, но тѣмъ не менѣе онѣ имѣютъ не идеальное, а дѣйствительное бытіе, какъ химическія тѣла, добываемыя только анализомъ и въ природѣ не существующія въ чистомъ видѣ ¹⁾). «Дѣленіе простаго слога на согласный и гласный звукъ ²⁾» есть только искусственное. Въ природѣ эти звуки такъ взаимно опредѣляютъ другъ-друга, что слуху представляются нераздѣльнымъ единствомъ... Собственно говоря, и гласныя не могутъ быть выговорены сами по себѣ. Образующій ихъ токъ воздуха долженъ встрѣтить извѣстное препятствіе (bedarf eines Anstosses), которое дѣлаетъ его слышнымъ и если это препятствіе состоитъ не въ явственной согласной, то все-же оно должно быть хоть самымъ легкимъ придыханіемъ, какое въ нѣкоторыхъ языкахъ на письмѣ ставится передъ каждою начальною гласною» (Numb. 70). Такимъ образомъ въ слогѣ, какъ и въ дѣятельности духа, мы находимъ разнообразіе въ единствѣ. Слогъ самъ по себѣ тоже имѣетъ только искус-

положимъ, что въ самой согласной есть гласная, потому что форма безъ содержанія быть не можетъ, то выйдетъ, что содержаніе, которое мы привыкли считать самымъ важнымъ въ настоящемъ случаѣ, не имѣетъ для насъ никакого значенія, потому-что никто не цѣнитъ согласной по этой незамѣтной въ ней гласной стихіи. Подобнымъ образомъ слѣдовало-бы принять, что если согласная есть форма гласной, то голосъ—форма дыханія, такъ что содержаніе (дыханіе) будетъ возможно безъ формы. Вводимое Беккеромъ различіе гласной отъ согласной, состоящее въ томъ, что матеріалъ (дыханіе и голосъ) или вполне и такъ индивидуализированы въ извѣстной формѣ, что въ звукѣ форма преобладаетъ надъ содержаніемъ (какъ въ согласныхъ) или-же такъ, что матеріалъ (Stoff) не вполне индивидуализированъ формою и преобладаетъ надъ нею [какъ въ гласныхъ] (Org. 33). Такое различіе не имѣетъ смысла. Всякій членораздѣльный звукъ индивидуализированъ вполне, потому-что рѣзко отличается отъ всѣхъ остальныхъ; преобладанія формы надъ содержаніемъ или наоборотъ въ немъ быть не можетъ.

¹⁾ Гумбольтъ, повидимому, противнаго мнѣнія: „въ слогѣ—не два звука или болѣе, какъ можетъ казаться по нашему способу писать, но одинъ, произнесенный извѣстнымъ образомъ“ (170); но это только повидимому, потому-что онъ признаетъ существованіе двухъ, взаимно опредѣляющихъ другъ-друга и опредѣлительно различаемыхъ и слухомъ и абстракціею рядовъ звуковъ, т. е. согласныхъ и гласныхъ.

²⁾ У Гумбольта прибавлено: „если при этомъ захотимъ считать тотъ и другой самостоятельными“, т. е. отдѣльно существующими. Мы этого не хотимъ, но самостоятельность ихъ вовсе не такова, какъ самостоятельность формы и матеріала или содержанія.

ственное существованіе; въ природѣ, т. е. въ человѣческой рѣчи, онъ существуетъ только какъ слово, или какъ часть другаго слова, составляющаго одно цѣлое, которое и въ свою очередь *есть* только какъ часть высшаго цѣлаго, т. е. самой рѣчи.

б) Съ другой стороны, если остановимся на простѣйшихъ звуковыхъ стихіяхъ слова, оказывается слѣдующее. Какъ ни безконечно разнообразны гласные звуки всевозможныхъ языковъ, но рядъ ихъ не можетъ быть продолженъ или сокращенъ по произволу. Въ какое-бы необыкновенное положеніе мы ни привели свои органы и какъ-бы ни былъ страненъ произнесенный такимъ образомъ гласный звукъ, всегда онъ найдетъ опредѣленное мѣсто въ ряду, главными точками котораго служатъ простыя гласныя *a, u, y*, и можетъ быть объясненъ этимъ рядомъ приблизительно такъ, какъ сложные звуки *e, o*, которые въ индоевропейскихъ языкахъ произошли первое изъ *ai*, второе изъ *au*. Гласныя представляютъ для насъ такую-же замкнутую, строго законную, имѣющую объективное значеніе систему, какъ музыкальные звуки и цвѣта. Мы чувствуемъ, что такъ-же напрасно было-бы усиліе выйти за предѣлы семи цвѣтовъ радуги, какъ и за предѣлы основныхъ звуковъ.

Это не такъ ощутительно въ ряду согласныхъ, но тѣмъ не менѣе и они дѣлятся на группы, всѣ члены коихъ имѣютъ свое опредѣленное мѣсто.

Не всѣмъ языкамъ свойственны всѣ звуки, какъ не всѣмъ инструментамъ—всѣ тоны; въ каждомъ языкѣ есть своя система звуковъ, болѣе или менѣе богатая и опредѣленная по отдѣльнымъ составляющимъ ее звукамъ, но всегда строго послѣдовательная, потому-что предшествующее даетъ въ ней направленіе послѣдующему. Такой послѣдовательности не противорѣчитъ то, что повидимому не во-всѣхъ періодахъ языка и не во-всѣхъ слояхъ говорящаго имъ народа иностранныя слова прилаживаются къ туземнымъ фонетическимъ приемамъ, потому-что или подобныя слова остаются внѣ языка, или-же въ дѣйствительности не рознятся съ нимъ.

Не трудно въ этомъ единствѣ, стройности и законности, открываемыхъ нами въ звуковыхъ стихіяхъ слова, найти соотвѣтствіе раздѣльности воспріятій, характеризующей человѣческую чувственность.

Въ нечлено-раздѣльныхъ звукахъ мы встрѣтимъ отдѣльные согласные (напр. *p.*—въ ворчаньи собаки, губные въ мычаньи коровы, гортанные въ ржаньи лошади), но вмѣстѣ должны будемъ сознаться, что мы находимъ ихъ въ животныхъ крикахъ единственно потому, что привыкли слышать въ человѣческой рѣчи. Лай или вой собаки, раздѣленный на безконечно малыя частицы, наполнилъ-бы каждую изъ этихъ частицъ чистою гласною, или согласною; но органы собаки при этомъ не остаются ни на одно осязаемое мгновеніе въ одномъ положеніи, и звукъ, только что появляясь, уже переходитъ въ другой, отчего для одного наблюдателя онъ приближается къ одному членораздѣльному звуку, въ глазахъ другаго къ другому. Въ животномъ звукѣ нѣтъ единицы такой, какъ въ человѣческомъ языкѣ—звукъ, слогъ, слово (въ фонетическомъ смыслѣ), а потому онъ невыразимъ средствами человѣческихъ азбукъ, предполагающихъ такія единицы.

Члено-раздѣльность звука достигается далеко не сразу. Это видно изъ того, что съ одной стороны и человѣкъ подъ вліяніемъ потрясеній, имѣющихъ характеръ общаго чувства, т. е. именно тогда, когда наименѣе заинтересованъ своими звуками, издаетъ нечлено-раздѣльные крики; съ другой—дита, даже при болѣе раздѣльныхъ впечатлѣніяхъ, при сознательной рѣчи, говоритъ неразборчиво. Кому случалось наблюдать, какъ дитя много разъ повторяетъ про себя непонятное слово, какъ оно забавляется движеніями своихъ органовъ слова, кто сколько-нибудь помнитъ свое раннее дѣтство, тотъ согласится, что «удовольствіе, доставляемое человѣку члено-раздѣльнымъ звукомъ, сообщаетъ этому звуку опредѣленность, разнообразіе и богатство сочетаній ¹⁾. Дитя воспринимаетъ звукъ съ гораздо большею опредѣленностью,

¹⁾ Humb. Ueb. die Versch. 72.

чѣмъ животное; въ этотъ звукъ оно переноситъ свое субъективное удовольствіе отъ движенія органовъ и, находя въ немъ самомъ эстетическую цѣну, останавливаетъ на немъ вниманіе. Такъ интересъ, возбуждаемый звукомъ, въ свою очередь становится мотивомъ большей членораздѣльности, тогда какъ пѣвчая птица, испытывая на себѣ вліяніе своей пѣсни, не замѣчаетъ этого, не дѣлаетъ прежней своей пѣсни исходною точкою для новой и ограничивается своимъ субъективнымъ, такъ сказать, первичнымъ удовольствіемъ. Уже для ребенка произношеніе звуковъ есть не только удовольствіе, но и работа. «Человѣкъ, говоритъ Гумбольтъ, стремленіемъ своей души *вынуждаетъ* у своихъ тѣлесныхъ органовъ членораздѣльный звукъ». Это «стремленіе души» тождественно съ тѣмъ, какое образуетъ языкъ и вообще дѣлаетъ возможнымъ человѣческое развитіе. Чистота звука отъ всякой посторонней примѣси... (и всѣ признаки, связанные съ этимъ) непосредственно вытекаетъ изъ намѣренія ¹⁾ сдѣлать его стихіею рѣчи ²⁾. «Намѣреніе придать значеніе и способность звука имѣть его, и при томъ не значеніе вообще (потому-что такое значеніе имѣетъ и крикъ животныхъ), а именно изображать мысль: вотъ все, что характеризуетъ членораздѣльный звукъ; кромѣ этого, нельзя въ немъ найти никакого отличія отъ животнаго крика съ одной и музыкальнаго тона съ другой стороны» ³⁾. Такимъ-образомъ членораздѣльный звукъ опредѣляется тѣмъ, для чего онъ годится, какъ выше чувства человѣка характеризовались тѣмъ развитіемъ, основаніемъ котораго они служатъ. Другаго опредѣленія членораздѣльному звуку найти нельзя. Въ природѣ онъ встрѣчается только въ человѣческой рѣчи, служить только для изображенія мысли, а потому только отъ свойствъ мысли заимствуетъ всѣ свои признаки ⁴⁾.

¹⁾ Многія другія мѣста показываютъ что подъ намѣреніемъ (Absicht) Гумбольтъ не понимаетъ здѣсь ничего произвольнаго.

²⁾ Humb. 69.

³⁾ Humb. 67.

⁴⁾ О рефлексивныхъ движеніяхъ и членораздѣльномъ звукѣ см. Lotze, Mikr. II, 210—224. Ср. также Steinth. Gr. L. и Ps. § 87 Lazarus. Das Leben der Seele, II, 37 слѣд.

VII. Языкъ чувства и языкъ мысли.

Оставивши въ сторонѣ нечленораздѣльные звуки, подобные крикамъ боли, ярости, ужаса, вынуждаемые у человѣка сильными потрясеніями, подавляющими дѣятельность мысли, мы можемъ въ членораздѣльныхъ звукахъ, разсматриваемыхъ по отношенію не къ общему характеру человѣческой чувственности, а къ отдѣльнымъ душевнымъ явленіямъ, съ которыми каждый изъ этихъ звуковъ находится въ ближайшей связи, различить двѣ группы: къ первой изъ этихъ группъ относятся междометія, непосредственныя обнаруженія относительно спокойныхъ чувствъ въ членораздѣльныхъ звукахъ; ко второй—слова въ собственномъ смыслѣ. Чтобы показать, въ чемъ состоитъ различіе словъ и междометій, которыхъ мы не называемъ словами и тѣмъ самымъ не причисляемъ къ языку, мы считаемъ нужнымъ обратить вниманіе на слѣдующее.

Извѣстно, что въ нашей рѣчи тонъ играетъ очень важную роль и нерѣдко измѣняетъ ея смыслъ. Слово дѣйствительно существуетъ только тогда, когда произносится, а произноситься оно должно непремѣнно извѣстнымъ тономъ, который уловить и назвать иногда нѣтъ возможности; однако хотя съ этой точки безъ тона нѣтъ значенія, но не только отъ него зависитъ понятность слова, а вмѣстѣ и отъ членораздѣльности. Слово *вы* я могу произнести тономъ вопроса, радостнаго удивленія, гнѣвнаго укора и проч., но во всякомъ случаѣ оно останется мѣстоименіемъ втораго лица множественнаго числа; мысль, связанная со-звуками *вы*, сопровождается чувствомъ, которое выражается въ тонѣ, но не исчерпывается имъ и есть нѣчто отъ него отличное. Можно сказать даже, что въ словѣ членораздѣльность перевѣшиваетъ тонъ; глухонѣмыми она воспринимается посредствомъ зрѣнія и слѣдовательно можетъ совсѣмъ отдѣлиться отъ звука ¹⁾.

Со-всѣмъ наоборотъ—въ междометіи: оно членораздѣльно, но это его свойство постоянно представляется намъ чѣмъ-то

¹⁾ Humb. Ueb. die Versch. 67.

второстепеннымъ. Отнимемъ у междометій *о*, *а* и пр. тонъ, указывающій на ихъ отношеніе къ чувству удивленія, радости и др., и они лишатся всякаго смысла, станутъ пустыми отвлеченіями, извѣстными точками въ гаммѣ гласныхъ. Только тонъ даетъ намъ возможность догадываться о чувствѣ, вызывающемъ восклицаніе у человѣка, чуждаго намъ по языку. По тону, языкъ междометій, подобно мимикѣ, безъ которой междометіе, въ отличіе отъ слова, во многихъ случаяхъ, во-все не можетъ обойтись, есть единственный языкъ, понятный всѣмъ.

Съ этимъ связано другое, болѣе внутреннее отличіе междометія отъ слова... мысль, съ которою когда-то было связано слово, снова вызывается въ сознаніе звуками этого слова, такъ что напр. всякій разъ, какъ я услышу имя извѣстнаго мнѣ лица, мнѣ представляется снова болѣе или менѣе ясно и полно образъ того самаго лица, которое я прежде видалъ, или-же извѣстное видоизмѣненіе, сокращеніе этого образа. Эта мысль воспроизводится если не со-всѣмъ въ прежнемъ видѣ, то такъ однако, что второе, третье воспроизведеніе могутъ быть для насъ даже важнѣе перваго. Обыкновенно человѣкъ во-все не видитъ разницы между значеніемъ, какое онъ соединялъ съ извѣстнымъ словомъ вчера, и какое соединяетъ сегодня, и только воспоминаніе состояній, далекихъ отъ него по времени, можетъ ему доказать, что смыслъ слова для него мѣняется. Хотя имя моего знакомаго подѣйствуетъ на меня иначе теперь, когда уже давно его не вижу, чѣмъ дѣйствовало прежде, когда еще свѣжо было воспоминаніе объ немъ; но тѣмъ не менѣе въ значеніи этого имени для меня всегда остается нѣчто одинаковое. Такъ и въ разговорѣ: каждый понимаетъ слово по своему, но внѣшняя форма слова пронигнута объективною мыслью, независимою отъ пониманія отдѣльныхъ лицъ. Только это даетъ слову возможность передаваться изъ рода въ родъ; оно получаетъ новыя значенія только потому, что имѣло прежнія. Наслѣдственность слова есть только другая сторона его способности имѣть объективное значеніе для одного и того-

же лица. Междоетіе не имѣеть этого свойства. Чувство, составляющее все его содержаніе, не воспроизводится такъ, какъ мысль. Мы убѣждены, что событія, о которыхъ теперь напомнить намъ слово *школа*, тождественны съ тѣми, которыя были и прежде предметомъ нашей мысли; но мы легко замѣтимъ, что воспоминаніе о нашихъ дѣтскихъ печаляхъ можетъ намъ быть пріятно, и наоборотъ, мысль о беззаботномъ нашемъ дѣтствѣ можетъ возбуждать скорбное чувство, что вообще воспоминаніе о предметахъ, внушавшихъ намъ прежде такое-то чувство, вызываетъ не это самое чувство, а только блѣдную тѣнь прежняго или лучше сказать совсѣмъ другое.

Хотя повторяя въ мысли прежнія воспоминанія мы прибавляемъ къ нимъ новыя стихіи, измѣняемъ ихъ обстановку, ихъ отношенія къ другимъ, ихъ характеръ; но простыя стихіи нашей мысли при этомъ будутъ тѣ-же. Такъ та часть, которую я вижу въ картинѣ прежде прочихъ, не исчезнетъ для меня и тогда, когда вмѣстѣ съ нею увижу и всѣ остальные части; первое мое воспріятіе, ставши рядомъ съ послѣдующими, составитъ съ ними одно цѣлое, получить для меня новый смыслъ, но само по себѣ и на мой взглядъ сохранится неизмѣннымъ въ составляемомъ мною общемъ образѣ картины. Чувство не заключаетъ въ себѣ никакихъ частей. Мы знаемъ, что сила и качество чувства опредѣляются расположеніемъ и движеніемъ представленій, но эти представленія только условія, а не стихіи чувства. Малѣйшее измѣненіе въ условіяхъ производитъ новое чувство, несохраняющее для сознанія никакихъ слѣдовъ прежняго. Подобнымъ образомъ мы можемъ знать, изъ сколькихъ частей составлены духи, но чувствуемъ только одинъ недѣлимый запахъ, который весь измѣнится отъ присоединенія новыхъ веществъ къ прежнему составу. Мысль имѣеть своимъ содержаніемъ тѣ воспріятія или ряды воспріятій, какіе въ насъ были, и потому можетъ старѣться; чувство есть всегда оцѣнка наличнаго содержанія нашей души и всегда ново. Отсюда понятно, почему междоетіе, какъ отголосокъ мгновеннаго состоянія

души, каждый разъ создается съизнова и не имѣть объективной жизни, свойственной слову. Правда, мы можемъ вспомнить и повторить невольно изданное нами восклицаніе, но тогда произносимый нами звукъ будетъ уже предметомъ нашей мысли, а не отраженіемъ чувства, будетъ названіемъ междометія, а не междометьемъ. Говоря «я сказалъ *ахъ*», или отвѣчая односложнымъ повтореніемъ звука *ахъ* на вопросъ: «что вы сказали», мы дѣлаемъ это *ахъ* частью предложенія, или цѣлымъ неразвитымъ предложеніемъ, но во-всякомъ случаѣ словомъ. Междометіе уничтожается обращенною на него мыслью, подобно тому, какъ чувство разрушается самонаблюденіемъ, которое необходимо прибавляетъ нѣчто новое къ тому, чѣмъ занято было сознаніе во-время самаго чувства.

Отсюда вытекаетъ третій отличительный признакъ междометія. Понять извѣстное явленіе значить сдѣлать его предметомъ нашей мысли; но мы видѣли, что междометіе перестаетъ быть само-собою, какъ скоро мы обратили на его вниманіе: поэтому оно, оставаясь собою, непонятно. Разумѣется, мы говоримъ здѣсь не о томъ непониманіи, которое выражается вопросомъ: «что это»? или утвержденіемъ «я этого не понимаю»; и вопросъ этотъ и утвержденіе ручаются уже за извѣстную степень пониманія, предполагаютъ въ насъ нѣкоторое знаніе того, объ чемъ мы спрашиваемъ и чего не знаемъ. Непонятность междометія—въ томъ, что оно совсѣмъ незамѣтно сознанию субъекта. Если сообразить, что мы понимаемъ произнесенное другимъ слово лишь на столько, на сколько оно стало нашимъ собственнымъ (точно такъ какъ вообще понимаемъ внѣшнія явленія только послѣ того, какъ они стали достояніемъ нашей души), и что произнесенное другимъ восклицаніе усваивается нами не какъ междометіе, т. е. непосредственное выраженіе чувства, а какъ знакъ, указывающій на присутствіе чувства въ другомъ ¹⁾; то къ сказанному, что междометіе непонятно для самаго субъекта нужно будетъ прибавить, что оно и ни для кого непо-

¹⁾ Въ этомъ смыслѣ мы назвали выше языкъ междометій—общепонятнымъ.

нятно. Не должно казаться страннымъ, что междометіе будучи рефлексією волненія души и возвращаясь въ нее, какъ впечатлѣніе звука, остается ей незамѣтнымъ: сплошь да рядомъ — случаи, которые могутъ насъ убѣдить, что и своя душа — потѣмки, что въ насъ множество воспріятій и чувствъ, намъ совершенно неизвѣстныхъ.

Непонятность междометія можно иначе выразить такъ: оно не имѣетъ значенія въ томъ смыслѣ, въ какомъ имѣетъ его слово. Если-бъ не препятствія со стороны языка, мы бы не сказали, что восклицаніе, вынуждаемое страхомъ, *значитъ* страхъ, т. е. мысль объ немъ, выраженную въ словѣ *страхъ*, подобно тому, какъ не сказали бы, что мгновенная краска на лицѣ значить стыдъ. Какъ часовая и минутная стрѣлки на двѣнадцати не значать двѣнадцать часовъ, а только указываютъ на извѣстное время, какъ ознобъ или жаръ, скорость или медленность пульса, не означаютъ болѣзнь, а только служатъ ея признаками для врача; такъ и въ междометіяхъ наблюдатель видитъ бессмысленные сами по себѣ признаки состояній души, тогда какъ въ словѣ онъ имѣетъ дѣло съ готовою уже мыслью.

Вмѣстѣ со-многими другими остатками прежнихъ періодовъ общечеловѣческаго развитія мы сохранили наклонность переносить въ животныхъ замѣченное нами только въ себѣ, надѣлять ихъ напр. языкомъ, который мы знаемъ только въ человѣкѣ. Это будетъ вѣрно развѣ въ томъ случаѣ, если къ языку отнесемъ мы и междометія и если будемъ помнить, что внѣшнее различіе между междометіями членораздѣльными и нечленораздѣльными звуками животныхъ указываетъ на глубокую внутреннюю разницу душевныхъ процессовъ въ человѣкѣ и животномъ. Обыкновенно мы принимаемъ свои слова въ слишкомъ точномъ значеніи, когда говоримъ напр., что «собака просить ѣсть». Мы забываемъ при этомъ, что подобная просьба въ человѣкѣ есть явленіе очень сложное, предполагающее, кромѣ сознанія чувства голода, еще мысль о средствахъ его удовлетворенія, о лицѣ, которое можетъ доставить эти средства, о нашихъ отношеніяхъ къ этому лицу, недопускающихъ тре-

бованія, о различіи требованія и просьбы, однимъ словомъ— многое такое, чего не можемъ предположить въ животномъ, если не хотимъ уравнивать его съ человѣкомъ по способности къ развитію. Лай или визгъ собаки, который намъ кажется просьбою, есть только рефлексія непріятнаго, испытываемаго ею чувства, есть движеніе столь-же мало подлежащее ея наблюденію и такое-же невольное, какъ прыжокъ въ сторону при видѣ занесенной надъ нею палки. Звуки животныхъ необъяснимы одними фізіологическими законами: они связаны съ воспріятіями и сопровождающими ихъ чувствами, ассоціаціями воспріятій, ожиданіемъ подобныхъ случаевъ; но, повторяемъ, они не имѣютъ значенія, не понимаются, и не служатъ средствами производить пониманіе въ другихъ. Пѣтухъ поетъ въ извѣстную пору вовсе не затѣмъ, чтобы вызвать отвѣтъ другаго, и другой не отвѣчаетъ ему, а поетъ самъ по себѣ, потому что его слуховые нервы, раздраженные крикомъ перваго, переносятъ свое движеніе на голосовые органы. Собака не понимаетъ обращеннаго къ ней слова, потому что въ душѣ ея, какъ увидимъ, нельзя предположить той формы мысли, которая выражается въ словѣ и безъ которой было-бы невозможно пониманіе между людьми, но она побуждается звукомъ къ извѣстнымъ дѣйствіямъ, такъ-какъ могла-бы быть возбуждена ударомъ, уколомъ. Если она починаетъ громче лаять, когда ей долъше обыкновеннаго не даютъ ѣсть, или если дитя, еще неговорящее, усиливаетъ свой крикъ при такихъ-же обстоятельствахъ; то это опять не отъ пониманія значенія лая и крика для другихъ. Въ ребенкѣ чувство голода, вынуждающее крикъ и дѣйствія окружающихъ его лицъ, удаляющихъ это чувство, при повтореніи ассоціируются, такъ что если снова дано будетъ чувство съ сопровождающимъ его звукомъ, то тѣмъ самымъ вызовется и ожиданіе его удовлетворенія. Когда этого послѣдняго долго нѣтъ, то усилится чувство ожиданія и въ свою очередь будетъ способствовать усиленію звука, который при этомъ будетъ рефлексією и чувства ожиданія и чувства голода.

Языкъ животныхъ и человѣка въ раннюю пору дѣтства состоитъ изъ рефлексій чувства въ звукахъ. Вообще нельзя себѣ представить другаго источника звуковаго матеріала языка. Человѣческій произволъ застаётъ звукъ уже готовымъ: слова должны были образоваться изъ междометій ¹⁾, потому что только въ нихъ человѣкъ могъ найти членораздѣльный звукъ. Такимъ-образомъ первобытныя междометія, по своей послѣдующей судьбѣ, распадаются на такія, которыя навсегда остались междометіями, и на такія, которыя съ незапамятныхъ временъ потеряли свой интеръекціональный характеръ. Къ первымъ принадлежатъ восклицанія физической боли и удовольствія и болѣе сложныхъ чувствъ, условливаемыхъ не столько качественнымъ содержаніемъ мысли, сколько ея формою (напр. восклицанія удивленія, радости, горя); ко вторымъ, судя по корнямъ теперешнихъ языковъ, главнымъ образомъ, если не исключительно, междометія чувствъ, связанныхъ съ впечатлѣніями зрѣнія и слуха.

Выше мы упомянули, что междометіе подъ вліяніемъ обращенной на него мысли, измѣняется въ слово; теперь слѣдуетъ долѣе остановиться на томъ, какъ именно происходитъ это измѣненіе, т. е. созданіе языка, какъ пріобрѣтаетъ человѣкъ умѣнье понимать себя и другихъ, въ чемъ заключается то, что мы называемъ объективностью значенія, понятностью слова?

Прежде всего обратимъ вниманіе на тѣ условія образованія слова, которыя могутъ сами собою найтись въ человѣкѣ, взятомъ отдѣльно, независимо отъ связи съ обществомъ. Во первыхъ, произнося слово, мы можемъ замѣтить, что чувство, внушаемое тѣмъ, что представляется намъ содержаніемъ слова, такъ слабо въ сравненіи съ чувствомъ, которое прорывается въ восклицаніи, что само по себѣ не вызвало-бы звука, еслибъ не застало его уже готовымъ. Отсюда выводимъ, что напряженность чувства, владѣющаго человѣкомъ, который произноситъ междометіе, должно умень-

¹⁾ Ср. Ueb. die Versch. 209.

шиться при переходѣ междоуметія въ слово. Во вторыхъ, такое паденіе интенсивности чувства требуется и тою ясностію, съ которою мы представляемъ себѣ содержаніе слова, и тою отдѣлкою, какую мы придаемъ его формѣ. Пословицу «у страха глаза велики» мы можемъ распространить на всѣ сильныя чувства, которыя не то-что непременно заставляютъ насъ преувеличивать, а просто не даютъ разсмотрѣть предметовъ, причинившихъ испытываемое нами потрясеніе. Создавая слово, человѣкъ долженъ замѣтить свой собственный звукъ; это уже самонаблюденіе, рефлексія въ психологическомъ смыслѣ этого слова, которая тѣмъ труднѣе для насъ, чѣмъ болѣе мы увлечены общимъ потокомъ своей мысли, чѣмъ сильнѣе волнующее насъ чувство. Оба эти условія (слабость чувства и опредѣленность воспріятія) до значительной степени даются однимъ повтореніемъ такихъ-же воспріятій. Человѣкъ, напр. съ невольнымъ ужасомъ и совершенно безотчетно наклоняетъ голову, слыша надъ собою впервые свистъ пули; но потомъ привыкаетъ къ этому свисту, начинаетъ вслушиваться въ его особенности. Такое ослабленіе чувства можетъ-быть независимо отъ всякихъ свойственныхъ только человѣку соображеній, потому-что замѣчается и въ животныхъ (напр. въ лошади, привыкающей къ тяжести всадника, къ выстрѣламъ, къ виду верблюдовъ и проч.), хотя это ослабленіе не даетъ имъ человѣческой объективности взгляда.

По мѣрѣ, какъ уменьшается необходимость отраженія чувства въ звукъ, увеличивается другого рода связь звука и представленія. Звукъ, издаваемый человѣкомъ, воспринимается имъ самимъ, и образъ звука, слѣдуя постоянно за образомъ предмета, ассоциируется съ нимъ. При новомъ воспріятіи предмета, или при воспоминаніи прежняго, повторится и образъ звука, и уже въ слѣдъ за этимъ (а не посредственно, какъ при чисто рефлексивныхъ движеніяхъ) появится самый звукъ. Сходное съ этимъ сцѣпленіе образа предмета, образа движенія и самаго движенія встрѣчаемъ очень часто: музыкантъ или наборщикъ, при видѣ ноты или

буквы, при одной мысли объ нихъ, сразу находить нужный клавишъ инструмента, или отдѣленіе ящика съ буквами. Ассоціація воспріятій предмета и звука, замѣняющая непосредственное рефлексивное движеніе голосовыхъ органовъ такимъ, въ которомъ произнесеніе звука посредствуется его образомъ въ душѣ, есть одно изъ необходимыхъ условій созданія слова. Но она еще не даетъ пониманія, потому что можетъ вовсе не замѣчаться самимъ человѣкомъ, точно такъ, какъ вообще ускользаетъ отъ самонаблюденія множество привычныхъ движеній тѣла. Въ созданіи слова должно повториться то, что происходитъ съ нами на высшихъ степеняхъ развитія: не въ уединеніи, а въ обществѣ мы привыкаемъ смотрѣть за собою; поэтическое произведеніе открываетъ намъ до того неизвѣстныя стороны нашей собственной души, а не сами-собою они намъ уясняются; вообще внѣшнее наблюденіе предшествуетъ внутреннему. Въ примѣненіи къ языку это будетъ значить, что слово только въ устахъ другаго можетъ стать понятнымъ для говорящаго, что языкъ создается только совокупными усиліями многихъ, что общество предшествуетъ началу языка. «Языкъ, говоритъ Гумбольтъ, въ дѣйствительности развивается только въ обществѣ, и человѣкъ понимаетъ себя, только испытавши на другомъ понятность своихъ словъ» ¹⁾).

Слѣдуетъ еще замѣтить, что во время пониманія слова звукъ въ нашей мысли предшествуетъ своему значенію, тогда какъ при ассоціаціи, о которой мы выше говорили, совсѣмъ наоборотъ: образъ предмета предшествуетъ въ мысли образу звука. Какъ произойдетъ эта перестановка, нужная для пониманія? Что заставитъ человѣка сначала вспомнить свой звукъ, потомъ—объяснить его воспріятіемъ предмета?—Очевидно, что скорѣе всего самый этотъ звукъ, услышанный отъ другаго. Представимъ себѣ, что первобытный человѣкъ, пораженный извѣстнымъ впечатлѣніемъ, издаетъ такой-то звукъ, что это повторилось нѣсколько разъ и произвело

¹⁾ Ueb. die Versch. 54.

ассоціацію образа предмета и впечатлѣнія звука и что наконецъ при этомъ самый предметъ потерялъ свой, такъ сказать, подавляющій мысль интересъ. Другой человѣкъ, подѣ влияніемъ такого-же впечатлѣнія отъ того-же предмета, произнесетъ такой-же звукъ. Это вполне вѣроятно, потому что мы легко можемъ допустить такое сходство въ устройствѣ и мгновенномъ состояніи организмовъ, при которомъ звуки, въ коихъ отражаются одинаковыя чувства, представлять совершенно неувимыя различія, особенно для непривычнаго уха. Звукъ этотъ, воспринятый первымъ, возобновитъ въ его сознаніи прежде всего его собственный такой-же, потому что новое воспріятіе имѣетъ наиболѣе общаго съ образомъ этого звука, а не съ какимъ-либо другимъ созданіемъ души. Мысль о звукѣ, безъ сомнѣнія, не пройдетъ безъ слѣда, и невольно повлечетъ за собою свое осуществленіе, произнесеніе звука, потому что молчаніе есть *искусство* не давать представленію переходить въ движенія органовъ, съ которыми оно связано,—искусство, пріобрѣтаемое современнымъ человѣкомъ довольно поздно, и совсѣмъ незамѣтное въ дѣтяхъ. Слушающій повторитъ услышанный отъ другаго звукъ; ему ощутительно предстанетъ его собственное созданіе и въ свою очередь вызоветъ бывший въ душѣ, но теперь уже объясняющій звукъ, образъ предмета. Такъ совершится перестановка представленій, требуемая пониманіемъ. Слушающій понимаетъ не одинъ свой звукъ, а вмѣстѣ и чужой, на источникъ коего указываетъ ему зрѣніе; онъ видитъ говорящаго, и вмѣстѣ предметъ, на который указываетъ этотъ послѣдній. Стало-быть, при первомъ актѣ пониманія произойдетъ объясненіе не только звука, принадлежащаго понимающему, но, посредствомъ этого звука, и состоянія души говорящаго. Съ одной стороны здѣсь будетъ совершенно невольное сообщеніе мысли, съ другой столь-же невольное ея пониманіе.

Однако этимъ не можетъ окончиться развитіе слова въ понимающемъ. Образъ предмета былъ до-сихъ-поръ объясняющимъ, чѣмъ-то наиболѣе близкимъ къ самому лицу и на-

именѣ для него яснымъ. Наши душевныя состоянія уясняются намъ лишь по мѣрѣ того, какъ мы ихъ обнаруживаемъ, даемъ имъ какъ-бы самостоятельное существованіе, находя ихъ напр. въ другихъ или выражая въ словѣ. Навсегда темными остаются для насъ тѣ особенности нашей душевной жизни, которыхъ мы не выразимъ никакими средствами, и которыхъ не увидимъ ни въ комъ, кромѣ себя. Когда новое воспріятіе предмета вызоветъ въ томъ, кого мы до-сихъ-поръ представляли слушающимъ и понимающимъ, такое-же прежнее, когда это послѣднее выразится въ звукъ, звукъ этотъ воспримется слушающимъ и заставитъ его сдѣлать движеніе, понятное говорящему, напр. указать на предметъ; только тогда говорящій «извѣдаетъ на другомъ понятность своего слова». Теперь онъ будетъ понимать себя, потому-что получить доказательства существованія въ другомъ того образа, который до-сихъ-поръ былъ его личнымъ достояніемъ. Средствомъ при этомъ, какъ и при пониманіи другаго, будетъ звукъ, обнаруживающій для говорящаго его собственную мысль. Представленіе предмета въ говорящемъ, звукъ и его дѣйствіе на слушающаго (т. е. указаніе на то, что въ послѣднемъ есть такой-же образъ предмета) теперь ассоціируются и образуютъ одинъ рядъ, который воспроизводится, какой-бы его членъ ни былъ данъ первымъ.

Итакъ образованіе слова есть весьма сложный процессъ. Прежде всего—простое отраженіе чувства въ звукъ, такое напр. какъ въ ребенкѣ, который подъ вліяніемъ боли невольно издастъ звукъ *вава*. Затѣмъ—сознаніе звука; здѣсь кажется не необходимымъ, чтобъ ребенокъ замѣтилъ, какое именно дѣйствіе произведетъ его звукъ; достаточно ему услышать свой звукъ *вава* отъ другаго, чтобы вспомнить сначала свой прежній звукъ, а потомъ уже — боль и причинившій ее предметъ. Наконецъ — сознаніе содержанія мысли въ звукъ, которое не можетъ обойтись безъ пониманія звука другими. Чтобы образовать слово изъ междометія *вава*, ребенокъ долженъ замѣтить, что мать, поло-

жимъ, улышавши этотъ звукъ, слѣштитъ удалить предметъ, причиняющій боль ¹⁾.

Какъ-бы неудовлетворительно ни было изложенное нами объясненіе созданія слова, во всякомъ случаѣ вѣрно то, что языкъ предполагаетъ такую степень развитія, которой непосредственно предшествуетъ патогномическій звукъ. Эту степень называютъ *ономато-поэтической*, но не въ томъ смыслѣ, что на ней изображаются звуки внѣшней природы (далеко не всѣ слова, образованныя изъ междометій, суть звукоподражанія), а скорѣе въ томъ, что здѣсь впервые звуками изображаются мыслимыя явленія.

До-сихъ-поръ говоря объ томъ, какъ звукъ получаетъ значеніе, мы оставляли въ тѣни важную особенность слова сравнительно съ междометіемъ, особенность, которая рождается вмѣстѣ съ пониманіемъ, именно такъ-называемую *внутреннюю форму*. Не трудно вывести изъ разбора словъ какого-бы ни было языка, что слово собственно выражаетъ не всю мысль, принимаемую за его содержаніе, а только одинъ ея признакъ ²⁾. Образъ стола можетъ имѣть много признаковъ, но слово *столъ* значитъ только простланное (корень—*стл*, тотъ-же, что въ глаголѣ *стлатъ*) и поэтому оно можетъ одинаково обозначать всякіе столы, независимо отъ ихъ формы, величины, матеріала. Подъ словомъ *окно* мы разумѣемъ обыкновенно раму со стеклами, тогда какъ, судя по сходству его со словомъ *око*, оно значитъ: то, куда смотрять, или куда проходить свѣтъ, и не заключаетъ въ себѣ никакого намека не только на раму и пр., но даже на понятіе отверстія. Въ словѣ есть, слѣдовательно, два содержанія: одно, которое мы выше называли объективнымъ, а теперь можемъ назвать ближайшимъ этимологическимъ значеніемъ слова, всегда заключаетъ въ себѣ только одинъ признакъ; другое—субъективное содержаніе, въ которомъ

¹⁾ Cp. Steinthal. Zur Sprachphilosophie. Zeitschr. f. Philos. v. Fichte u. Ulrici. XXXII, 207—11. Steinthal. Ueber der Wandel der Laute u. des Begrifs. Zeitschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissenschaft. I, 5, 420—22.

²⁾ Cp. Humb. Ueb. die Versch. 97—8, 110.

признаковъ можетъ-быть множество. Первое есть знакъ, символъ, замѣняющій для насъ второе. Можно убѣдиться на опытѣ, что, произнося въ разговорѣ слово съ яснымъ этимологическимъ значеніемъ, мы обыкновенно не имѣемъ въ мысли ничего, кромѣ этого значенія: *облако*, положимъ, для насъ только «покрывающее». Первое содержаніе слова есть та форма, въ которой нашему сознанію представляется содержаніе мысли. Поэтому, если исключить второе, субъективное и, какъ увидимъ сей-часъ, единственное содержаніе, то въ словѣ останется только звукъ, т. е. внѣшняя форма и этимологическое значеніе, которое тоже есть форма, но только внутренняя. *Внутренняя форма* слова есть отношеніе содержанія мысли къ сознанію; она показываетъ, какъ представляется человѣку его собственная мысль. Этимъ только можно объяснить, почему въ одномъ и томъ-же языкѣ можетъ быть много словъ для обозначенія одного и того-же предмета, и наоборотъ, одно слово совершенно согласно съ требованіями языка можетъ обозначать предметы разнородные. Такъ, мысль о тучѣ представлялась народу подъ формою одного изъ своихъ признаковъ, именно того, что она вбираетъ въ себя воду или изливаетъ ее изъ себя, откуда слово *туча* (корень *ту*, пить и лить). Поэтому польскій языкъ имѣлъ возможность тѣмъ-же словомъ *tecza* (гдѣ тотъ-же корень, только съ усиленіемъ): назвать радугу, которая, по народному представленію, вбираетъ въ себя воду изъ криницы. Приблизительно такъ обозначена радуга и въ словѣ *радуга* (корень *дуг*, доить, т. е. пить и напоить, тотъ-же, что въ словѣ *дождь*); но въ малорусскомъ словѣ *веселка* она названа свѣтящеюся (корень *вас*, свѣтитъ, откуда *весна* и *веселый*), а еще нѣсколько иначе въ малорусскомъ-же *красна пані*.

Въ ряду словъ того-же корня, послѣдовательно вытекающихъ одно изъ другаго, всякое предшествующее можетъ быть названо внутреннею формою послѣдующаго. Напр. слово *язвить*, принимаемое въ переносномъ смыслѣ, значитъ собственно наносить раны, язвы; въ сл. *язва* всѣ признаки

раны обозначены, положимъ, болью; *язва*—то, что болить; боль въ неизвѣстномъ словѣ того-же корня названа жженіемъ: болить то, что горить, жжетъ (у Памвы Беринды слово *язва* объяснено словомъ жженіе). Допустимъ, что встрѣчаемый въ Санскритѣ корень всѣхъ этихъ словъ *indh*, жечь, горѣть, есть древнѣйшій, непредполагающій другаго слова и прямо образованный изъ междометія: что будетъ внутреннею формою этого слова? Разумѣется то, что связываетъ значеніе (т. е. здѣсь—образъ горѣнія и горящаго предмета, заключающій въ себѣ въ зародышѣ множество признаковъ) со звукомъ. Связующимъ звеномъ можетъ здѣсь быть только чувство, сопровождающее воспріятіе огня и непосредственно отраженное въ звукѣ *indh*. Чувствомъ и звукомъ, взятыми вмѣстѣ (потому-что безъ звука не было-бы замѣчено и чувство) человѣкъ обозначалъ полученное извнѣ воспріятіе. Такъ какъ чувство мыслимо только въ отдѣльномъ лицѣ и вполне субъективно, то мы принуждены и первое по времени собственное значеніе слова назвать субъективнымъ, тогда какъ выше собственное значеніе вообще, внутреннюю форму мы считали объективною стороною слова. — Пониманіе, упрощеніе мысли, переложеніе ея, если такъ можно выразиться, на другой языкъ, проявленіе ея вовнѣ начинается, стало-быть, съ обозначенія ея тѣмъ, что само невыразимо, хотя и ближе всего къ человѣку. Роль чувства не ограничивается передачею движенія голосовымъ органамъ и созданіемъ звука: безъ вторичнаго его участія не было-бы возможно самое образованіе слова изъ созданнаго уже звука. Если покажется вѣрнымъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ внутренняя форма ономато-поэтического слова есть чувство, то это самое нужно будетъ распространить и на всѣ остальные, хотя-бы при этомъ и встрѣтились нѣкоторыя, впрочемъ легко устранимыя недоразумѣнія. Разумѣется съ принятой нами точки не слѣдуетъ считать ономато-поэтическими всѣхъ словъ, обыкновенно называемыхъ этимъ именемъ. Слова, какъ *быкъ βούς*, имѣютъ уже внутреннюю форму не чувство, а одинъ изъ объективныхъ признаковъ

обозначаемого ими предмета: βους значить то, что издаеть звукъ *бу*; но эти слова предполагають уже названіе самаго звука ¹⁾, въ которомъ связью между воспріятіемъ внѣшняго (нечлено-раздѣльнаго) звука и выраженіемъ его въ звукахъ члено-раздѣльныхъ, символомъ воспріятія для самой души будетъ чувство, испытываемое ею при воспріятіи. Символизмъ уже въ самыхъ начаткахъ человѣческой рѣчи отличаетъ ее отъ звуковъ животныхъ и отъ междометій.

Въ созданіи языка нѣтъ произвола, а потому умѣстенъ вопросъ, на какомъ основаніи извѣстное слово значить то именно, а не другое. Если спросимъ о словахъ позднѣйшихъ формацій, то отвѣтъ можетъ быть приблизительно такой: *старъ* (корень *ста*, *р-з* суффиксы) значить старъ, а не молодъ, потому-что воспріятія старыхъ предметовъ представляли наиболѣе сходства съ воспріятіями, служившими содержаніемъ словъ отъ корня *ста*, стоять. Если пойдемъ дальше и спросимъ, отчего въ словахъ, признанныхъ первичными, извѣстный звукъ соотвѣтствуетъ тому, а не другому значенію, отчего корень *ста* значить стоять, а корни *ми*, *и* идти, а не наоборотъ; то и отвѣта нужно будетъ искать дальше, именно въ изслѣдованіи патогномическихъ звуковъ, предшествующихъ слову. Потому звукъ *ста* изданъ человѣкомъ при видѣ стоящаго предмета, или, что на тоже выйдетъ, при желаніи, чтобъ предметъ остановился, что чувство, волновавшее душу, могло сообщить органамъ только то, а не другое движеніе. Далѣе спрашивать не будемъ: что-бы сказать, почему такое-то состояніе души требуетъ для своего обнаруженія одного этого изъ всѣхъ движеній, возможныхъ для организма, нужно знать, какой видъ имѣють движенія въ самой душѣ и какъ вяжутся они между собою. Кому употребляемая о душѣ выраженія, заимствованныя отъ движеній внѣшняго міра, кажутся метафорами, годными только за неимѣніемъ другихъ, кто утверждаетъ,

¹⁾ Мы не говоримъ, будетъ-ли первичное слово для звука изображать его, какъ дѣйствіе, или какъ предметъ, потому-что при созданіи слова обѣ эти точки зрѣнія вовсе не существуютъ.

что нѣтъ сходства между механическими движеніями, положимъ, зрительныхъ нервовъ и ощущеніемъ зрѣнія и сопровождающимъ его удовольствіемъ; для того такая задача неразрѣшима. Поэтому остается, отказавшись заполнить пробѣлы между механическими движеніями и состояніями души, которыя не могутъ быть названы такими движеніями, принять за фактъ соотвѣтствіе извѣстныхъ чувствъ извѣстнымъ звукамъ и ограничить задачу простымъ перечисленіемъ тѣхъ и другихъ. Рѣшеніе этой задачи могло-бы показать, гдѣ оканчивается сходство языковъ, доказывающее одноплеменность говорящихъ ими народовъ, и начинается то, которое доказываетъ только единство человѣческой природы вообще; но такое рѣшеніе встрѣчаетъ столько препятствій, что кажется почти неисполнимымъ. Во первыхъ, нужно возвести всѣ слова къ первой по времени внутренней и внѣшней формѣ; во вторыхъ, слѣдуетъ обозначить первую внутреннюю форму каждаго слова, при чемъ неизбѣжны большія неточности, потому-что, какъ напр. назвать разные оттѣнки удивленія, которые первоначально выразились въ звукахъ съ общимъ значеніемъ, положимъ, *видѣть*, *свѣтить*? Наконецъ въ третьихъ, слѣдуетъ опредѣлить свойства первобытныхъ звуковъ. Относительно послѣдняго можно замѣтить, что не совѣмъ вѣрно искать соотвѣтствія чувствъ первобытнымъ звукамъ въ одной членораздѣльности послѣднихъ, независимо отъ ихъ тона, и утверждать подобно Гейзе ¹⁾, что *a* — общее выраженіе равномѣрнаго (*gleichschwebend*), тихаго, яснаго чувства, спокойнаго наблюденія, но вмѣстѣ и глупаго изумленія (*gaffen*, зѣвать); *y* — стремленія субъекта удалить отъ себя предметъ, чувства противодѣйствія, страха и т. п., а *и*, наоборотъ — выраженіе желанія, любви, стремленія приблизить къ себѣ предметъ, ассимилировать его воспріятіе. Въ звукѣ междометія кромѣ члено-раздѣльности, замѣчаемъ не одну ноту и не простое повышеніе или пониженіе голоса, на которое можно-бы не обращать вни-

¹⁾ System der Sprachwissenschaft v. K. W. L. Heyse. Berl. 1856. 77—80.

манія, а весьма сложныя сочетанія тоновъ, которыя также важны при опредѣленіи первоначальнаго значенія звуковъ, какъ и членораздѣльность.

Обыкновенно, спрашивая о причинахъ, по которымъ извѣстный звукъ имѣетъ въ словѣ такое-то значеніе, ищутъ вовсе не соотвѣтствія этого звука чувству сопровождающему воспріятіе, а сходства между звукомъ и воспріятіемъ, которое принимается за самый предметъ. Кому кажется яснымъ, почему звукоподражательныя слова, напр. *куковать*, *кукушка*, значать то, что они значать, тотъ и причины значенія незвукоподражательныхъ словъ долженъ искать въ сходствѣ ихъ звуковъ съ обозначаемыми предметами. Такой взглядъ встрѣчаемъ и у Гумбольта, который находитъ слѣдующія два основанія связи понятій (въ обширномъ смыслѣ этого слова) и звуковъ въ первичныхъ словахъ ¹⁾. 1) «Непосредственно звукоподражательное обозначеніе понятій. Здѣсь звукъ, издаваемый предметомъ, изображается на столько, на сколько нечленораздѣльный звукъ можетъ быть переданъ членораздѣльнымъ. Это какъ-бы живописное обозначеніе; подобно тому, какъ живопись изображаетъ предметъ, какъ онъ представляется глазу (т. е. даетъ только цвѣтное пространство извѣстныхъ очертаній, которое зритель дополняетъ самъ); такъ языкъ представляетъ предметъ, какъ онъ слышится уху» (т. е. даетъ только звукъ, упуская всѣ остальные признаки). Во всякомъ случаѣ здѣсь звукъ самъ по себѣ имѣетъ нѣчто общее съ предметомъ. 2) «Обозначеніе, подражающее предмету не прямо, а въ чемъ-то третьемъ, общемъ звуку и предмету. Этотъ способъ можно назвать символическимъ, хотя понятіе символа въ языкѣ гораздо обширнѣе ²⁾. Здѣсь для обозначенія предмета избираются звуки частью *сами по себѣ*, частью по сравненію съ дру-

¹⁾ То, что говорить Гумбольтъ о третьемъ способѣ обозначенія, по которому сходныя понятія получаютъ сходные звуки, сюда не относится, потому что при этомъ „не обращается вниманія на характеръ самихъ звуковъ“. Ueb. die Versch. 82.

²⁾ Потому что, какъ мы понимаемъ это мѣсто, значеніе во *всякомъ* словѣ обозначается символически.

гими, производяще на слухъ впечатлѣніе, подобное тому, какое самъ предметъ производитъ на душу; такъ звуки словъ *stehen, stätig, starr* производятъ впечатлѣніе чего-то прочнаго (des Festen), Санскритскій звукъ *li*, таять, разливаться,— жидкаго (der zerfliessenden), звуки словъ *nicht, nagen, Neid*—чего-то будто сразу и гладко отрѣзаннаго» (ср. наше «отказать—т. е. сказать нѣтъ—на отрѣзъ»). Такимъ путемъ предметы, производящіе сходныя впечатлѣнія, получаютъ слова съ преобладающими сходными звуками, какъ *wehen, Wind, Wolke, Wirren, Wunsch*, въ которыхъ звукомъ *W* выражается какое-то зыбкое, безпокойное неясное для чувствъ движеніе (*durcheinander gehende Bewegung*, напр. волненіе облаковъ, которыя катятся одно за другимъ и одно черезъ другое). Обозначеніе, основанное на извѣстномъ значеніи отдѣльныхъ звуковъ и цѣлыхъ ихъ разрядовъ, господствовало, быть можетъ, исключительно, при первобытномъ созданіи словъ» (*primitive Wortbezeichnung*)¹⁾. Изъ всего приведеннаго мѣста, какъ кажется, можно вывести, что не только первобытный человѣкъ, по мнѣнію Гумбольта, придавалъ звуку объективное значеніе и невольно ставилъ это послѣднее связью между звукомъ и предметомъ, но что и самъ Гумбольтъ раздѣляетъ этотъ взглядъ. Ему мало знать, что слова *stätig, starr* потому имѣютъ въ себѣ звуки *st*, что относятся къ корню *sta*: взятые отдѣльно отъ своего значенья въ словѣ, звуки эти имѣютъ для него характеръ постоянства, прочности, и уже потому очень приличны понятіямъ, обозначеннымъ упомянутыми словами. Отсюда вытекаетъ два вопроса: правъ ли наблюдатель, имѣющій предъ собою уже созданное слово, если въ самомъ звукѣ этого слова находитъ указаніе на обозначаемый имъ предметъ; и если правъ, то могло-ли такое стремленіе искать въ звукѣ самостоятельнаго значенія быть одною изъ силъ, необходимыхъ для образованія слова?

Что касается до перваго, то прежде всего слѣдуетъ признать за фактъ, что во всѣхъ людяхъ болѣе или менѣе

¹⁾ Ueb. die Versch. 80—81

есть склонность находить общее между впечатлѣніями различныхъ чувствъ. Вполнѣ убѣдительнымъ доказательствомъ существованія такой общечеловѣческой склонности можетъ служить языкъ, но разумѣется только для того, кто считаетъ всѣ фигурныя выраженія (а въ языкѣ, сказать между прочимъ, нѣтъ переносныхъ выраженій) не за роскошь и прихоть, а за существенную необходимость мысли. Въ славянскихъ языкахъ, какъ и во многихъ другихъ, вполнѣ обыкновенны сближенія воспріятій зрѣнія, осязанія и вкуса, зрѣнія и слуха. Мы говоримъ о жгучихъ вкусахъ, рѣзкихъ звукахъ; въ народныхъ пѣсняхъ встрѣчаются сравненія свѣта и громкаго, *яснаго* звука. Вѣроятно, тайное вліяніе языка навело слѣпорожденнаго на мысль, что красный цвѣтъ, о которомъ ему говорили, долженъ быть похожъ на звукъ трубы. Но и независимо отъ языка возможны подобныя сближенія. «Мы сравниваемъ, говоритъ Лоце, низкій тонъ съ темнотою, а высокій — со свѣтомъ, въ ряду гласныхъ мы видимъ сходство съ гаммою цвѣтовъ, а цвѣта для иной впечатлительной чувственности повторяютъ свойства вкусовъ. Конечно, большое различіе какъ тѣлесной организаціи, такъ и душевныхъ свойствъ различныхъ недѣлимыхъ дѣлаетъ невозможнымъ общее согласіе во всемъ этомъ; если, быть можетъ, еще для всякаго *a*, относится къ *y*, какъ черный цвѣтъ къ бѣлому, то не всякому *e* представляется похожимъ на желтый, *и* — на красный, *o* — на голубой цвѣтъ; точно такъ не всякій узнаетъ въ красномъ цвѣтѣ — ароматическую сладость, въ голубомъ водянистую кислоту, въ желтомъ металлическій вкусъ. Мы можемъ также согласиться, что, и для каждаго порознь сходства; замѣчаемыя между различными ощущеніями, основываются не на сравненіи непосредственнаго ихъ содержанія, а на ощущеніи (*Gewahrwerden*) болѣе слабого и скрытаго сходства потрясеній, какія испытываетъ отъ нихъ общее чувство. Но всѣ эти уступки не измѣняютъ значенія подобнаго взгляда на чувственныя воспріятія для человѣческаго развитія. Довольно, что въ каждомъ человѣкѣ есть стремленіе къ такимъ сравненіямъ; достига-

ются-ли этимъ результаты убѣдительные для всѣхъ, или нѣтъ, но во всякомъ случаѣ для самого сравнивающего мѣръ, воспринимаемый его чувствами, превращается въ игру явлений, въ которой отдѣльные образы указываютъ другъ на друга и на идеальное содержаніе, коему всѣ они служатъ выраженіями, лишь на столько различными по формѣ, что фантазія можетъ почувствовать единство изъ происхожденія. Пусть мы ошибаемся въ этихъ сравненіяхъ, принимая сходство нашего страданія отъ впечатлѣнія за средство собственного содержанія этихъ послѣднихъ; но все же слѣдуетъ помнить, что на такой ошибкѣ основана вся чувственность; повсюду она видитъ въ формахъ нашего внутренняго возбужденія природу вѣшнихъ для насъ предметовъ. Призраченъ-ли этотъ взглядъ, или нѣтъ, но онъ есть одна изъ естественныхъ стихій нашей чувственности и имѣетъ неизмѣримое вліяніе на все наше міросозерцаніе» ¹⁾).

Мы можемъ примѣнить это къ языку и сказать, что вполне законно видѣть сходство между извѣстнымъ членораздѣльнымъ звукомъ и видимымъ или осязаемымъ предметомъ, но должны замѣтить, что не слышали ни объ одномъ изъ подобныхъ сравненій, которое-бы имѣло сколько-нибудь научный характеръ: они, какъ кажется, могутъ быть необходимы и убѣдительны только для самого сравнивающего. Указанная Гумбольтомъ опасность впасть въ произволь при объясненіи символизма звуковъ, и не прійти къ результатамъ, имѣющимъ сколько-нибудь объективное значеніе, происходитъ между прочимъ отъ того, что нѣтъ возможности не пропустить ступеней, соединяющихъ предметъ со звукомъ. Очень шатки будутъ наши сравненія равномернаго тяготѣнія часовой гири съ круговращеніями стрѣлокъ, если мы упустимъ изъ виду, что тяжесть гири не непосредственно движетъ стрѣлку, а посредствомъ многихъ зубчатыхъ колесъ, передающихъ другъ другу и измѣняющихъ сообщенное ею движеніе. Во сколько-же разъ шатче будутъ наши сравненія

¹⁾ Lotze, Mikrokosm. II, 179—181.

звука и предмета, какъ воспріятій души, природа коей никогда не уяснится намъ до такой степени, какъ устройство механизма?

Впрочемъ допустимъ, что многіе совершенно согласно оцѣниваютъ значеніе звука въ словахъ позднѣйшихъ формацій, подобныхъ тѣмъ, какія Гейзе приводитъ въ примѣръ символическаго обозначенія (напр. klar, hell, trübe, dunkel, dumpf, spitz, mild и пр.) ¹⁾. Такое согласіе въ «одухотвореніи» звука фантазією можетъ происходить отъ того, что каждый находится при этомъ подъ вліяніемъ дѣйствительнаго значенія этихъ звуковъ, и судилъ-бы иначе, если-бы тѣ-же звуки имѣли другое значеніе. У насъ, въ примѣръ того, какъ языкъ для предметовъ и качествъ грубыхъ бралъ и грубые звуки, приводили когда-то между прочимъ слово *суровый*. Разумѣется, напирали особенно на *p*, отчего слово выходило дѣйствительно живописное, но забывали или не знали, что тоже *p* въ словахъ того-же корня *сырой*, *сыръ* никому не кажется суровымъ, что самое слово *суровый*, по всей вѣроятности, значило прежде жидкій и тогда не представляло никакого символизма звуковъ ²⁾. Судя по такимъ примѣрамъ, можно думать, что звукъ осмысливается не сразу; только по мѣрѣ того, какъ онъ сживается съ извѣстнымъ значеніемъ слова, человекъ открываетъ въ немъ необходимость его соединенія съ такою, а не другою мыслью. Точно такъ человекъ полагаетъ, что нужно дѣлать все, что потруднѣе, правою, а не лѣвою рукою, потому-что давно уже безсознательно исполняетъ это правило. Все это заставляетъ усомниться въ вѣрности мнѣнія, что непосредственное сходство звука съ чувственнымъ образомъ предмета есть средство соединенія представлений

¹⁾ System der Sprachwiss. 95.

²⁾ Обыкновенно символическое значеніе звука совпадаетъ не со внутренней формой, а съ тѣмъ значеніемъ слова, которое мы называли субъективнымъ. Такъ напр. внутренняя форма слова *милый* — вѣроятно представленіе мягкости (оно одного корня съ *молоть*), а символическое значеніе звука въ *милый* — это ощущеніе сходное съ тѣмъ, какое возбуждается въ насъ милымъ предметомъ. Иначе и не можетъ осмыслиться звукъ въ словахъ, въ которыхъ забыта внутренняя форма; но если эта форма помнится, то значеніе звука можетъ быть сходно и съ нею.

звука и предмета, предшествующее всякому другому, болѣе раннее, чѣмъ ассоціація этихъ представленій ¹⁾). Кажется, что символизмъ звука застаётъ готовымъ не только звукъ, но и слово съ его внутреннею формою, и для самаго образованія слова былъ не нуженъ. Онъ могъ быть причиною преобразованія звуковъ въ готовыхъ уже словахъ. Такъ обозначеніе множества и собирательности въ арабскомъ языкѣ посредствомъ вставки длинной гласной, обозначеніе прошедшаго времени и длительности посредствомъ удвоенія въ языкахъ индоевропейскихъ ²⁾, могли произойти подъ влияніемъ того-же чутья, которое заставляетъ протягивать гласную въ прилагательномъ (напр. хорошій), если имъ хотять выразить высокую степень качества.

VIII. Слово, какъ средство апперцепціи.

При созданіи слова, а равно и въ процессѣ рѣчи и пониманія, происходящемъ по однимъ законамъ съ созданіемъ, полученное уже впечатлѣніе подвергается новымъ измѣненіямъ, какъ-бы вторично воспринимается, т. е. однимъ словомъ, *апперципируются*. Прежде чѣмъ перейти къ психологическому значенію *слова*, остановимся на значеніи апперцепціи вообще, и начнемъ съ указанія на рядъ ея примѣровъ въ девятой и десятой главахъ 1-й части Мертвыхъ Душъ.

Дама, пріятная во всѣхъ отношеніяхъ, находя, что покупка Чичиковымъ мертвыхъ душъ выдумана только для прикрытія, и что дѣло въ томъ, что Чичиковъ хочетъ увезти губернаторскую дочку, по своему апперципируетъ, т. е. объясняетъ, понимаетъ представленія Чичикова и мертвыхъ душъ. Когда одна изъ дамъ находитъ, что губернаторская дочка манерна нестерпимо, что невидано еще женщины, въ которой бы было столько жеманства, что румянецъ на ней въ палець толщиной и отваливается, какъ штукатурка кусками;

¹⁾ Lazarus, Das Leb. der Seele, II 99—101.

²⁾ Ueb. die Versch. 83.

когда другая полагаетъ, напротивъ, что губернаторская дочка — статуя и блѣдна, какъ смерть: то обѣ онѣ различно апперципируютъ воспріятія, полученные ими въ одно время и первоначально весьма сходны. Точно такъ, когда инспектору врачебной управы, по поводу Чичикова и мертвыхъ душъ, приходятъ на мысль больные, умершіе въ значительномъ количествѣ въ лазаретахъ, предсѣдателю казенной палаты — неправильно совершенная купчая, и каждому изъ служащихъ лицъ города N — свои служебные грѣхи; когда, наконецъ, почтмейстеръ, не столько подверженный искушеніямъ со стороны просителей, и поэтому сохраняющій душевное равновѣсіе, необходимое для эстетическаго взгляда на предметъ, по тому же поводу раздражается исторіею о капитанѣ Копейкинѣ, то все это образцы различной апперцепціи приблизительно того же воспріятія. Во всѣхъ этихъ и имъ подобныхъ примѣрахъ сразу можно различить двѣ стихіи апперцепціи: съ одной стороны воспринимаемое и объясняемое, съ другой ту совокупность мыслей и чувствъ, которой подчиняется первое, и посредствомъ коей оно объясняется. Свойство постоянныхъ отношеній между этими стихіями можетъ показать, въ чемъ сущность апперцепціи вообще, и какой роли въ душевной жизни можемъ ожидать отъ слова.

Въ нѣкоторыхъ изъ указанныхъ примѣровъ можно замѣтить отождествленіе объясняемаго и объясняющаго. Напр. послѣ того, какъ Чичиковъ признанъ за губернаторскаго чиновника, присланнаго на слѣдствіе, или въ то время, какъ почтмейстеръ, задавши вопросъ, кто такой Чичиковъ, восклицаетъ: «это господа, сударь мой, никто другой, какъ капитанъ Копейкинъ!» — представленія Чичикова и губернаторскаго чиновника, Чичикова и Копейкина слились и до поры уже не различаются душею. Но не въ сліяніи воспріятій или представленій заключается апперцепція: во первыхъ, потому что объясненіе одной мысли другою въ этихъ примѣрахъ предшествуетъ ихъ сліянію, и слѣдовательно отлично отъ него, заключаетъ его въ себѣ, какъ подчиненный моментъ; во вторыхъ, потому что сліяніе возможно безъ аппер-

цепщи. Тагъ привычный видъ окружающихъ насъ предметовъ не вызываетъ насъ на объясненіе, не приводитъ въ движеніе нашей мысли, вовсе нами не замѣчается, а непосредственно сливается съ прежними нашими воспріятіями этихъ предметовъ. Если бы дама, которая везла къ другой только что услышанную новость, занята была приведеніемъ въ порядокъ своихъ мыслей, то она, какъ это часто съ нами случается, смотрѣла бы на знакомые ряды домовъ, и не замѣчала-бы ихъ, видѣла бы передъ собою лошадей, и не обратила бы вниманія скоро или медленно онѣ бѣгутъ, потому что новыя впечатлѣнія, воспринимаясь душою, безпрепятственно сливались бы съ прежними. Но рассказъ о новости былъ уже готовъ или, быть можетъ, дама не считала нужнымъ къ нему приготовляться и просто чувствовала непреодолимое побужденіе скорѣе сообщить его. Мысль о томъ, какой эффектъ произведетъ ея новость, требовала осуществленія (точно такъ, какъ мысль о пищѣ въ томъ, кому хочется ѣсть, требуетъ сліянія съ новыми однородными съ нею воспріятіями), но новыя воспріятія не мирились съ этою мыслью, и въ препятствіяхъ, какія находили бывшія въ душѣ воспріятія къ сліянію со входившими въ нее вновь, заключалась причина, почему эти послѣднія апперципировались, почему дама выразила свое неудовольствіе на то, что богатыня тянулась нестерпимо долго, и назвала ее проклятымъ строеніемъ, а кучеру сказала, что онъ несносно долго ѣдетъ. Такимъ образомъ рядъ извѣстныхъ намъ предметовъ a' , b' , c' , которые исподоволь представляются нашему зрѣнію, до тѣхъ поръ могутъ не замѣчаться, пока безпрепятственно сливаются съ прежними представленіями a , b , c ; если вмѣсто ожидаемаго представленія d появится не соответствующій ему предметъ d' , а неизвѣстный намъ x , то воспріятіе этого послѣдняго встрѣтитъ препятствіе къ сліянію съ прежнимъ и можетъ апперципироваться. Мы можемъ сказать въ такомъ случаѣ: «а! это новый домъ» и т. п.

Однако очевидно, что и не въ препятствіи къ сліянію заключается апперценція. Хотя вполнѣ обыкновенны случаи

апперцепции, состоящие только въ одномъ признаніи наличныхъ препятствій къ сліянію двухъ актовъ мысли, случаи, которые могутъ быть выражены общею формулою: это (воспріятіе, требующее объясненія) не то (то-есть не тождественно съ тѣмъ, чего мы ожидали) или *a* не есть *b*; но столь же часты и такіе случаи, когда препятствіе предшествуетъ объясненію и устраняется этимъ послѣднимъ. Тагъ въ извѣстномъ сравненіи положенія чиновниковъ города NN, ошеломленныхъ слухами о мертвыхъ душахъ и проч., съ положеніемъ школьника, которому сонному товарищи засунули въ носъ гусара: «онъ пробуждается, вскакиваетъ.... и не можетъ понять, гдѣ онъ, что съ нимъ», т. е. не можетъ апперципировать новыхъ воспріятій, потому что душа его во время сна занята была другимъ, и массы мыслей, которыя должны быть объясняющими, не могутъ воротиться въ сознаніе съ такою быстротою, съ какою душа поражается новыми впечатлѣніями. «Потомъ уже различаетъ онъ озаренныя косвеннымъ лучемъ солнца стѣны».... и проч., «и уже наконецъ чувствуетъ, что въ носу у него сидитъ гусарь». Въ чиновникахъ за такимъ одурѣніемъ слѣдуютъ вопросы («что за притча мертвыя души?» и проч.), которые, выражая и здѣсь, какъ и во всѣхъ случаяхъ, требованіе отчета, т. е. апперцепции, и сами по себѣ суть уже, впрочемъ, неполныя апперцепціи воспріятій въ словѣ. Спрашивая: - «это что такое?» и не имѣя въ мысли ни малѣйшаго указанія на отвѣтъ, мы тѣмъ не менѣе, судя по употребленнымъ нами словамъ, уже апперципируемъ впечатлѣніе какъ предметъ (это что), имѣющій извѣстныя качества (такое). Препятствіе къ сліянію такъ мало составляетъ сущность апперцепции, что напротивъ самая совершенная апперцепція та, которая не встрѣчаетъ препятствій, т. е. напимѣрь, мы лучше всего понимаемъ ту книгу, которая нами легко читается.

Взявши во вниманіе разнообразіе и неосновательность толковъ, возбужденныхъ слухомъ о мертвыхъ душахъ, скорѣе всего можно подуматъ, что апперцепція состоитъ въ видоизмѣненіи апперципируемаго. Это будетъ довольно близко

къ истинѣ; но слѣдуетъ помнить, что результатомъ апперцепціи можетъ быть не только заблужденіе, напр. что Чичиковъ есть капитанъ Копейкинъ или Наполеонъ, или что Наполеонъ есть антихристъ, но и истина. Кто вѣрно объясняетъ фактъ, тотъ его не переиначиваетъ, и если Довъ-Бихотъ, подъ вліяніемъ своей восторженной природы и рыцарскихъ романовъ, апперципируетъ крылья вѣтряныхъ мельницъ, какъ мечи гигантовъ, а стадо овецъ—какъ неприятельское войско, то его оруженосецъ, вслѣдствіе такого же процесса, видитъ только мельницы и барановъ. Самыя простыя и самыя несомнѣнныя для насъ истины, которыя по видимому прямо даются чувствами, на дѣлѣ могутъ быть слѣдствіемъ сложнаго процесса апперцепціи. Апперципируемое можетъ быть не совокупностью признаковъ, какъ Чичиковъ, губернаторская дочка, и не словомъ (то и другое возможно только при нѣкоторомъ душевномъ развитіи), а простѣйшимъ чувственнымъ воспріятіемъ, или одновременно-даннымъ, почти нераздѣлимымъ рядомъ такихъ воспріятій; точно такъ апперципирующее можетъ быть не сложнымъ душевнымъ явленіемъ (какъ въ одномъ изъ приведенныхъ примѣровъ—чувство, какое дамы питаютъ къ губернаторской дочкѣ, заставляющее приписывать ей свойства, противоположныя понятію дамъ о красотѣ), а однимъ какимъ-нибудь несложнымъ (по своимъ условіямъ) чувствомъ или немногими актами познавательной способности. Апперцепція—вездѣ, гдѣ данное воспріятіе дополняется и *объясняется* наличнымъ, хотя бы самымъ незначительнымъ запасомъ другихъ. Ребенокъ напр. только посредствомъ апперцепціи узнаетъ, что у него болитъ именно рука. Такое знаніе предполагаетъ уже въ душѣ образъ руки, какъ предмета въ пространствѣ; но этого еще мало: глядя на руку, я еще не знаю, что она именно болитъ, потому что зрѣніе одинаково безстрастно изображаетъ и больное и здоровое мѣсто. Также недостаточно одного чувства боли, потому что изъ него одного никакъ не выведемъ знанія, что болитъ рука. Непремѣнно нужно, чтобы ощущеніе боли, имѣющее опредѣленное мѣсто независимо отъ нашего

знанія объ этомъ, измѣнялось отъ прикосновенія къ больному мѣсту, чтобы къ этимъ впечатлѣніямъ осязанія присодинилось измѣненіе образа больнаго члена, сообщаемое зрѣніемъ. Это послѣднее измѣненіе произойдетъ непременно, потому что нельзя видѣть того мѣста напр. руки, которое ощупывается пальцами, или же и вся рука отъ прикосновенія къ больному мѣсту невольно перемѣнитъ положеніе. Такимъ образомъ знать, что болитъ рука, значитъ признавать свой членъ, въ которомъ боль, за одинъ и тотъ же съ тѣмъ, который доставляетъ такія-то впечатлѣнія зрѣнія и осязанія. Ощущеніе боли здѣсь узнается снова и повѣряется, дополняется, объясняется, однимъ словомъ—апперципируется ощущениями осязанія и зрѣнія ¹⁾).

И такъ апперцепція не всегда можетъ быть названа измѣненіемъ объясняемаго; но если это послѣднее имѣетъ мѣсто, то не должно считаться существеннымъ признакомъ апперцепціи, потому что есть всегда слѣдствіе сліянія, которое само несущественно. Поэтому удобнѣе опредѣлить апперцепцію болѣе общимъ выраженіемъ: она есть участіе извѣстныхъ массъ представленій въ образованіи новыхъ мыслей ²⁾). Послѣднее имѣетъ существенное значеніе, потому что всегда результатомъ взаимодѣйствія двухъ стихій апперцепціи является нѣчто новое, несходное ни съ одною изъ нихъ. Это опредѣленіе должно быть дополнено, потому что не показываетъ, какія именно массы мыслей должны быть объясняющими.

Въ душѣ бываетъ нѣсколько группъ, изъ коихъ каждая, повидимому, равно могла бы апперципировать данное воспріятіе, а между тѣмъ въ одномъ случаѣ, по поводу одного и того же, приходитъ въ сознаніе одна, въ другомъ—другая. Нельзя сказать напр., чтобы въ душѣ ученика не было ничего, съ чѣмъ бы могло внутреннимъ образомъ соединиться содержаніе латинскаго или греческаго классика,

¹⁾ Ср. Waitz, Lehrbuch der Psychol. 189.

²⁾ Объ апперцепціи см. Steinthal, zur Sprachphilos. Zeitschr. f. Philos. v. Fichte etc. XXXII, 74—7.

чтобы содержаніе это было для него недоступно, а между тѣмъ опытъ доказываетъ, что оно совершенно ускользаетъ отъ вниманія, т. е. не апперципируется, при затрудненіяхъ въ формахъ, при чтеніи съ грамматическою цѣлью. Можно углубляться въ формальные и лексическіе оттѣнки языка, запоминать при этомъ по частямъ, напр. цѣлыя народныя пѣсни, но, имѣя въ памяти всѣ данныя, не замѣчать общаго содержанія. Можно, какъ въ баснѣ, за козявками слона не примѣтить. Легко предположить причину такого явленія въ измѣняющейся отъ разныхъ обстоятельствъ *силѣ* апперципирующихъ массъ. Чѣмъ болѣе я приготовленъ къ чтенію извѣстной книги, къ слушанію извѣстной рѣчи, чѣмъ сильнѣе стало-быть апперципирующіе ряды, тѣмъ легче произойдетъ пониманіе и усвоеніе, тѣмъ быстрѣе совершится апперцепція. Однако чтеніе, требующее извѣстной сосредоточенности будетъ для меня бесполезно, если оно чѣмъ нибудь прерывается, или если сажусь за чтеніе подъ вліяніемъ постороннихъ впечатлѣній, ослабляющихъ дѣйствіе тѣхъ мыслей, которыми должно объясняться то, что я читаю. Еслибъ покупка мертвыхъ душъ не была для чиновниковъ города NN дѣломъ неслышаннымъ, то и недоумѣніе ихъ, при слухѣ о такой «негоціи» Чичикова было бы невозможно, и вопросы «что за притча эти мертвыя души?» означающіе, что воспріятіе ищетъ, но не находитъ апперцепціи, не имѣли бы мѣста.

«Апперцепція есть участіе *сильнѣйшихъ* представленій въ созданіи новыхъ мыслей»; но въ чемъ именно состоитъ эта сила, условливающая большую или меньшую легкость вліянія представленій на новыя или возобновленныя въ сознаніи воспріятія? Такой вопросъ и предшествующее ему опредѣленіе предполагаетъ выведенное изъ опыта убѣжденіе, что, выражаясь метафорически, все находящееся въ душѣ расположено не на одномъ планѣ, но или выдвинуто впередъ, или остается вдали. Если бы въ извѣстное мгновеніе данное воспріятіе могло быть въ одинаковыхъ отношеніяхъ ко всѣмъ рядамъ представленій (которые слѣдуетъ разсматривать какъ

отдѣльныя, но нелишенные взаимной связи единицы), то оно вдругъ апперципировалось бы всѣми этими рядами и, быть-можетъ, мысль наша разомъ обняла бы нѣсколько различныхъ результатовъ апперценціи. Тоже было бы, если бы нѣсколько воспріятій, ничѣмъ не связанныхъ между собою и не составляющихъ для насъ одного цѣлаго, одновременно апперципировались одною массою представлений. Но на дѣлѣ не такъ: одна изъ дамъ, напр., во время разговора съ другою увѣрена только въ томъ, что румяны обваливаются съ губернаторской дочки, какъ штукатурка; другое заключеніе въ эту минуту для нея невозможно, и, наоборотъ, другое заключеніе, къ которому она могла бы прійти при другихъ обстоятельствахъ, непременно исключило бы это. Вообще, въ каждое мгновеніе жизни все, что есть въ душѣ, распадается на двѣ неравныя области; одну обширную, которая намъ неизвѣстна, но не утрачена для насъ, потому что многое изъ нея приходитъ намъ на мысль безъ новыхъ воспріятій извнѣ; другую—извѣстную намъ, находящуюся въ сознаниі, очень ограниченную сравнительно съ первою. Сознаніе—явленіе, совершенно отличное отъ самосознанія (которое добывается человѣкомъ поздно, тогда какъ сознаніе есть всегдашнее свойство его душевной жизни), опредѣляютъ какъ совокупность актовъ мысли, дѣйствительно совершающихся въ данное мгновеніе ¹⁾. Это опредѣленіе предполагаетъ; что все въ душѣ внѣ сознанія не есть дѣйствительная мысль (представленіе въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова), а только стремленіе къ ней (*ein Streben vorzustellen*); что то мѣняется въ самой мысли въ то время, какъ она входитъ въ сознаніе ²⁾; но что именно—врядъ ли можно будетъ ког-

¹⁾ Hebbart's sämmtl. Werke V, 1, 18: „die Gesamtheit alles gleichzeitigen wirklichen Vorstellens“.

²⁾ Само-собою, что какъ здѣсь, такъ вообще въ психологіи, слова, указывающія на пространственныя отношенія явленій, имѣютъ только символическое значеніе. Сознаніе не есть сцена, на которую всходятъ представленія и гдѣ за тѣснотою не могутъ многія вдругъ помѣститься; бессознательность не есть пространство за кулисами, куда удаляются представленія, вытѣсняемая со сцены. Сознаніе не есть также свѣтъ, то озаряющій по неизвѣстнымъ причинамъ тѣ

да-либо сказать, потому что для опредѣленія разницы между двумя явленіями нужно знать оба, а знаемъ мы только мысль, перешедшую въ сознаніе, сложившую съ себя тѣ свойства, какія она имѣла въ бессознательномъ состояніи. Однако, устраняя вопросъ о томъ, что была данная мысль до своего появленія въ сознаніи, мы можемъ въ томъ видѣ, въ какомъ она представляется намъ, искать причины тому, что она чаще другихъ появляется въ сознаніи и легче другихъ апперципируетъ новыя воспріятія.

Степень вліянія однихъ мыслей на другія можетъ, по-видимому, зависѣть или отъ силы сопровождающаго ихъ чувства, или отъ ихъ ясности. Разсмотримъ порознь эти условія. Во первыхъ, получаемыя извнѣ чувственныя воспріятія имѣютъ безъ сомнѣнія различныя степени силы, потому что ни одно изъ нихъ не изображаетъ вполне безразлично своего содержанія, но каждое чувствуется нами какъ большее или меньшее потрясеніе нашего существа, соразмѣрное ин-

или другія представленія, то оставляющій ихъ во мракѣ; не есть внутреннее око, столь же отличное отъ того, на что обращено, какъ глазъ нашъ—отъ предмета, на который смотритъ. Сознаніе—не посторонняя для представленийъ сила, а ихъ собственное состояніе.

Случается, когда мы заняты чѣмъ-нибудь слышать бой часовъ, не обратить вниманія на число ударовъ и, однако, послѣ вѣрно вспомнить это число; не дослышавъ слова, мы просимъ говорившаго повторить, но до его отвѣта уже успѣли дополнить недослышанное, и не нуждаемся въ повтореніи. Эти и имъ подобныя явленія могутъ навести на мысль, что бессознательныя *впечатлѣнія*, содержаніе коихъ хотя и есть въ душѣ, но столь же намъ чуждо, какъ и не дѣйствующіе на насъ предметы внѣшняго міра, предшествуютъ сознательнымъ *воспріятіямъ*, что сознаніе относится къ бессознательности, какъ дѣйствіе къ страданію. Но въ приведенныхъ примѣрахъ впечатлѣнія находятся въ сознаніи съ перваго раза: звуки недослышаннаго слова схвачены нами, но неполнѣ; бой часовъ—тоже, но какъ сумма испытанныхъ нами потрясеній, а не какъ число ударовъ, по которому мы узнаемъ время. Апперцепція, объясненіе и дополненіе слѣдуютъ здѣсь за перцепціею, но и эта послѣдняя есть уже дѣятельность души, есть уже сознаніе. Какъ физическій атомъ уже дѣйствуетъ въ то время, какъ получаетъ потрясеніе извнѣ, и страданіе его есть уже воздѣйствіе; такъ и извѣстное состояніе души мы можемъ назвать страдательнымъ впечатлѣніемъ, если имѣемъ въ виду его внѣшнія причины; но должны считать живымъ воздѣйствіемъ, если вспомнимъ, что та же причина въ другой натурѣ вызвала бы другое состояніе. Такимъ образомъ въ сознаніи и въ бессознательности мы можемъ видѣть и дѣятельность и страданіе, и это, конечно, не говорить намъ, что они такое сами по себѣ.

тенсивности этого содержания. Громкій звукъ и яркій свѣтъ не только даютъ намъ большее содержаніе, чѣмъ тихій звукъ и слабое мерцаніе, но и воспріятіе первыхъ дѣйствуетъ на насъ сильнѣе, чѣмъ воспріятія послѣднихъ. Такимъ образомъ можно сравнивать не только однородныя, но и разнородныя ощущенія (напр. чувство, испытываемое при сильномъ звукѣ, слабѣе того, которое сопровождаетъ воспріятіе слабаго свѣта). Очень вѣроятно, что въ душѣ еще впервые подверженной дѣйствию внѣшнихъ вліяній, не управляемой воспоминаніемъ прежнихъ впечатлѣній,—болѣе сильныя ощущенія будутъ вытѣснять слабѣйшія. Какъ взоръ невольно устремляется на самыя свѣтлыя точки извѣстной поверхности, такъ и вниманіе поглощается ими въ ущербъ болѣе темнымъ. Отсюда можно заключить, что если бы и въ воспоминаніи чувство, сопровождавшее впечатлѣнія, сохраняло свою силу, то воспоминаніе сильнѣйшее въ этомъ смыслѣ апперципировало бы новыя воспріятія легче, чѣмъ слабѣйшее. Но, говоритъ Лоце, «въ душѣ, воспитанной опытомъ, встрѣчаемъ уже болѣе сложныя явленія. Легкій шорохъ можетъ отвлечь наше вниманіе отъ громкаго шума и вообще вліянія воспоминаемыхъ воспріятій на направленіе нашей мысли не соразмѣрно силѣ ихъ чувственного содержанія. Степень интереса, который они получаютъ въ нашихъ глазахъ съ теченіемъ жизни, зависитъ уже не отъ нихъ самихъ, а отъ цѣны, какую они имѣютъ для насъ, какъ предзнаменованія другихъ явленій, или указанія на нихъ». «Воспоминаніе, вѣрно передавая качество и интенсивность содержанія прежнихъ впечатлѣній, не повторяетъ въ то же время потрясеній, которыя мы отъ нихъ испытывали, а если и повторяетъ, то развѣ такъ, что къ воспроизведенному образу содержанія присоединяетъ другой образъ возбужденнаго имъ прежде чувства. Раскаты грома въ воспоминаніи, какъ бы ясно ни передавало оно ихъ свойства и силу, не болѣе насъ потрясаютъ, чѣмъ равно ясное воспоминаніе самаго слабаго звука; быть можетъ, при этомъ мы вспоминаемъ о сильномъ потрясеніи, причиненномъ намъ громкимъ звукомъ, но самое это воспо-

минаніе дѣйствуетъ на насъ не сильнѣе воспоминанія о слабомъ потрясеніи. Мы помнимъ различный вѣсъ двухъ предметовъ, но воспоминаніе о большой тяжести одного не тяжеле для насъ воспоминанія о меньшей тяжести другаго ¹⁾».

Примѣры эти хороши, однако не могутъ убѣдить въ томъ, въ чемъ бы должно; рядомъ съ ними слѣдуетъ поставить другіе, доказывающіе совершенно противное. Бываетъ достаточно самаго незначительнаго обстоятельства, чтобы пробудить воспоминаніе о потерѣ любимаго человѣка и неразлучную съ этимъ печаль. Легкость воспоминанія въ этомъ случаѣ мы ставимъ въ зависимость отъ важности потери и силы принесеннаго ею чувства, и, какъ кажется, не ошибаемся: потеря напр. перчатки скоро забывается, потому что не велика сила произведеннаго этимъ неудовольствія. Пословица «пуганная ворона и куста боится» въ переводѣ на болѣе отвлеченный языкъ значитъ, что чѣмъ сильнѣе первоначальный испугъ, тѣмъ скорѣе мысль объ опасности апперципируетъ новыя воспріятія. Такъ въ Мертвыхъ Душахъ и тотъ, кто счелъ Чичикова за губернаторскаго чиновника, и почтмейстеръ, нѣкоторое время принимавшій его за Копейкина, — оба вѣроятно видали на вѣку ревизіи, но вспомнилъ ихъ, по поводу Чичикова, только первый между прочимъ потому, что имѣлъ причины ихъ бояться. По этому можно принять силу первоначальнаго чувства за обстоятельство, обуславливающее степень вліянія связанной съ нимъ мысли на другія, но слѣдуетъ сдѣлать оговорку, что это вліяніе чувства можетъ въ свою очередь поддерживаться или разрушаться отношеніями, въ какія стало соединенное съ нимъ содержаніе къ другимъ. Время между горестнымъ для насъ событіемъ и данною минутою можетъ быть различно заполнено: при однихъ условіяхъ это событіе продолжаетъ возвращаться въ сознаніе и бросать тѣнь на текущую жизнь, а при другихъ и сопровождавшее его чувство, и само оно забылось, потому что мысль получила другое направленіе.

¹⁾ Lotze, Mikrokosm. I, 222—4.

Если были психическія средства спасти разсудокъ того, кто помѣшался на неудачно поставленной картѣ, то они состояли въ томъ, чтобы разрознить мысли о поразившемъ его событіи, привести ихъ въ болѣе благоприятныя отношенія къ другимъ, и удалить отъ сознанія. Такимъ образомъ сила чувства, какъ причина силы апперципирующихъ массъ, указываетъ на другую причину, именно—на болѣе или менѣе тѣсную связь между стихіями этихъ массъ.

Во вторыхъ, относительно ясности представленій, намъ кажется вполне убѣдительнымъ слѣдующее мнѣніе Лоце: «полагаютъ обыкновенно, что одно и тоже содержаніе можетъ быть представлено съ безконечно-различными степенями ясности, что, только проходя эти степени и постепенно затемняясь, представленіе исчезаетъ изъ сознанія. Но это—описаніе событія, котораго никто никогда не наблюдалъ, потому что вниманіе, съ какимъ мы наблюдаемъ, сдѣлало бы самое это событіе невозможнымъ. Уже въ послѣдствіи, замѣтивъ, что извѣстнаго представленія нѣкоторое время не было въ сознаніи, мы отвѣчаемъ себѣ на вопросъ, какъ оно исчезло, этою догадкою о его постепенномъ угасаніи, о которомъ дѣйствительное наблюденіе не говоритъ намъ ровно ничего. Если припомнимъ внутреннее состояніе, въ какомъ мы находились, когда извѣстное сильно возбужденное представленіе значительное время было въ нашемъ сознаніи, и затѣмъ, повидимому, исподоволь утрачивалось, то найдемъ, что оно не постепенно затемнялось, а съ рѣзкими перерывами—то появлялось въ сознаніи, то исчезало. Новое впечатлѣніе, содержаніе коего было какъ нибудь связано съ прежнимъ, мгновенно снова приводило его на память; другое впечатлѣніе, поражающее своею новостью, опять его вытѣсняло. Это прежнее представленіе похоже было на плывущее тѣло, которое то мгновенно поглощается волнами, то столь же быстро поднимается. То, что мы называемъ постепеннымъ затемнѣніемъ—частью возрастающіе промежутки между появленіями представленія, частью другая особенность, о которой ниже».

«Если раздѣлимъ представленія на простыя чувственные воспріятія и на сложные изъ нихъ образы, то не въ состояніи будемъ сказать, въ чемъ состоитъ различіе силы первыхъ, если не въ различіи содержанія. Звука одной и той же высоты и силы, того же инструмента, мы не можемъ себѣ представить болѣе или менѣе ясно; мы или представляемъ его, или не представляемъ, или наконецъ ошибаемся въ своихъ предположеніяхъ, принимая представленіе болѣе сильнаго или слабаго, слѣдовательно другаго звука, за болѣе сильное и слабое представленіе одного и того же. Точно такъ одного и того же оттѣнка цвѣта при одномъ освѣщеніи мы не можемъ представить съ большею или меньшею ясностью; но, конечно, если этотъ оттѣнокъ указанъ намъ словомъ или описаніемъ, мы можемъ колебаться въ выборѣ между воспоминаніями нѣсколькихъ сродныхъ цвѣтовъ, не зная, какой именно изъ нихъ нуженъ. Тогда объясняемъ мы такое состояніе тѣмъ, что у насъ есть представленіе, но только не ясное, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ мы его не имѣемъ и только высккиваемъ изъ нѣсколькихъ, вмѣстѣ съ числомъ коихъ растетъ наша неувѣренность и мнимая неясность представленія».

Еще невѣроятнѣе, чтобы сложные образы исподоволь блѣднѣли, удерживая всѣ свои черты; напротивъ, они затемняются только разлагаясь и разрушаясь.

Въ воспоминаніи забываются извѣстныя, менѣе замѣченныя части видѣннаго предмета и ихъ связь съ другими; при попыткѣ возстановить въ памяти этотъ образъ, мы въ недоумѣніи колеблемся между различными возможностями заполнить происшедшіе такимъ путемъ пробѣлы, и связать частности, еще ясно представляемыя нами порознь. Такимъ образомъ появляется мнимая неясность представленій, которая увеличивается въ прямомъ отношеніи къ обширности поля, предоставленнаго нашей дополняющей фантазіи. Напротивъ, вполне ясны представленія, коихъ части мыслимы всѣ и притомъ съ полною опредѣленностью взаимныхъ отношеній, и эта ясность сама по себѣ не можетъ ни увели-

чиваться, ни уменьшаться. Нерѣдко намъ кажется, что можетъ увеличиться интенсивность представленія, содержаніе коего давно намъ вполне извѣстно, но на дѣлѣ въ такихъ случаяхъ пополняется самое это содержаніе. Какъ затемняется оно отъ пробѣловъ, уменьшающихъ его, такъ, повидимому, уясняется, если, сверхъ его самого, входятъ въ сочиненіе еще разнообразныя отношенія, со всѣхъ сторонъ связывающія его съ другимъ содержаніемъ. Нельзя болѣе или менѣе представлять кругъ или треугольникъ: мы или имѣемъ ихъ вѣрный образъ или не имѣемъ; тѣмъ не менѣе они становятся яснѣе, когда съ увеличеніемъ нашихъ геометрическихъ познаній, вмѣстѣ съ этими фигурами припоминаются и ихъ многочисленныя и важныя отношенія. Въ этомъ смыслѣ мы допускаемъ различіе въ степеняхъ ясности. По этому то, что прежде живо намъ представлялось, становится для насъ менѣе яснымъ тогда, когда, почему бы ни было, перестаетъ приходить намъ на память все то, съ чѣмъ было связано въ минуты своей наибольшей живости, на связи съ чѣмъ въ сознаніи основана была самая эта живность ¹⁾. «Ясность представленій (и степень ихъ вліянія на другія) состоитъ не въ большей или меньшей интенсивности нашего знанія, а въ экстенсивной полнотѣ ихъ содержанія, въ измѣнчивомъ богатствѣ постороннихъ стихій, соединенныхъ съ этимъ содержаніемъ».

Нельзя не согласиться и съ точки зрѣнія послѣдователей Гербарта, что распаденіе самая очевидная для насъ причина помраченія сложныхъ представленій, и наоборотъ, ихъ полнота и обширность связей съ другими—причина не только ихъ ясности, но и большаго или меньшаго вліянія на другія. Столь же несомнѣнно, что постепенное ослабленіе въ воспоминаніи простаго чувственного воспріятія, подобное затиханію звука и ослабленію цвѣта, не есть фактъ, сообщаемый намъ самонаблюденіемъ. Ослабѣвшій звукъ той же высоты есть для насъ уже другое представленіе. Но, не

¹⁾ Lotze, Mikr. I, 224—227.

ошибаемся ли мы въ этомъ, слѣдуетъ ли, согласно съ Дробиншевымъ, принять ослабленіе интенсивности представленія, какъ дѣятельности души, независимое отъ измѣненія самаго ихъ содержанія, или же отвергнуть его вмѣстѣ съ Лоце — это для насъ менѣе важно. Довольно, что сила вліянія представленийъ на другія соразмѣрна ихъ ясности въ томъ смыслѣ, какъ принимаетъ Лоце.

Здѣсь къ опредѣленію апперцепціи, какъ участія сильнѣйшихъ массъ въ образованіи новыхъ мыслей, можемъ уже прибавить, что сила апперципирующихъ массъ тождественна съ ихъ организованностью. Отъ степени этой послѣдней зависитъ и большая широта сознанія, ограниченность коего мы приняли за исходное положеніе при опредѣленіи силы объясняющихъ мыслей.

Говоря о предѣлахъ сознанія, кстати замѣтимъ два случая. 1) При непосредственномъ воспріятіи чувственныхъ впечатлѣній сознаніе ограничено только свойствами внѣшнихъ возбужденій и самихъ органовъ. Мы не воспринимаемъ въ одно время нѣсколькихъ вкусовъ или запаховъ не потому, что различныя впечатлѣнія смѣшиваются въ душѣ, а потому, что душа получаетъ уже извнѣ, такъ сказать, одинъ ихъ итогъ. Но посредствомъ зрѣнія мы получаемъ, разомъ и не смѣшивая, впечатлѣнія столькихъ цвѣтныхъ точекъ, сколько ихъ заключается въ пространствѣ, какое отразилось въ зрачкѣ, почти тоже посредствомъ осязанія. Въ одно мгновеніе отъ всѣхъ чувствъ разомъ мы можемъ получать многія впечатлѣнія, которыя всѣ могутъ находиться въ сознаніи, потому что хотя мы не въ состояніи дать себѣ въ нихъ отчета въ самое время воспріятія, но можемъ ихъ припомнить впослѣдствіи.

2) Ограниченность сознанія, независимая отъ внѣшнихъ причинъ, гораздо яснѣе обнаруживается при воспоминаніи уже воспріятого. «Кажется, говоритъ Лоце, будто только напоръ впечатлѣній внѣшняго міра насильно расширяетъ сознаніе, и что, предоставленное самому себѣ, оно такъ суживается, что, повидимому, представляетъ разнообразное не

одновременнымъ, а только послѣдовательнымъ во времени ¹⁾». Въ такомъ видѣ фактъ не представляетъ сомнѣнія, но при ближайшемъ его разсмотрѣніи мнѣнія расходятся. Лоце полагаетъ, что «хотя было бы очень трудно рѣшить непосредственнымъ наблюденіемъ, точно ли могутъ нѣсколько представлений въ одно время находиться въ сознаниі, или же это только призракъ, происходящій отъ быстроты ихъ смѣны; но фактъ, что вообще мы можемъ *сравнивать*, заставляетъ насъ принять возможность одновременности. Кто сравниваетъ, тотъ не переходитъ только отъ мысли объ одномъ изъ членовъ сравненія къ мысли о другомъ; чтобы совершить сравненіе, онъ долженъ совмѣстить въ одномъ недѣлимомъ сознаниі оба эти члена, и вмѣстѣ — форму своего перехода отъ одного къ другому. Когда хотимъ сообщить другому извѣстное сравненіе, то свойствами языка мы принуждены произносить одно за другимъ имена двухъ членовъ сравненія и обозначеніе отношенія между ними. Въ этомъ причина заблужденія, будто и въ самомъ сообщаемомъ сравненіи есть такая послѣдовательность; но, произнося одно за другимъ, мы рассчитываемъ на то, что въ сознаниі слушающаго наша рѣчь произведетъ не три раздѣльныя представленія, а одно представленіе отношенія между двумя другими. Хотя мы привыкли и безмолвному теченію нашей мысли придавать форму рѣчи, но очевидно и здѣсь послѣдовательность во времени, въ какой вяжутся между собой слова для нашихъ представлений, есть только изображеніе отношеній, уже прежде замѣченныхъ нами между ихъ содержаніями; эта привычка ко внутренней рѣчи собственно замедляетъ ходъ мысли, разлагая въ послѣдовательный рядъ то, что первоначально было одновременнымъ».

«Эти дѣйствія познанія, ручаясь намъ за одновременность многихъ представлений, вмѣстѣ съ этимъ указываютъ на ея условія. Сознаніе не имѣетъ мѣста только для безсвязной множественности; оно не тѣсно для разнообразія,

¹⁾ Lotze, ib. •

члены коего раздѣлены для насъ извѣстными отношеніями, приведены въ порядокъ и связаны. Намъ не удастся представить разомъ два впечатлѣнія безъ взаимнаго ихъ отношенія; сознанию нужно представленіе своего пути отъ одного къ другому; ему легче, при помощи этого представленія перехода, охватить большее множество, чѣмъ меньшее — безъ него. Поэтому способность сознанія обнимать многое усовершенна. Одновременные звуки музыки всякому представляются такими, но врядъ ли ихъ вспомнить тотъ, для кого они были безсвязнымъ множествомъ; музыкально же образованному уху они съ перваго разу представляются обильнымъ отношеніями цѣлымъ, коего внутренняя организація приготовлена предшествующимъ теченіемъ мелодіи. Всякій пространственный образъ прочнѣе удерживается въ памяти, если мы въ состояніи разложить его наглядное впечатлѣніе въ описаніе. Говоря, что извѣстная часть зданія покоится на другой, поддерживается третьей, склоняется подъ такимъ то угломъ къ четвертой, мы прежде всего увеличиваемъ число представленій, которыя намъ слѣдуетъ удержать въ памяти; но въ такомъ словесномъ выраженіи посредствомъ предложений, одновременность частей превращается въ рядъ ихъ взаимодействій, которыя явственнѣе ихъ связываютъ, чѣмъ нераздѣльный чувственный образъ. Чѣмъ выше развитіе духа, чѣмъ тоньше отношенія, которыми онъ связываетъ между собою отдѣльныя мысли, тѣмъ болѣе расширяется сознаніе даже для такихъ представленій, которыя связаны между собою уже не пространствомъ или временемъ, а внутреннею зависимостью» ¹⁾).

Лоце основывается во всемъ этомъ на вѣрной мысли, что одна смѣна представленій въ сознаніи, какъ бы она ни была быстра, не въ состояніи объяснить возможности схватить ихъ отношенія. Если въ то время, какъ въ сознаніи есть *a*, въ немъ совсѣмъ не можетъ находиться *b*, то, во

¹⁾ Lotze, Mikrok. I, 232—3.

первыхъ, кромѣ внѣшнихъ возбужденій, не будетъ никакихъ основаній для перехода отъ *a* къ *b*, во вторыхъ отношеніе $a=b$ состояться не можетъ. Но онъ представилъ одну только сторону явленія, тогда какъ въ немъ двѣ, повидимому исключаютъ другъ друга. Чтобъ понимать конецъ книги, въ которой послѣдующее вытекаетъ изъ предъидущаго, мы должны совмѣстить въ сознаниі все предшествующее; а между тѣмъ не трудно замѣтить, что по мѣрѣ, какъ при чтеніи мы подвигаемся впередъ, все прочтенное ускользаетъ изъ нашего сознаниа. Геометрическая теорема внѣ связи съ предъидущимъ не имѣетъ для насъ смыслу, а между тѣмъ никто не скажетъ, чтобъ, понимая ее, онъ въ то же время представлялъ себѣ всѣ предшествующія. Даже больше: въ сознаниі не отразится какъ одновременный пространственный образъ самый немногосложный рядъ заключеній, направленныхъ къ извѣстному намъ выводу, и это есть свойство не языка, безъ котораго въ подобныхъ случаяхъ обойтись трудно, но возможно. Хотя сознание и не совмѣщаетъ въ себѣ одновременно не только многихъ, но даже двухъ членовъ сравненія, но членъ сравненія, находящійся внѣ его предѣловъ, обнаруживаетъ замѣтное вліяніе на тотъ, который въ сознаниі. Въ ту минуту, какъ произносимъ послѣднее слово предложенія, мы мыслимъ непосредственно только содержаніе этого слова; однако это содержаніе указываетъ намъ на то, къ чему оно относится, изъ чего оно вытекло, т. е. прежде всего—на другія, предшествующія слова того же предложенія, потомъ—на смыслъ періода, главы, книги. Легче всего намъ припомнить, почему было сказано только-что произнесенное слово; нѣсколько болѣе напряженія требуетъ попытка найти его мѣсто въ цѣломъ ряду мыслей, напр. нужно перечестъ періодъ, чтобы понять, что значить встрѣченное подъ конецъ его мѣстоименіе и т. д. Можно понимать это такъ, что хотя нѣтъ степеней ясности представленій, находящихся въ сознаниі, но за «порогомъ сознаниа» одни представленія имѣютъ болѣе замѣтное вліяніе на познаваемое, другія меньше; первыя легче возвращаются въ

сознаніе, вторыя—труднѣе ¹⁾, и наконецъ то, что ничѣмъ не связано съ мыслью, занимающею насъ въ эту минуту, вовсе не можетъ прийти на умъ въ слѣдующую, если внѣшнія впечатлѣнія не прервутъ теченія мысли и не дадутъ ему новаго направленія. Каждый членъ мыслимаго ряда представленій вмѣстѣ съ собою вноситъ въ сознаніе результатъ всѣхъ предшествующихъ, и тѣмъ многозначительнѣе для насъ этотъ результатъ, чѣмъ многостороннѣе связи между предшествующими членами. Такъ общій выводъ разсужденія или опредѣленіе обсуживаемаго предмета, которое должно въ немногихъ, полновѣсныхъ словахъ повторить намъ все предшествующее, достигнетъ своей цѣли, будетъ понятно только тогда, когда это предшествующее уже организовано нашею мыслию; иначе—опредѣленіе будетъ имѣть только ближайшій грамматическій смыслъ.

И такъ, примемъ ли мы вмѣстѣ съ Лоце, что сознаніе обнимаетъ рядъ мыслей, какъ нѣчто одновременное, подобно глазу, который разомъ видитъ множество цвѣтныхъ точекъ, или же—что сознаніе только переходитъ отъ одной мысли къ другой, но непонятнымъ образомъ видоизмѣняетъ эту послѣднюю и совмѣщаетъ въ ней все предшествующее: во всякомъ случаѣ *расширеніе* его, какъ-бы ни понимать это слово, зависитъ отъ той же причины, отъ которой и сила апперципирующихъ массъ, именно отъ близости отношеній между стихіями этихъ массъ и отъ количества самихъ стихій.

Основные законы образованія рядовъ представленій—это *ассоціація* и *слиянiе*. Ассоціація состоитъ въ томъ, что разнородныя воспріятія, данныя одновременно, или одно вслѣдъ за другимъ, не уничтожаютъ взаимно своей самостоятельности, подобно двумъ химически сроднымъ тѣламъ, образующимъ изъ себя третье, а, оставаясь сами-собою,

¹⁾ Штейнталь (Assimil. und Attraction. Zeitschrif. f. Völkerpsych. B. I, 107—117) называетъ состояніе представленій несознаваемыхъ, но готовыхъ перейти въ сознаніе, дрожаніемъ (Schwingende Vorstellungen).

слагаются въ одно цѣлое. Два цвѣта, данные вмѣстѣ нѣсколько разъ, не смѣшиваясь между собою, могутъ соединяться такъ, что мы одного представить себѣ не можемъ, не представляя другаго. Сліяніе, какъ показывается самое слово, происходитъ тогда, когда два различныя представленія принимаются сознаниемъ за одно и то же, напр. когда намъ кажется, что мы видимъ знакомый уже предметъ, между тѣмъ, какъ передъ нами совсѣмъ другой. Новое воспріятіе, сливаясь съ прежнимъ, непременно или вводитъ его въ сознание или, по крайней мѣрѣ, приводитъ въ ненонятное для насъ состояніе, которое назовемъ движеніемъ; но такъ какъ это прежнее воспріятіе было дано вмѣстѣ, или вообще находилось въ извѣстной связи съ другими, то входятъ въ сознание и эти другія. Такъ посредствомъ сліянія образуется связь между такими представленіями, которыя первоначально не были соединены ни одновременностью, ни послѣдовательностью своего появленія въ душѣ. Вмѣстѣ съ такимъ средствомъ, вызывающимъ въ сознание нѣкоторыя изъ прежнихъ представленій, дано средство удалять другія: если новое воспріятіе *B* имѣетъ наиболѣе общихъ точекъ не съ *B*, которое въ эту минуту находится въ сознаниі, а съ однимъ изъ прежнихъ воспріятій именно съ *A*, то *B* будетъ вытѣснено изъ мысли, посредствомъ привлекаемаго въ нее *A*. *A* и *B* находятся въ связи, первое съ *Г*, *Д*, *Е*, второе съ *Ж*, *З*, *И*—и могутъ считаться началами рядовъ, которые черезъ нихъ и сами входятъ въ сознание; мысль, слѣдуя тому направленію, началомъ коему служить *A*, устраняетъ другое направленіе *B*, но средство *B* съ *A*, а не съ *Б* не есть разъ навсегда опредѣлимая неизмѣнная величина: оно измѣнчиво, какъ чувство, сопровождающее и измѣняющее колоритъ воспріятія, и въ свою очередь зависимое отъ неуловимыхъ перемѣнъ въ содержаніи этого послѣдняго.

Не останавливаясь на темныхъ сторонахъ этихъ протѣйшихъ душевныхъ явленій, ограничимся несомнѣннымъ положеніемъ, что въ апперцепціи воспринимаемое вновь и объясняемое должно извѣстнымъ образомъ соприкасаться съ

объясняющимъ, безъ чего будетъ невозможенъ результатъ, составляющій пріобрѣтеніе души, въ которой происходитъ пониманіе. Говоря или только чувствуя, что мы, положимъ, издали узнали своего знакомаго по росту, по походкѣ, по платью, мы тѣмъ самымъ признаемъ, что между новымъ апперципируемымъ образомъ этого знакомаго и прежними апперципирующими есть общія черты—именно: ростъ, походка, платье. Эти общія черты можно назвать *средствомъ апперцепціи*, потому что безъ нихъ не было бы никакого объясненія воспріятія. Нѣсколько примѣровъ апперцепціи съ довольно замѣтною этою третьею стихіею можно найти въ разсужденіяхъ по поводу списка душъ, накупленныхъ Чичиковымъ: «Максимъ Телятниковъ, сапожникъ. Хе, сапожникъ! Пьянъ, какъ сапожникъ, говоритъ пословица», и за тѣмъ типическая исторія конкуренціи русскаго сапожника съ Нѣмцемъ, которою объясняется представленіе Телятникова. Средствомъ при этомъ служитъ частью то, что объясняемая фамилія намекаетъ на опоекъ, частью данное вслѣдъ за нею представленіе сапожника. При имени Попова, двороваго человѣка, вспоминается бесѣда безпашпортнаго съ капитаномъ-исправникомъ и инвалидами, и странствованія изъ тюрьмы въ тюрьму; средствомъ апперцепціи здѣсь можетъ быть фамилія, нѣсколько указывающая на грамотность, а върнѣе—представленія двороваго человѣка и бѣглаго. Процессъ пониманія не перемѣнится, если на мѣсто объясняющихъ разсказовъ, такихъ же конкретныхъ и индивидуальныхъ, какъ объясняемое, и только указывающихъ на общіе признаки извѣстнаго круга явленій, поставимъ отвлеченное, общее понятіе. Всѣ обобщенія, какъ напр. «это—столъ», «столъ есть мебель», основаны на сравненіи двухъ мысленныхъ единицъ различнаго объема, сравненіи, которое предполагаетъ, что нѣкоторое количество признаковъ обобщаемаго частнаго остается и въ общемъ. Не труднѣе пайти средство апперцепціи въ собственныхъ сравненіяхъ, если они сразу намъ понятны: «мірская молва—морская волна», потому-что и молва и волна непостоянны; «желтый цвѣтъ—

женскій привѣтъ: какъ цвѣтъ отцвѣтеть, привѣтъ пропа- деть» и т. п. Третье, общее между двумя членами срав- ненія (*tertium comparationis*), есть и средство апперцепціи ¹⁾.

Въ народной поэзіи много сравненій, которыя кажутся только повтореніемъ того самаго, что въ простѣйшемъ видѣ происходитъ при обыкновенномъ обозначеніи воспріятія однимъ словомъ. Такъ напр. рядомъ съ сравненіемъ жизни больного или несчастнаго человѣка съ медленнымъ и пасмурнымъ горѣніемъ (въ выраженіи «не горитъ, а тлѣетъ») можно поставить областное *модѣть*, о дровахъ: тлѣть, худогорѣть; о человѣкѣ: хирѣть, болѣть. Предположимъ, что второе значеніе появилось позже перваго. Сначала это второе значеніе существовало въ душѣ, хотя быть можетъ въ теченіе самаго неуловимаго мгновенія, только какъ воспріятіе, кото- рое такъ относится къ своему позднѣйшему виду, какъ содержаніе сознанія человѣка, разбужденнаго новыми впе- чатлѣніями и еще безсильнаго дать себѣ отчетъ въ томъ, что его окружаетъ, и тѣми же впечатлѣніями уже покорен- ными и переработанными мыслию. Человѣкъ еще не зналъ, что ему дѣлать съ поразившимъ его воспріятіемъ болѣзни; потомъ *объяснилъ* себѣ это воспріятіе, т. е. апперципиро- валъ его уже сложенными въ одно цѣлое воспріятіями огня. Между болѣзью и огнемъ было для него нѣчто общее (иначе не было бы апперцепціи), и это общее выразилось словомъ *модѣть*, которое тѣмъ самымъ стало средствомъ апперцеп- ціи. Быть посредникомъ между двумя столь разнородными группами воспріятій, какъ огонь и болѣзь, слово можетъ только потому, что его собственное содержаніе, его внутрен- няя форма обнимаетъ не всѣ признаки горѣнія, а только одинъ изъ нихъ, встрѣчаемый и въ болѣзни. Разумѣется, что внутренняя форма словъ служитъ третью общюю между двумя сравниваемыми величинами и тогда, когда апперци- пируемое, обозначаемое словомъ, однородно съ апперципи-

¹⁾ Steinthal, Zur Sprachphilos. Zeitschr. f. Philos. v. Fichte etc. XXXII, 93—5.

рующимъ, т. е. когда напр. слову *модѣть* придавалось не новое ему значеніе болѣзненнаго состоянія, а называлось имъ новое, во многомъ отличное отъ прежнихъ, воспріятіе горѣнія.

Слово, взятое въ цѣломъ, какъ совокупность внутренней формы и звука, есть прежде всего средство понимать говорящаго, апперципировать содержаніе его мысли. Членораздѣльный звукъ, издаваемый говорящимъ, воспринимаясь слушающимъ, пробуждаетъ въ немъ воспоминаніе его собственныхъ такихъ же звуковъ, а это воспоминаніе посредствомъ внутренней формы вызываетъ въ сознаніе мысль о самомъ предметѣ. Очевидно, что если бы звукъ говорящаго не воспроизвелъ воспоминанія объ одномъ изъ звуковъ, бывшихъ уже въ сознаніи слушающаго, и принадлежащихъ ему самому, то и пониманіе было бы невозможно. Но для такого воспроизведенія нужно не полное, а только частное сліянiе новаго воспріятія съ прежнимъ. При единствѣ человѣческой природы нѣкоторое различіе въ рефлексивныхъ звукахъ, издаваемыхъ разными недѣлимыми, не могло мѣшать созданію слова, точно такъ, какъ и теперь разнообразныя оттѣнки въ произношеніи отдѣльнаго слова, переданнаго намъ прежними вѣками, не мѣшаютъ пониманію. Такъ какъ чувство вообще обусловливается совокупностью личныхъ свойствъ чловѣка, то и различіе внутренней формы ономато-поэтическаго слова должно быть признано аргіогі; но и оно, подобно разнообразію звуковъ, не переходя извѣстныхъ предѣловъ, не обнаруживаясь замѣтнымъ образомъ въ разницѣ звуковъ, не существуетъ для сознанія и не мѣшаетъ пониманію. Такъ и на послѣдующихъ степеняхъ развитія языка: мы понимаемъ сказанное другимъ слово *сильный*, т. е. признаемъ тождество внутренней формы этого слова въ насъ самихъ и въ говорящемъ, потому что и мы, обыкновенно безсознательно, относимъ его къ слову *сила*.

Что касается до самаго субъективнаго содержанія мысли говорящаго и мысли понимающаго, то эти содержанія до

такой степени различны, что хотя это различіе обыкновенно замѣчается только при явныхъ недоразумѣніяхъ (напр. въ сказкѣ о набитомъ дуракѣ ¹⁾), гдѣ дуракъ придаетъ общій смыслъ совѣтамъ матери, которые годятся только для частныхъ случаевъ), но легко можетъ-быть сознано и при такъ называемомъ полномъ пониманіи. Мысли говорящаго и понимающаго сходятся между собою только въ словѣ. Графически это можно бы выразить двумя треугольниками, въ которыхъ углы В, А, С и Д, А, Е, имѣющіе общую вершину А и образуемые пересѣченіемъ двухъ линій В, Е и С, Д, необходимо равны другъ другу, но все остальное можетъ быть бесконечно разнообразно. Говоря словами Гумбольта, «никто не думаетъ при извѣстномъ словѣ именно того, что другой», и это будетъ понятно, если сообразимъ, что даже тогда, когда непониманіе повидимому невозможно, когда напр. оба собесѣдника видятъ передъ собою предметъ, о которомъ рѣчь, что даже тогда каждый въ буквальномъ смыслѣ смотритъ на предметъ съ своей точки зрѣнія, и видитъ его своими глазами. Полученное этимъ путемъ различіе въ чувственныхъ образахъ предмета, зависящее отъ внѣшнихъ условій (различія точекъ зрѣнія и устройства организма) увеличивается въ сильнѣйшей степени отъ того, что новый образъ въ каждой душѣ застаётъ другое сочетаніе прежнихъ воспріятій, другія чувства, и въ каждой образуетъ другія комбинаціи ²⁾. Поэтому всякое пониманіе есть вмѣстѣ непониманіе, всякое согласіе въ мысляхъ—вмѣстѣ несогласіе ³⁾.

«Сообщеніе мысли» есть реченіе, которое всякій, если не сдѣлаетъ нѣкотораго усилія надъ собою, пойметъ не въ переносномъ, а въ собственномъ смыслѣ. Кажется, будто мысль въ рѣчи переходитъ вполне или отчасти къ слушаю-

¹⁾ Аван. Нар. Р. Ск. II, 17. Мать совѣтуетъ дураку говорить тѣмъ, которые несутъ мертваго: „канувъ да ладонъ“, а дуракъ такимъ образомъ привѣтствуетъ и свадьбу.

²⁾ Въ малорусской сказкѣ про Ивана Голика одинъ изъ двухъ братьевъ хочетъ изъ трехъ дубовъ срубить комору, а другой изъ тѣхъ же деревъ сдѣлать вистѣлицу.

³⁾ Humb. Ueb. die Versch. 66.

щему, хотя отъ этого не убавляется умственной собственности говорящаго, какъ пламя горячей свѣчи не уменьшится отъ того, что она, повидимому, дѣлится имъ съ сотней другихъ. Но какъ въ дѣйствительности пламя свѣчи не дробится, потому что въ каждой изъ зажигаемыхъ свѣчей воспламеняются свои газы, такъ и рѣчь только возбуждаетъ умственную дѣятельность понимающаго, который, понимая, мыслить своею собственною мыслию. «Люди, говоритъ Гумбольтъ, понимаютъ другъ друга не такимъ образомъ, что дѣйствительно передаютъ одинъ другому знаки предметовъ» (въ родѣ тѣхъ, посредствомъ коихъ велись бесѣды въ нѣмомъ царствѣ, которое было посѣщено Гулливеромъ) «и не тѣмъ, что взаимно заставляютъ себя производить одно и то же понятіе, а тѣмъ, что затрогиваютъ другъ въ другѣ тоже звено цѣпи чувственныхъ представленій и понятій, прикасаются къ тому же клавишу своего духовнаго инструмента, вслѣдствіе чего въ каждомъ возстаютъ соответствующія, но не тѣ же понятія ¹⁾».

Человѣкъ невольно и безсознательно создаетъ себѣ орудія пониманія, именно членораздѣльный звукъ и его внутреннюю форму, на первый взглядъ непостижимо простыя сравнительно съ важностью того, что посредствомъ ихъ достигается. Правда, что содержаніе, воспринимаемое посредствомъ слова, есть только мнимонзвѣстная величина, что думать при словѣ именно то, что другой, значило бы перестать быть собою и быть этимъ другимъ, что поэтому пониманіе другаго, въ томъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно берется это слово, есть такая же иллюзія, какъ та, будто мы видимъ, осязаемъ и проч. самые предметы, а не свои впечатлѣнія; но, нужно прибавить, это величественная иллюзія, на которой строится вся наша внутренняя жизнь. Чужая душа дѣйствительно для насъ потемки, но много значитъ уже одно то, что, при пониманіи, къ движенію нашихъ собственныхъ представленій примѣшивается мысль, что мыс-

¹⁾ Humb. Ueb. die Versch. 201—2. Сравни также ib. 208—10.

лимое нами содержаніе принадлежитъ вмѣстѣ и другому. Въ словѣ человѣкъ находитъ новый для себя міръ, не внѣшній и чуждый его душѣ, а уже переработанный и ассимилированный душею другаго, «открываетъ существо съ такими же потребностями, и потому способное раздѣлять чувствуемые имъ темныя стремленія ¹⁾». Къ возбужденіямъ мысли, какія уединенный человѣкъ получаетъ отъ внѣшней природы, въ обществѣ присоединяется новое, ближайшимъ образомъ сродное съ его собственною природою, именно слово. Несомнѣнно, что келейная работа мысли есть явленіе позднѣйшее, предполагающее въ душѣ значительный запасъ опытности; она и теперь была бы невозможна безъ развитія письменности, замѣняющей бесѣду. Безъ книгъ и безъ людей едва ли кто и теперь былъ бы способенъ къ сколько-нибудь продолжительнымъ и плодотворнымъ усиліямъ ума; безъ размѣна словъ человѣкъ, при всевозможныхъ внѣшнихъ возбужденіяхъ нравственно засыпаетъ, «не горитъ, а тлѣетъ», какъ пасмурно и печально тлѣющая головня. Если, наоборотъ, въ спорахъ и вообще въ одушевленномъ разговорѣ, рѣчь течетъ свободнѣе и пріобрѣтаетъ стилистическія достоинства, незамѣтныя при уединенной мысли, которая есть та же рѣчь, но только сокровенная; то это зависитъ отъ внутреннихъ достоинствъ мысли, вызываемыхъ словомъ, отъ совершенствъ апперцепціи, отъ порождаемаго словомъ убѣжденія, что сказанное нами будетъ понято и заслужитъ сочувствіе.

Здѣсь можно ожидать вопроса, что именно даетъ слову силу производить пониманіе, и почему слово въ этомъ отношеніи незамѣтимо ни какимъ другимъ средствомъ? Въ душѣ животнаго и человѣка и безъ слова существуютъ прочныя ассоціаціи прежнихъ воспріятій, мгновенно вызываемыя въ сознаніе новыми впечатлѣніями, подобными прежнимъ, и возвратомъ своимъ производящія извѣстныя дѣйствія. Если, напр., лошадь трогается съ мѣста и останавливается по

¹⁾ Humb. ib. 30.

слову человѣка, то не обнаруживает ли она этимъ пониманія? Въ ней возстаютъ образы, согласные съ природою ея души, но соотвѣтствующіе душевнымъ движеніямъ человѣка, однако она не знаетъ результатовъ того, что въ ней происходитъ. При такихъ условіяхъ и между людьми не будетъ пониманія. Представимъ себѣ, что страхъ, поразившій человѣка, производитъ на его лицѣ столь сильную и выразительную игру мускуловъ, что невольно овладѣваетъ всѣми присутствующими. Очевидно, что здѣсь такъ же мало пониманія, свободной дѣятельности мысли, какъ и въ панической зѣвотѣ, возбужденной однимъ изъ собесѣдниковъ. Между-тѣмъ, такая зѣвота тоже посредствуется чувственными воспріятіями, извѣстнымъ состояніемъ души, а потому имѣетъ и психическое значеніе. Но стоитъ кому нибудь сказать «страшно!» или «скучно!» и явится пониманіе, т. е. говорящій замѣтитъ свое состояніе, измѣнитъ его извѣстнымъ образомъ, подчинивши дѣятельности своей мысли. Пониманіе другаго произойдетъ отъ пониманія самого себя. Это послѣднее сравнительно съ непосредственнымъ чувствомъ или воспріятіемъ есть уже сложное явленіе, которое дѣлается возможнымъ только при помощи внѣшнихъ средствъ. Мысль и сопровождающее ее чувство обнаруживается частью въ звукахъ, частью въ другихъ движеніяхъ, напр. въ измѣненіяхъ фізіономіи и т. п. Языкъ движеній, какъ средство самонаблюденія, не имѣетъ большаго значенія. *Во первыхъ*, способность наблюдать за собственными движеніями добывается человѣкомъ поздно и есть уже слѣдствіе значительнаго развитія посредствомъ языка: въ большей части случаевъ движенія, произведенныя чувствомъ, исчезаютъ безъ видимаго слѣда, потому что нельзя же находиться подъ вліяніемъ сильнаго чувства, и наблюдать въ зеркалѣ игру своей фізіономіи. Звукъ гораздо болѣе способенъ удовлетворить потребности человѣка имѣть внѣ себя и предъ собою указаніе на душевныя событія. Безъ всякаго намѣренія съ своей стороны человѣкъ замѣчаетъ звуки своего голоса; его внутренняя дѣятельность, прокладывая себѣ путь черезъ

уста и возвращаясь въ душу посредствомъ слуха, получаетъ дѣйствительную объективность, не лишаясь въ то же время своей субъективности ¹⁾). Чтобъ получить уже теперь нѣкоторое понятіе, что слѣдуетъ за такимъ объективированьемъ мысли, довольно вспомнить, что даже на недоступныхъ для многихъ высотахъ отвлеченнаго мышленія, а тѣмъ болѣе въ началѣ развитія, наша собственная темная мысль мгновенно освѣщается, когда мы сообщимъ ее другому, или, что все равно, напишемъ. Въ этомъ одномъ смыслѣ, независимо отъ предварительнаго приготовленія, *docendo discimus*. *Во вторыхъ*, если бы даже каждый разъ волею или неволею мы видѣли себя, то и тогда такихъ указаній было бы мало для пониманія, потому что по самой своей природѣ они очень неопредѣленны. Быть можетъ, чувство, сопровождающее каждое отдѣльное сочетаніе мыслей, иначе выражается на лицѣ, но намъ кажется, что человѣкъ точно такъ смѣется отъ одного смѣшнаго, какъ и смѣялся бы отъ многого другаго, различнаго по содержанию.

Отсюда видно, что преимущества звука предъ всевозможными средствами самонаблюденія заключаются какъ въ томъ, что онъ, исходя изъ устъ говорящаго, воспринимается имъ посредствомъ слуха, такъ и въ томъ, что, становясь членораздѣльнымъ, онъ достигаетъ легко уловимаго разнообразія и опредѣленности. Можно сказать, что разница между животнымъ и человѣкомъ лишь въ томъ, что только послѣдній можетъ создать себѣ такое средство пониманія; но это созданіе, кромѣ физиологическихъ условій, предполагаетъ въ человѣческой душѣ ей исключительно свойственное совершенство всѣхъ ея движеній, особую силу, опредѣлимую только по результатамъ ея дѣятельности.

Итакъ слово есть на столько средство понимать другаго, на сколько оно средство понимать самого себя. Оно потому служить посредникомъ между людьми и устанавливаетъ между ними разумную связь, что въ отдѣльномъ лицѣ назначено

¹⁾ Humb. Ueb. die Versch. 54.

посредствовать между новымъ воспріятіемъ (и вообще тѣмъ, что въ данное мгновеніе есть въ сознаниі) и находящимся внѣ сознания прежнимъ запасомъ мысли. Сила человѣческой мысли не въ томъ, что слово вызываетъ въ сознание прежнія воспріятія (это возможно и безъ словъ), а въ томъ, какъ именно оно заставляетъ человѣка пользоваться сокровищами своего прошедшаго.

Замѣчанія объ особенностяхъ вліянія апперцепціи въ словѣ на мысль отдѣльнаго человѣка, или короче—о значеніи представленія (потому что внутренняя форма, по отношенію къ тому, что посредствомъ нея мыслится, къ тому содержанію слова, которое мы выше называли субъективнымъ, есть *представленіе* въ тѣсномъ смыслѣ этого слова) откладываемъ до слѣдующей главы.

IX. Представленіе, сужденіе, понятіе.

Чувственные воспріятія представляются наблюденію не одною сплошною массою, а рядомъ группъ; стихіи каждой изъ этихъ группъ порознь находятся между собою въ болѣе тѣсной связи, чѣмъ со стихіями другихъ группъ. Такое явленіе не первообразно. Соединеніе воспріятій въ отдѣльные круги есть уже форма, придаваемая душою отдѣльнымъ воспріятіямъ, и въ нѣкоторомъ смыслѣ можетъ быть названо самодѣятельностью души, потому что хотя не обнаруживаетъ ея свободы, но столь же зависитъ отъ ея собственной природы, сколько отъ свойства внѣшнихъ возбужденій. Конечно, слово «самодѣятельность» требуетъ здѣсь нѣкотораго ограниченія. Нельзя себѣ представить такихъ дѣйствій души, которыя бы не были вызваны внѣшними условіями, хотя съ другой стороны нѣтъ и такихъ, которыя бы вполне объяснялись посторонними вліяніями. Въ послѣднемъ смыслѣ даже хаотическое состояніе воспріятій и свойства каждаго изъ нихъ порознь—творчество души; въ первомъ—даже самосознаніе и свобода воли—явленія зависимыя и несвободныя. Однако есть основаніе видѣть болѣе самодѣтель-

ности тамъ, гдѣ внѣшнія причины не прямо, а только посредствомъ ряда состояній самаго существа вызываютъ такое, а не другое его движеніе.

Соединеніе впечатлѣній въ образы, принимаемые нами за предметы, существующіе независимо отъ насъ и безъ нашего участія, это соединеніе есть уже дѣло нашей души, впрочемъ не отличающее ее отъ души животнаго.

Положимъ, что зрѣніе въ первый разъ даетъ человѣку впечатлѣнія дерева на голубомъ полѣ неба. Небо и дерево составляли бы для него одно разноцвѣтное пространство, одинъ предметъ, и на всегда остались бы однимъ предметомъ, если бы при повтореніи тѣхъ же воспріятій не измѣнялся фонъ, напр. не шаталось дерево отъ вѣтру, не заволакивалось небо облаками. Такъ какъ все это бываетъ, то воспріятія впечатлѣній, производимыхъ на глазъ деревомъ, повторяясь каждый разъ безъ замѣтныхъ измѣненій или съ небольшими, сливаются другъ съ другомъ, и при воспоминаніи воспроизводятся всегда разомъ или въ томъ же порядкѣ, образуютъ для мысли постоянную величину, одинъ *чувственный образъ*, а впечатлѣнія неба не сольются такимъ образомъ и при воспроизведеніи будутъ переменною величиною.

Въ одно время съ впечатлѣніями зрѣнія могутъ быть даны впечатлѣнія слуха и обонянія, напр. я могу, глядя на растеніе, слышать шумъ его листьевъ и чувствовать запахъ его цвѣтовъ; но впечатлѣнія осязанія и вкуса не могутъ быть вполнѣ одновременны со впечатлѣніемъ зрѣнія, потому что я, ощупывая предметъ, скрываю отъ глазъ обращенную ко мнѣ часть его поверхности, и совсѣмъ не вижу предмета, который у меня во рту. Самое зрѣніе одновременно представляетъ намъ только то, что разомъ обхватывается глазомъ, но вмѣстѣ съ этимъ глазъ и переходитъ къ одной части поверхности, оставляя другую. Въ такихъ случаяхъ къ одновременности воспріятія, какъ основанію ассоціаціи, присоединяется непосредственная послѣдовательность, такъ что напр. сначала одновременно получаютъ впечатлѣнія то-

чекъ, составляющихъ видимую поверхность тѣла, за тѣмъ тѣло осязается, чувствуется его вкусъ, запахъ, слышится звукъ его паденія. При этомъ, чувственный образъ предмета со многими признаками составитъ только тогда, когда совокупность этихъ признаковъ будетъ относиться ко всѣмъ другимъ, какъ въ приведенномъ выше примѣрѣ выдѣленія комплекса признаковъ изъ ряда однородныхъ относятся постоянныя впечатлѣнія отъ дерева къ переменчивымъ впечатлѣніямъ фона, на которомъ оно обрисовывается. Противоположность постоянного и измѣнчиваго, образуемая сліяніемъ однородныхъ воспріятій, здѣсь необходима, потому что безъ нея всѣ воспріятія одновременныя и послѣдовательныя составили бы только одинъ рядъ, который, пожалуй, можно бы назвать чувственнымъ образомъ; они постоянно находились бы въ томъ состояніи, въ какомъ, вѣроятно, находятся въ первое время жизни ребенка.

Изолированный рядъ воспріятій не всегда повторяется въ томъ-же порядкѣ, хотя стихіи его остаются тѣже. Сначала напр. можно видѣть горящія дрова, потомъ слышать ихъ трескъ и чувствовать теплоту, или же сначала слышать трескъ, а потомъ, уже приблизившись, увидѣть пламя и почувствовать теплоту. Это далеко не все равно, потому что единство чувственного образа зависитъ не только отъ тождества составляющихъ его признаковъ, но и отъ легкости, съ какою одинъ признакъ воспроизводится за другимъ. Если нѣсколько разъ данъ былъ рядъ признаковъ одного образа въ порядкѣ *a b c d e* и вслѣдъ за тѣмъ еще разъ получится признакъ *a*, то онъ легко вызоветъ въ сознаніе всѣ слѣдующіе за нимъ; но если упомянутый рядъ начнется съ конца, то признакъ *e* самъ по себѣ или вовсе не произведетъ признаковъ *d c* и пр., или—гораздо медленнѣе. Слова «Отче нашъ» напомнятъ намъ всю молитву, но слово «лукаваго» не заставитъ насъ воспроизводить ее навыворотъ (отъ насъ, избави и проч.), точно такъ, какъ признакъ *e* не дастъ намъ цѣлаго образа *a, b, c, d, e*. Хотя *e* могло повторяться столько-же разъ, сколько и *a*, но это послѣ-

днее, по своему влиянію на всѣ остальные, будто господствуетъ надъ всѣмъ образомъ. Если бы основанія ассоціаціи, положенныя рядомъ а, в, с... (въ которомъ смежные члены *ab*, *bc* тѣснѣе связаны, чѣмъ удаленные другъ отъ друга *a* и *e*) при каждомъ повтореніи образа замѣнялись новыми (*ba* *с*, *са* *b...*), то, такъ сказать, господство переднихъ членовъ, напр. а, надъ всѣми остальными было бы уничтожено и каждый могъ бы съ такою же быстротою воспроизводить всѣ остальные. На дѣлѣ однако бываетъ иначе, и это зависитъ сколько отъ того, что при воспріятіи не исчерпываются всѣ сочетанія признаковъ, столько и отъ другой причины. Въ самомъ кругу изолированнаго образа при новыхъ воспріятіяхъ однѣ черты выступаютъ ярче отъ частаго повторенія, другія остаются въ тѣни. При словѣ «золото» намъ приходитъ на мысль цвѣтъ, а вѣсь, звукъ могутъ вовсе не прійти, потому что не всякій разъ при видѣ золота мы взвѣшивали его и слышали его звукъ. Образованіе такого же центра въ изолированномъ кругу воспріятій мы можемъ предположить и до языка. Въ чемъ же послѣ этого будетъ состоять излишекъ силы творчества человѣческой души, создающей языкъ, сравнительно съ силою животнаго, знающаго только нечленораздѣльные крики, или вовсе лишеннаго голоса? Отвѣтъ на это былъ уже отчасти заключенъ въ предшествующемъ.

Внутренняя форма есть тоже центръ образа, одинъ изъ его признаковъ, преобладающій надъ всѣми остальными. Это очевидно во всѣхъ словахъ позднѣйшаго образованія съ ясно опредѣленнымъ этимологическимъ значеніемъ (*быкъ*—ревушій, *волкъ*—рѣжущій, *медведь*—ѣдящій медъ, *пчела*—жуужащая и пр.), но не встрѣчаетъ, кажется, противорѣчій и въ словахъ ономато-поэтическихъ, потому что чувство, вызвавшее звукъ, есть такая-же стихія образа, какъ устранимый отъ содержанія колоритъ есть стихія картины. Признакъ, выраженный словомъ, легко упрочищаетъ свое преобладаніе надъ всѣми остальными, потому что воспроизводится при всякомъ новомъ воспріятіи, даже не заключааясь въ этомъ

послѣднемъ, тогда какъ изъ остальныхъ признаковъ образа многіе могутъ лишь изрѣдка возвращаться въ сознаніе. Но этого мало. Слово съ самаго своего рожденія есть для говорящаго средство понимать себя, апперципировать свои воспріятія. Внутренняя форма, кромѣ фактическаго единства⁷ образа, даетъ еще знаніе этого единства; она есть не образъ предмета, а образъ образа, т. е. *представленіе*¹⁾.

Конечно, знаніе того, что происходитъ въ душѣ, и при томъ такое несовершенное знаніе, сводящее всю совокупность признаковъ къ одному, можетъ показаться весьма малымъ преимуществомъ человѣка, хотя, сравнительно съ бессознательнымъ собираніемъ признаковъ въ одинъ кругъ,— это знаніе есть самодѣятельность по преимуществу; но можно думать, что, именно только какъ представленіе, образъ получаетъ для человѣка тотъ высокій интересъ, какого не имѣетъ для животнаго, и что только представленіе вызываетъ дальнѣйшія, исключительно человѣческія преобразованія чувственнаго образа.

Прежде, чѣмъ говорить о вліяніи представленія на чувственный образъ, слѣдуетъ прибавить еще одну черту къ сказанному выше объ апперцепціи: ея отличіе отъ простой ассоціаціи съ одной стороны и сліянія—съ другой и ея постоянная двучленность указываютъ на ея тождество съ формою мысли, называемою *сужденіемъ*. Апперципируемое и подлежащее объясненію есть субъектъ сужденія, апперципирующее и опредѣляющее—его предикатъ. Если, исключивъ ассоціацію и сліяніе, какъ простѣйшія явленія душевнаго механизма, назовемъ апперцепцію, которая кажется уже не

¹⁾ „Человѣкъ стремится придать предметамъ, дѣйствующимъ на него множествомъ своихъ признаковъ, опредѣленное единство, для выраженія коего [um ihre (dieser Einheit) stelle zu vertreten] требуется внѣшнее, звуковое единство слова. Звукъ не вытѣсняетъ ни одного изъ остальныхъ впечатлѣній, производимыхъ предметомъ, а становится ихъ сосудомъ (wird ihr Träger) и своимъ индивидуальнымъ свойствомъ, соответствующимъ свойствамъ предмета, въ томъ видѣ, какъ этотъ предметъ былъ воспринятъ личнымъ чувствомъ всякаго, прибавляетъ къ упомянутымъ впечатлѣніямъ новое, характеризующее предметъ“ (Humb. Ueb. die Versch. 52). Это новое, прибавляемое къ предмету словомъ, есть не представленіе, а скорѣе то, что мы выше назвали внутренней формою звука.

страдательнымъ воспріятіемъ впечатлѣній, а самодѣятельнымъ ихъ толкованіемъ, назовемъ ее первымъ актомъ мышленія въ тѣсномъ смыслѣ; то тѣмъ самымъ за основную форму мысли признаемъ сужденіе. Впрочемъ отъ такой перемены названій было бы мало проку, если бы она не вела къ одному важному свойству слова.

Представленіе есть извѣстное содержаніе нашей мысли, но оно имѣетъ значеніе не само по себѣ, а только какъ форма, въ какой чувственный образъ входитъ въ сознаніе; оно—только указаніе на этотъ образъ, и внѣ связи съ нимъ, т. е. внѣ сужденія не имѣетъ смысла. Но представленіе возможно только въ словѣ, а потому слово, независимо отъ своего сочетанія съ другими, взятое отдѣльно въ живой рѣчи, есть выраженіе сужденія, двучленная величина, состоящая изъ образа и его представленія. Если напр. при воспріятіи движенія воздуха человѣкъ скажетъ: «вѣтеръ!» то это одно слово можетъ быть объяснено цѣлымъ предложеніемъ: это (чувственное воспріятіе вѣтра) есть то (т. е. тотъ прежній чувственный образъ), что мнѣ представляется вѣющимъ (представленіе прежняго чувственного образа). Новое апперципируемое воспріятіе будетъ субъектомъ, а представленіе, которое одно только выражается словомъ,—будетъ замѣною дѣйствительнаго предиката. При пониманіи говорящаго значеніе членовъ сужденія переменится: услышанное отъ другаго слово *бу* вызоветъ въ сознаніи воспоминаніе о такомъ-же звукѣ, который прежде издавался самимъ слушающимъ, а черезъ этотъ звукъ—его внутреннюю форму, т. е. представленіе, и наконецъ самый чувственный образъ быка. Представленіе останется здѣсь предикатомъ только тогда, когда слушающій самъ повторитъ только что услышанное слово. Впрочемъ такое повтореніе неизбѣжно въ мало-развитомъ человѣкѣ. «Человѣку, говоритъ Гумбольтъ, врождено высказывать только что услышанное», и, безъ сомнѣнія, молчать понимая труднѣе, чѣмъ давать вольный выходъ движенію своей мысли. Такъ дѣти и вообще малограмотные люди не могутъ читать про себя: имъ нужно слышать результатъ

своей умственной работы, будетъ ли она состоять въ простомъ переложеніи письменныхъ знаковъ въ звуки, или же и въ пониманіи читаннаго. Непосредственно истиннымъ и дѣйствительнымъ на первыхъ порахъ кажется человѣку только ощущаемое чувствами, и слово имѣетъ для него всю прелесть дѣла.

Дитя сначала говоритъ только отрывистыми словами и каждое изъ этихъ словъ, близкихъ къ междометіямъ, указываетъ на совершившійся въ немъ процессъ апперцепціи, на то, что оно или признаетъ новое воспріятіе за одно съ прежнимъ, узнаетъ знакомый предметъ (ляля! мама!), или сознаетъ въ словѣ образъ желаемого предмета (папа, т. е. хлѣба). И взрослые говорятъ отдѣльными словами, когда поражены новыми впечатлѣніями, вообще когда руководятся чувствомъ и неспособны къ болѣе продолжительному самонаблюденію, какое предполагается связною рѣчью. Отсюда можно заключить, что для первобытнаго человѣка весь языкъ состоялъ изъ предложений съ выраженнымъ въ словѣ однимъ только *сказуемымъ*. Опасно однако упускать изъ виду мысль Гумбольта, что не слѣдуетъ приурочивать термины ближайшихъ къ намъ и наиболѣе развитыхъ языковъ (напр. *сказуемое*) къ языкамъ далекимъ отъ нашего по своему строенію. Мысль эта покажется пошлою тому, кто сравнитъ ее съ совѣтомъ не дѣлать анахронизмовъ въ исторіи, но поразитъ своей глубиною того, кто знаетъ, какъ много еще теперь (не говоря уже о 20-хъ годахъ) филологовъ-специалистовъ, которые не могутъ понять, какъ можетъ быть языкъ безъ глагола. Говорить обыкновенно, что «первое слово есть уже предложеніе». Это справедливо въ томъ смыслѣ, что первое слово имѣло уже смыслъ, что оно не могло существовать въ живой рѣчи въ томъ видѣ, составляющемъ уже результатъ научнаго анализа, въ какомъ встрѣчается въ словарѣ; но совершенно ошибочно думать, что предложеніе сразу явилось такимъ, каково въ нашихъ языкахъ.

Языкъ есть средство понимать самого себя. Понимать себя можно въ разной мѣрѣ; чего я въ себѣ не замѣчаю, то для меня не существуетъ и конечно не будетъ мною

выражено въ словѣ. Поэтому никто не имѣетъ права влгать въ языкъ народа того, чего самъ этотъ народъ въ своемъ языкѣ не находитъ. Для насъ предложеніе немислимо безъ подлежащаго и сказуемаго; опредѣляемое съ опредѣлительнымъ, дополняемое съ дополнительнымъ не составляютъ для насъ предложенія. Но подлежащее можетъ-быть только въ именительномъ падежѣ, а сказуемое невозможно безъ глагола (*verbum finitum*); мы можемъ не выражать этого глагола, но мы чувствуемъ его присутствіе, мы различаемъ сказательное (предикативное) отношеніе («бумага бѣла») отъ опредѣлительнаго («бѣлая бумага»). Еслибъ мы не различали частей рѣчи, то тѣмъ самымъ мы бы не находили разницы между отношеніями подлежащаго и сказуемаго, опредѣляемаго и опредѣленія, дополняемаго и дополненія, то есть предложеніе для насъ бы не существовало. Очевидно, дитя и первобытный человѣкъ не могутъ имѣть въ своемъ языкѣ предложенія уже потому, что не знаютъ ни падежей, ни лицъ глагола, что говорятъ только отдѣльными словами. Но эти слова, сказалъ Беккеръ,—глаголы, сказуемая, существенная часть предложенія. Это не вѣрно: «цаца!» «ляля!» «папа!» названія не дѣйствій, а предметовъ, узнаваемыхъ ребенкомъ; въ этихъ словахъ можетъ слышаться требованіе, и въ такомъ случаѣ они скорѣе могли бы быть переведены нашими дополнительными.

«Если представить себѣ, говорить Гумбольтъ, созданіе языка постепеннымъ (а это естественнѣе всего), то нужно будетъ принять, что это созданіе, подобно всякому рожденію (*Entstehung*) въ природѣ, происходитъ по началу развитія извнутри ¹⁾». Чувство, проявлявшееся въ звукѣ, заключаетъ въ себѣ все въ зародышѣ, но не все въ то-же время видно въ звукѣ ²⁾. Разумѣется, если знаемъ, что содержаніе мысли, обозначаемой языкомъ, идетъ отъ большаго числа отдѣльныхъ чувственныхъ воспріятій и образовъ, а звуки

¹⁾ „So muss man ihr (der Sprache) ein Evolutionssystem unterlegen“.

²⁾ Ueb. die Versch. 174.

языка—отъ многихъ рефлексій чувства, то не станемъ думать, что языкъ вылупился изъ одного корня, какъ, по индійскому мнѣю, вселенная изъ яйца, но согласимся, что каждое первобытное слово представляло только возможность позднѣйшаго развитія извѣстнаго рода значеній и грамматическихъ категорій. Удерживая разницу между организмомъ, имѣющимъ самостоятельное существованіе, и словомъ, которое живетъ только въ устахъ человѣка, можемъ воспользоваться сравненіемъ первобытнаго слова съ зародышемъ: какъ зерно растенія не есть ни листъ, ни цвѣтъ, ни плодъ, ни все это взятое вмѣстѣ, такъ слово въ началѣ лишено еще всякихъ формальныхъ опредѣленій и не есть ни существительное, ни прилагательное, ни глаголъ.

«Дѣятельности, говоритъ Штейнталь, лежащая въ основаніи существительныхъ, не глаголы, а прилагательныя, названія признаковъ. Признакъ есть атрибутъ, посредствомъ коего инстинктивное самосознаніе понимаетъ (*erfasst*) чувственный образъ, какъ единицу, и представляетъ себѣ этотъ образъ. Какъ умъ нашъ не постигаетъ предмета въ его сущности, такъ и языкъ не имѣетъ собственныхъ, первоначальныхъ существительныхъ, и какъ сочетаніе признаковъ принимается нами за самый предметъ, такъ и въ языкѣ есть только названіе признаковъ». Дѣйствительно предметы называются въ языкѣ каждый по одной изъ примѣтъ, взятой изъ совокупности остальныхъ: *рѣка*—текущая (кор. *рик*, скр. *рич*, течь, или, что кажется вѣроятнѣе, *ри*, тоже, что въ малорусск. *ринуть* и нѣм. *rienen*), *берегъ*—охраняющій, берегущій (серб. *Brijeg*, холмъ, слѣдоват. почти тоже, что нѣмецкое *Berg*, которое по Гриму, —отъ значенія, сохранившагося въ *bergen*, скрывать, охранять, наше *беречь*), или, согласно съ постояннымъ эпитетомъ—крутой, обрывистый (ср. греч. *φραγ*—*φομι*; *β*=греч. *φ*), *небо*—покрывающее, *туча*—изливающая, *трава*—пожираемая, служащая кормомъ и т. д. Само-собою бросается въ глаза, что всѣ эти признаки предполагаютъ названіе дѣятельности: нужно было имѣть слово *тру* (-ти) для дѣятельности пожиранья, чтобы имъ обозна-

чить траву, какъ снѣдь. Но и въ основаніи названія дѣятельностей лежатъ тоже признаки. «Дѣятельность разсматривается совершенно какъ субстанція; не сама она по себѣ, а впечатлѣніе, производимое ею на душу, отражается въ звукѣ. И дѣятельность имѣетъ много признаковъ, изъ коихъ одинъ замѣщаетъ всѣ остальные и получаетъ потомъ значеніе самой дѣятельности. Такимъ-образомъ первыя слова— названія признаковъ, и стало-быть, если захотимъ употребить грамматическій терминъ, — *нартія* 1)». Но мы этого не хотимъ, и какъ Штейнталу очень хорошо извѣстно, не имѣемъ права. Представленіе есть точно одинъ изъ многихъ признаковъ, сложившихся въ одно цѣлое, но слово въ началѣ развитія мысли не имѣетъ еще для мысли значенія качества и можетъ быть только указаніемъ на чувственный образъ, въ которомъ нѣтъ ни дѣйствія, ни качества, ни предмета, взятыхъ отдѣльно, но все это въ нераздѣльномъ единствѣ. Нельзя напр. видѣть движенія, покоя, бѣлизны самихъ по себѣ, потому что они представляются только въ предметахъ, въ птицѣ, которая летитъ или сидитъ, въ бѣломъ камнѣ и проч.; точно такъ нельзя видѣть и предмета безъ извѣстныхъ признаковъ. Образование глагола, имени и пр. есть уже такое разложеніе и видоизмѣненіе чувственного образа, которое предполагаетъ другія, болѣе простыя явленія, слѣдующія за созданіемъ слова. Такъ напр. части рѣчи возможны только въ предложеніи, въ сочетаніи словъ, котораго не предполагаемъ въ началѣ языка; существованіе прилагательнаго и глагола возможно только послѣ того, какъ сознание отдѣлитъ отъ болѣе-менѣе случайныхъ атрибутовъ то неизмѣнное зерно вещи, ту сущность, *субстанцію*, то нѣчто, которое человекъ думаетъ видѣть за сочетаніемъ признаковъ и которое не дается этимъ сочетаніемъ. Мы оставимъ въ сторонѣ вопросъ объ образованіи грамматическихъ категорій, входящій въ область исторіи отдѣльныхъ языковъ 2),

1) Steinth. Gram. Log. u. Psych. 325, 328. Ср. 361.

2) Указанія на основныя различія грамматики языковъ можно найти въ сочиненіи Штейнтала, Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. Berl. 1860.

и ограничимся немногими замѣчаніями о свойствахъ слова, которыя предполагаются всякимъ языкомъ и должны служить дополненіемъ къ сказанному выше о словѣ, какъ средствѣ сознанія единства образа.

Уже въ прошломъ столѣтіи замѣчено было, что слово имѣетъ ближайшее отношеніе къ обобщенію чувственныхъ воспріятій и что въ безсловесности животныхъ слѣдуетъ искать объясненія, почему имъ недоступны ни общія идеи (во французскомъ, самомъ общемъ смыслѣ этого слова), ни зависящая отъ нихъ усовершенность человѣка. Впрочемъ и тогда, и теперь весьма многими значеніе языка для развитія мысли понимается очень неудовлетворительно, напр. такимъ образомъ: «языкъ служить пособіемъ при отвлеченіи, потому что онъ обозначаетъ только отвлеченное и долженъ обозначать только это; въ противномъ случаѣ онъ былъ-бы бесполезенъ, такъ какъ число словъ было-бы не меньше числа воспріятій». Слово принимается здѣсь, какъ знакъ готовой мысли, а не какъ ея органъ, не какъ средство добывать ее изъ рудниковъ своей души и придавать ей высшую цѣну. Безъ отвѣта остаются также вопросы: составляетъ ли отвлеченное исключительную принадлежность человѣка, и если нѣтъ, то какой особенный смыслъ придаетъ слово человѣческому отвлеченію?

Образованіе въ душѣ воспріятій, преобладающихъ надъ другими, и связанное съ этимъ безсознательное объединеніе чувственного образа, всегда предполагаетъ устраненіе изъ сознанія значительнаго числа впечатлѣній, которыя мы назвали фономъ чувственного образа, и есть первообразъ позднѣйшаго процесса отвлеченія или абстракціи. Не трудно найти доказательства, что чувственный образъ, на которомъ мы сосредоточились, который мы выдѣлили изъ всего прочаго, заключаетъ въ себѣ далеко не всѣ черты, переданныя намъ чувствами, точно такъ, какъ портретъ отсутствующаго лица, написанный по одному воспоминанію, изображаетъ далеко не всѣ особенности лица, дѣйствовавшія нѣкогда на глазъ и бывшія въ сознаніи живописца. Безсознательное сліяніе нѣ-

сколькихъ образовъ, полученныхъ въ разное время, въ одинъ было бы совершенно невозможно, если бы эти образы, всегда сложные, удерживались душою въ одинаковой полнотѣ, а не постоянно разлагались посредствомъ отпаденія отдѣльных частей, несвязанныхъ для насъ извѣстными отношеніями. Это сліяніе, встрѣчающее тѣмъ меньше препятствій, чѣмъ меньше особенностей образовъ удержалось въ памяти, есть уже обобщеніе. Совокупность мыслимаго мною во время и послѣ такого сліянія, даже безъ моего вѣдома, относится уже не къ одному предмету, а къ нѣсколькимъ, и тѣмъ самымъ превращается въ болѣе-менѣе неопредѣленную схему предметовъ. Подобныя схемы необходимо предположить въ животномъ, многія дѣйствія коего не могутъ быть объяснены одними физиологическими побужденіями. Собака лаетъ на нищаго и не лаетъ на человѣка, одѣтаго какъ ея господинъ, напр. въ студентское платье; не обнаруживаетъ ли она этимъ, что въ ней составилось двѣ схемы людей, различно одѣтыхъ, — схемы, не заключающія въ себѣ частныхъ отличій, и что новыя впечатлѣнія, относясь то къ одной, то къ другой изъ этихъ схемъ, лишаются на время своихъ особенностей, которыя однако по всей вѣроятности остаются въ душѣ? Если животное узнаетъ привычную пищу, избѣгаетъ знакомой опасности, если оно вообще способно не только руководиться указаніями инстинкта, но и пользоваться своею опытностью, въ чемъ не можетъ быть сомнѣнія; то это дается ему только способностью обобщать чувственные данныя. Минуя слово «обобщеніе», съ которымъ многіе не безъ основанія соединяютъ мысль объ исключительно человѣческой дѣятельности души, мы можемъ выразить это и такимъ образомъ: то, что мы обозначаемъ отрицательно отсутствіемъ способности цѣликомъ и безъ измѣненій удерживать сложившіяся въ душѣ сочетанія воспріятій, есть положительное свойство души, необходимое въ экономіи и человѣческой и животной жизни.

Умственная жизнь человѣка, до появленія въ немъ самосознанія, намъ также темна, какъ и душевная жизнь

животнаго, и потому мы всегда принуждены будемъ ограничиться только догадками о несомнѣнно существующихъ родовыхъ различіяхъ между первоначальными обнаруженіями этой жизни въ человѣкѣ и въ животномъ. Но несомнѣнно, что въ то время, какъ животное не идетъ далѣе смутныхъ очерковъ чувственнаго образа, для человѣка эти очерки служатъ только основаніемъ, исходною точкою дальнѣйшаго творчества, въ безчисленныхъ произведеніяхъ коего, напр. въ понятіяхъ Бога, судьбы, случая, закона и пр., только научный анализъ можетъ открыть слѣды чувственныхъ воспріятій. Понятно, что въ человѣкѣ есть сила, заставляющая его особеннымъ, ему только свойственнымъ образомъ, видоизмѣнять впечатлѣнія природы; легко также принять, что точка, на которой становится замѣтною человѣчность этой силы, на которой обобщеніе получаетъ неживотный характеръ, есть появленіе языка; но что-же именно прибавляетъ слово къ чувственной схемѣ? Чтобы оно ни прибавляло, это нѣчто должно быть существеннымъ условіемъ позднѣйшаго совершенствованія мысли, иначе самъ языкъ будетъ ненуженъ.

Выше мы назвали слово средствомъ сознанія единства чувственнаго образа; здѣсь мы прибавимъ только, что слово есть въ тоже время и средство сознанія общности образа. Здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, сознанію того, что уже существуетъ, можемъ приписать могущество пересоздавать это существующее, но не создавать его, не творить изъ ничего. Человѣкъ не изобрѣлъ бы движенія, еслибъ оно не было безъ его вѣдома дано ему природой, не построилъ бы жилья, еслибъ не нашелъ его готовымъ подъ сѣнью дерева или въ пещерѣ, не сложилъ бы пѣсни, поэмы, еслибъ каждое его слово не было, какъ увидимъ ниже, поэтическимъ произведеніемъ; точно такъ слово не дало бы общности, еслибъ ея не было бы до слова. Тѣмъ-не-менѣе есть огромное разстояніе между произвольнымъ движеніемъ и балетомъ, лѣсомъ и колоннадою храма, словомъ и эпопеею, равно какъ и между общностью образа до слова и отвлеченностью мысли, достигаемою посредствомъ языка.

Намъ кажется вѣрнымъ, что если неговорящее дитя узнаетъ свою мать и радостно тянется къ ней, то оно имѣетъ уже, такъ сказать, отвлеченный ея образъ, т. е. таковой, который хотя и относится къ одному предмету, но не заключаетъ въ себѣ несходныхъ чертъ, данныхъ въ разновременныхъ воспріятіяхъ этого предмета (напр. мать могла быть въ разное время въ разныхъ платьяхъ, могла стоять, ходить, сидѣть, когда смотрѣлъ на нее ребенокъ). Присоединимъ къ этому слово. Дитя разныя воспріятія матери называетъ однимъ и тѣмъ же словомъ *мама*; воспріятія одной и той же собаки, но въ разныхъ положеніяхъ, и разныхъ собакъ, различныхъ по шерсти, величинѣ, формамъ, вызываютъ въ немъ одно и то же слово, положимъ, *цюця* ¹⁾.

Новыя апперципируемыя воспріятія будутъ переменчивыми субъектами, коихъ предикатъ остается на столько неизмѣннымъ, что постоянно выражается однимъ и тѣмъ же словомъ. Ребенокъ рано или поздно замѣтитъ, что среди волненія входящихъ въ его сознаніе воспріятій, изъ коихъ каждая группа или лишена извѣстныхъ стійхъ, находящихся въ другой, или имѣетъ въ себѣ такія, какихъ не заключаетъ въ себѣ другая, остается неподвижнымъ только звукъ и соединенное съ нимъ представленіе, и что, между тѣмъ, слово относится одинаково ко всѣмъ однороднымъ воспріятіямъ. Такимъ образомъ полагается начало созданію категоріи субстанціи, вещи самой по себѣ, и дѣлается шагъ къ познанію истины. Дѣйствительное знаніе для человѣка есть только знаніе сущности; разнообразныя признаки a, b, c, d, замѣчаемые въ предметѣ, не составляютъ самаго предмета A, ни взятые порознь (потому что, очевидно, цвѣтъ шер-

¹⁾ Предполагаемъ, что это слова первобытныя, ономато-поэтическія и лишены еще всякихъ грамматическихъ опредѣленій; но это собственно фикція, потому что напр. слово *цюця* носить на себѣ слѣды многихъ внутреннихъ и вѣшнихъ измѣненій. Оно, во первыхъ, существительное, подобно всѣмъ остальнымъ въ нашихъ языкахъ имѣющее чисто формальное окончаніе; во вторыхъ, имѣетъ удвоеніе, котораго нельзя предполагать въ корнѣ (кор. вѣроятно *ку*. Ср. греч. *κόων*, лит. *szu*, лат. *sa-nis* отлично по гласной) и по звукамъ гармонируетъ съ малорусскимъ нар., относительно позднимъ.

сти собаки и пр. не есть еще собака), ни въ своей совокупности, во первыхъ потому, что эта совокупность есть сумма, множественность, а предметъ есть для насъ всегда единство; во вторыхъ потому, что А, какъ предметъ, должно для насъ заключать въ себѣ не только сумму извѣстныхъ намъ признаковъ $a + b + c$, но и возможность неизвѣстныхъ $x + y \dots$, должно быть чѣмъ-то отличнымъ отъ своихъ признаковъ, и между тѣмъ объединяющимъ ихъ и условливающимъ ихъ существованіе. Въ словѣ, какъ представленіи единства, и общности образа, какъ замѣнѣ случайныхъ и измѣнчивыхъ сочетаній, составляющихъ образъ, постояннымъ представленіемъ (которое, припомнимъ, въ первобытномъ словѣ не есть ни дѣйствіе, ни качество), человѣкъ впервые приходитъ къ сознанію бытія темнаго зерна предмета, къ знанію дѣйствительнаго предмета ¹⁾.

При этомъ слѣдуетъ помнить, что конечно такое знаніе не есть истина, но указываетъ на существованіе истины гдѣ-то вдали, и что вообще человѣка характеризуетъ не знаніе истины, а стремленіе, любовь къ ней, убѣжденіе въ ея бытіи.

Апперципируя въ словѣ воспріятіе, вновь появившееся въ сознаніи, и произнося только одно слово, имѣющее значеніе предиката, человѣкъ уничтожаетъ первоначальное безразличіе членовъ апперцепціи, особеннымъ образомъ отгѣняетъ важнѣйшій изъ этихъ членовъ, именно предикатъ, дѣлая его вторично предметомъ своей мысли.

Чтобы видѣть, чего недостаетъ такому неполному господству языка, въ чемъ несовершенство мысли, которая высказывается только отрывистымъ словомъ, довольно сравнить такое единичное живое слово съ сочетаніемъ словъ. «Цюця!» значитъ: вновь входящій въ мое сознаніе образъ

¹⁾ „Какъ безъ языка, говорить Гумбольтъ, невозможно понятіе, такъ безъ него не было бы для души и предмета, потому что и всякій внѣшній предметъ только посредствомъ понятія получаетъ для нея полную существенность“. *Ueb. die Vergsch.* 59. Мы прибавимъ, что понятіе развиваетъ только то, что дано уже до него.

есть для меня та сущность, которую я такимъ-то образомъ (посредствомъ такой-то внутренней формы) представляю въ словѣ *цуюця*; предметъ самъ по себѣ еще не отдѣленъ здѣсь отъ своихъ свойствъ и дѣйствій, потому что эти послѣднія заключаются и въ новомъ воспріятіи и въ апперципирующемъ его образѣ. Не то уже въ сложномъ реченіи первобытнаго языка, соотвѣтствующемъ нашему «собака лаетъ»; здѣсь не только въ словѣ сознана сущность собаки, но и явственно выдѣленъ одинъ изъ признаковъ, темною массою облегающихъ эту сущность. Если отдѣльное слово въ рѣчи есть представленіе, то сочетаніе двухъ словъ можно бы, слѣдуя Штейнталя, назвать представленіемъ представленія ¹⁾; если одинокое представленіе было первымъ актомъ разложенія чувственнаго образа, то фраза изъ двухъ словъ будетъ вторымъ, построеннымъ уже на первомъ. Это можно видѣть изъ того, что атрибутъ, сознанный посредствомъ слова, въ свою очередь получаетъ субстанціальность и можетъ стать средоточіемъ круга атрибутовъ, такъ-что напр. только тогда, когда со словомъ, объединяющимъ весь кругъ признаковъ образа собаки, соединится другое слово, обозначающее только одинъ изъ этихъ признаковъ (собака *лаетъ*), только тогда и въ самомъ признакѣ *лая* могутъ открыться свои признаки. Но какимъ образомъ слово изъ предиката становится субъектомъ, изъ обозначенія всей совокупности признаковъ посредствомъ одного—обозначеніемъ одного только признака? На это не находимъ у Штейнталя удовлетворительнаго отвѣта. Онъ говоритъ только, что наступаетъ пора, когда слово, бывшее до того предикатомъ, «становится субъектомъ измѣнчивыхъ признаковъ, которые получаютъ силу предикатовъ. Только тогда слово (какъ субъектъ) получаетъ значеніе субстанции предмета, и предметъ отдѣляется отъ своихъ дѣятельностей и свойствъ. Тогда и воспріятія (*die Wahrnehmungen*) этихъ измѣнчивыхъ свойствъ и дѣятельностей возбуждаютъ интересъ дѣтской души и

¹⁾ Gr. L. u. Ps. 328—9.

рефлектируются въ звукахъ» ¹⁾). Онъ говоритъ вслѣдъ за тѣмъ, что первобытный человѣкъ *создастъ* такіе звуки; но это невозможно: по его собственной теоріи, какъ мы ее понимаемъ, слово можетъ быть первоначально только полнымъ безразличіемъ дѣятельности и качества съ одной и предмета съ другой стороны, но никакъ не обозначеніемъ качества или дѣйствія самихъ по себѣ; не можетъ быть прямого перехода отъ такой простой апперцепціи, какъ напр. (это, т. е. новое воспріятіе есть) «мама!» къ такой, гдѣ «мама» есть уже субъектъ предиката, означающаго отвлеченное дѣйствіе или качество. Намъ, стоящимъ на степени развитія своего языка, весьма трудно, говоря о далекомъ прошедшемъ, отдѣлаться отъ того, что внесено въ нашу мысль этимъ языкомъ. Если даже изъ сказуемаго «идеть» отдѣлимъ всѣ формальныя опредѣленія, дѣлающія изъ него третье лицо глагола настоящаго времени, и оставимъ одно только коренное *и*, то и тогда намъ будетъ казаться, что это *и* не обнаруживаетъ особеннаго сродства ни съ однимъ кругомъ воспріятій и безразлично указываетъ на свойство или дѣйствіе, которое можетъ одинаково встрѣтиться во всякомъ изъ нихъ, что поѣтому уже при самомъ своемъ рожденіи оно было результатомъ сліянія воспріятій движенія, взятыхъ изъ разныхъ чувственныхъ образовъ. Это такъ кажется потому, что къ самому началу языка мы относимъ ту всестороннюю связь языка между его корнями, которая на дѣлѣ можетъ быть только слѣдствіемъ продолжительныхъ усилій мысли. Можно однако, если не ошибаемся, сдѣлать нѣкоторыя поправки въ этомъ взглядѣ и указать приблизительно на то значеніе, какое имѣло первоначальное соединеніе двухъ словъ.

Обыкновенно отличаютъ сужденія аналитическія отъ синтетическихъ. Въ первыхъ предикатъ есть только явственное повтореніе момента, скрытаго въ субъектѣ, такъ что все сужденіе представляется разложеніемъ одной мысленной

¹⁾ Gr. L. u. Ps. 327.

единицы, напр. «вода бѣжитъ», «золото желто», т. е. вода+теченье, золото+желтизна даны уже въ неразрѣшенномъ въ сужденіи чувственномъ образѣ воды, золота; во вторыхъ, предикать по отношенію къ субъекту есть нѣчто новое, немислимое непосредственно въ этомъ послѣднемъ, но связанное съ нимъ посредствующимъ рядомъ мыслей, напр. «сумма угловъ въ треугольникѣ равна двумъ прямымъ» или «часы похожи на людей» (гдѣ между соединяемыми членами часы+сходство съ людьми есть среднее, напр. и часы, и люди лѣтомъ ходятъ медленнѣе, чѣмъ зимою). Не думая изглаживать разницу между этими сужденіями, можно замѣтить, что даже въ строго-синтетическихъ сужденіяхъ, въ коихъ соединеніе членовъ есть слѣдствіе умозаключенія, можно видѣть разложеніе одного круга мыслей, потому-что должна-же въ самомъ субъектѣ заключаться причина, почему онъ требуетъ именно такого предиката и, наоборотъ, предикать долженъ указывать на необходимость соединенія съ тѣмъ, а не другимъ субъектомъ. Если прибавимъ къ этому, что синтетическое сужденіе, какъ предполагающее болѣе усилій ума, должно появиться позже, что должно было быть время исключительнаго господства аналитическихъ сужденій изъ непосредственно чувственнаго воспріятія; то согласимся, что вообще предложенія и сужденія не сложены изъ двухъ представленій или понятій, но чувственный образъ, слѣдовательно единство, есть первое, а сужденіе есть уже разложеніе этого единства» ¹⁾. Однако, съ точки языка нужно прибавить, что такое разложеніе чувственного образа можетъ осуществиться только посредствомъ соединенія его съ другою подобною единицею, такъ-что въ сужденіи, насколько оно выражено сочетаніемъ не менѣе двухъ словъ, можно видѣть не только разложеніе единицы, но и появленіе единства изъ двойственности. Отношеніе этого къ вопросу о первоначальномъ значеніи предложенія пояснимъ многими примѣрами. Предположимъ, что слово *вода* есть

¹⁾ Steinh. Gr. L. und Ps. 330 Cp. Waitz Lehrb. der Ps. 533—4.

привычное сказуемое для входящихъ въ сознание и требующихъ апперцепціи чувственныхъ воспріятій воды, сказуемое, которое не означаетъ еще исключительно предмета, но представляетъ сознанию весь чувственный образъ воды посредствомъ признака *течь* (ср. лат. *Ud-us*, мокрый, влажный, греч. *ὕδ-ος* и русск. собственное имя рѣки *Уды*). Послѣдовательно будетъ принять, что и наши слова *свѣтитъ*, *свѣтлый*, очищенные отъ формальныхъ частицъ и возведенныя къ первобытной формѣ, означали опредѣленный образъ, какъ безразличную совокупность субстанции и атрибутовъ, посредствомъ признака *свѣтитъ*. Въ первообразѣ предложенія «вод (а) свѣт (ла)» составныя части еще не теряютъ свойствъ, принадлежавшихъ имъ, когда онѣ употреблялись только порознь. Если въ новомъ воспріятіи воды глазъ пораженъ ея прозрачностью или отраженіемъ въ ней солнечнаго свѣта, то это воспріятіе сначала все-же апперципируется словомъ *вода* (при чемъ произойдетъ сужденіе, соответствующее нашему: (это) вода!), но вслѣдъ за тѣмъ вызоветъ въ сознание совершенно другой образъ и вторично апперципируется связаннымъ съ этимъ послѣднимъ словомъ *свѣт* (ла). Обозначивши новое воспріятіе черезъ *x*, первое входящее въ сознание слово черезъ *a*, второе черезъ *b*, можемъ выразить весь процессъ такимъ образомъ: $x = a = b$; но *x* не выражается словомъ и не сознается, а потому для сознания остается только $a = b$. Смыслъ предложенія будетъ: представляемое мною въ словѣ *вода* дѣйствуетъ на меня такъ или есть для меня то, что представляемое мною въ словѣ *свѣт* (ла). Точно такъ слово *зеленый* въ старину не только имѣло менѣе опредѣленное значеніе, чѣмъ то, какое мы придаемъ ему теперь, не только означало свѣтлый цвѣтъ вообще, но и безъ сомнѣнія явственно обнаруживало связь съ опредѣленнымъ чувственнымъ образомъ свѣтлаго предмета, хотя нельзя сказать съ какимъ именно. Чувственный образъ звука, цвѣта есть самъ въ себѣ противорѣчіе, потому что мы видимъ не одинъ цвѣтъ, а цвѣтной предметъ, и даже звукъ, котораго дѣйствительный источникъ можетъ отъ насъ скрываться, мы приу-

рочиваемъ къ тому предмету, со стороны коего онъ слышенъ. Названія нѣкоторыхъ цвѣтовъ еще и теперь явственно указываютъ на чувственные образы, изъ коихъ они выдѣлены: какъ *голубой* есть цвѣтъ *голубя*, *соловой*—соловья, поль. *niebieski*—цвѣтъ *неба*, такъ и *зеленый* сначала мыслилось не отдѣльно, какъ качество, а въ чувственномъ образѣ, который обнималъ предметъ, дѣйствіе и качество и обозначался, положимъ, словомъ *гар* или гр. (ср. малор. *гранный*, зеленый, и обычный переходъ *г* въ *з*, *р* въ *л*). Когда слово это соединилось со словомъ *трава* (внутренняя форма коего, видная въ корнѣ *тру-*(ти), ѣсть, жрать, откуда отру-та и о-*трав*-а), то тѣмъ самымъ созналось и отношеніе двухъ до того раздѣльныхъ чувственныхъ образовъ, и предложеніе «трава зелена» значило: «то, что я представляю *смыслю* значить для меня то, что я представляю *свѣтлымъ*». Мы не можемъ себѣ представить первоначальнаго предложенія иначе, какъ въ видѣ явственнаго для говорящаго сравненія двухъ самостоятельно сложившихся чувственныхъ образовъ, и по этому поводу напомнимъ сдѣланное выше опредѣленіе слова вообще, какъ средства апперцепціи или, что тоже, средства сравненія. Въ языкѣ нѣтъ собственныхъ выраженій, и чѣмъ болѣе точному анализу подвергнемъ мы слово, тѣмъ болѣе сходства обнаружить оно съ символическими выраженіями позднѣйшей народной поэзіи, съ тою, конечно, разницею, что послѣднія въ общей массѣ будутъ гораздо сложнѣе и отвлеченнѣе первобытныхъ искомымъ реченій.

Согласившись видѣть сравненія въ первобытныхъ предложеніяхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны будемъ принять ихъ несовершенство и недостаточность для цѣлой мысли. Какъ бы ни было прекрасно сравненіе, но оно заставляетъ насъ думать о многомъ, что вовсе не составляетъ необходимой принадлежности мыслимаго субъекта, оно насъ развлекаетъ или, лучше сказать, само есть отсутствіе той сосредоточенности, безъ которой нѣтъ строгаго мышленія. Положимъ, что сравненіе старыхъ супруговъ съ двумя пнями

безъ отпрысковъ (срб. «Бао два одејена паня») говорить намъ о сиротствѣ, бездѣтности; но этотъ предивать непосредственно присоединяется къ субъекту и заставляетъ насъ перейти отъ человѣка къ дереву, жизнь котораго въ сущности совершенно отлична отъ человѣческой, присоединяетъ къ мысли о бездѣтной старости человѣка много такого, что, съ нашей точки, не должно бы заключаться въ этой мысли. Тоже слѣдуетъ сказать о первоначальномъ значеніи предложеній «вода свѣтла», «трава зелена»: они еще слишкомъ напоминали случайную ассоціацію воспріятій, хотя уже не были ею въ дѣйствительности. Отвѣтъ на возникающій отсюда вопросъ о средствахъ, какими мысль достигаетъ той степени отвлеченности, которая даетъ намъ возможность принимать сравненія за собственные выраженія и непосредственно, не думая о постороннемъ, находить въ субъектѣ извѣстные признаки; отвѣтъ на это найдется, если сообразимъ слѣдующее. Сказуемое въ предложеніи «трава зелена», рассматриваемое отдѣльно отъ подлежащаго, есть для насъ не цвѣтъ извѣстнаго предмета, а зеленый цвѣтъ вообще, потому что мы *забыли* и внутреннюю форму этого слова, и тотъ опредѣленный кругъ признаковъ (образъ), который доводился ею до сознанія; точно-такъ и подлежащее *трава* даетъ намъ возможность безъ всякихъ фигуръ присоединить къ нему извѣстное сказуемое, потому что для насъ это слово обозначаетъ не «служащее въ пищу», а траву вообще, какъ субстанцію, готовую принять всякій аттрибутъ. Такое *забвеніе* внутренней формы можетъ быть удовлетворительно выведено изъ многократнаго повторенія процесса соединенія словъ въ двучленные единицы. Чѣмъ съ большимъ количествомъ различныхъ подлежащихъ соединилось сказуемое *зеленый*, тѣмъ болѣе терялись въ массѣ другихъ признаки образа, первоначально съ нимъ связаннаго. Способность забвенія и здѣсь, какъ при объединеніи чувственнаго образа до появленія слова, является средствомъ оттѣнить и выдвинуть впередъ извѣстныя черты воспріятій. Но оставляемое такимъ образомъ въ тѣни не пропадаетъ даромъ, потому

что, съ другой стороны, чѣмъ больше различныхъ сказуемыхъ перебивало при словѣ *травы*, тѣмъ на большее количество сужденій разложился до того нераздѣльный образъ травы. Субстанція травы, очищаясь отъ всего посторонняго, вмѣстѣ съ тѣмъ обогащается атрибутами.

Всякое сужденіе есть актъ анперцепціи, толкованія, познанія, такъ что совокупность сужденій, на которыя разложился чувственный образъ, можемъ назвать аналитическимъ познаніемъ образа. Такая совокупность есть *понятіе*.

Потому же, почему разложеніе чувственного образа невозможно безъ слова, необходимо принять и необходимость слова для понятія. Мы еще разъ приведемъ относящееся сюда мѣсто Гумбольта, гдѣ теперь легко будетъ замѣтить важную черту, дополняющую только-что сказанное о понятіи. «Интеллектуальная дѣятельность, вполнѣ духовная и внутренняя, проходящая нѣкоторымъ образомъ безслѣдно, въ звукъ рѣчи становится чѣмъ-то внѣшнимъ и осязаемымъ для слуха... Она (эта дѣятельность) и сама по себѣ (независимо отъ принимаемаго здѣсь Гумбольтомъ тождества съ языкомъ) заключаетъ въ себѣ необходимость соединенія со звукомъ: безъ этого *мысль не можетъ достигнуть ясности, представленіе* (т. е. по принятой нами терминологіи, чувственный образъ) *не можетъ стать понятіемъ* ¹⁾). Здѣсь признается тождественность *ясности* мысли и *понятія*, и это вѣрно, потому что образъ, какъ безымянный конгломератъ отдѣльныхъ актовъ души, не существуетъ для самосознанія и *уясняется* только по мѣрѣ того, какъ мы раздробляемъ его, превращая посредствомъ слова въ сужденія, совокупность коихъ составляетъ понятіе. Значеніе слова при этомъ условливается его чувственностью. Въ ряду сужденій, развивающемся изъ образа, послѣдующія возможны только тогда, когда предшествующія объективированы въ словѣ. Такъ, шахматному игроку нужно видѣть передъ собою доску, съ расположенными на ней фигурами, чтобы дѣлать ходы,

¹⁾ Ueb. die Versch. 51.

сообразные съ положеніемъ игры; какъ для него сначала смутный и шаткій планъ уясняется по мѣрѣ своего осуществленія, такъ для мыслящаго—мысль по мѣрѣ того, какъ выступаетъ ея пластическая сторона въ словѣ и вмѣстѣ, какъ разматывается ея клубокъ. Можно играть и не глядя на доску, при чемъ непосредственное чувственное воспріятіе доски и шашекъ замѣняется воспоминаніемъ; явленіе это только потому принадлежитъ къ довольно рѣдкимъ, что такое крайне-спеціализированное мышленіе, какъ шахматная игра, лишь для немногихъ есть дѣло жизни. Подобнымъ образомъ можно думать безъ словъ, ограничиваясь только болѣе-менѣе явственными указаніями на нихъ или-же прямо на самое содержаніе мыслимаго, и такое мышленіе встрѣчается гораздо чаще (напр. въ наукахъ, отчасти замѣняющихъ слова формулами), именно вслѣдствіе своей большей важности и связи со многими сторонами человѣческой жизни. Не слѣдуетъ однако забывать, что умѣнье думать по человѣчески, но безъ словъ, дается только словомъ, и что глухонѣмой безъ говорящихъ или выученныхъ говорящими учителями, вѣкъ оставался бы почти животнымъ.

Съ ясностію мысли, характеризующею понятіе, связано другое его свойство, именно то, что только понятіе (а вмѣстѣ съ тѣмъ и слово, какъ необходимое его условіе) вноситъ идею законности, необходимости, порядка въ тотъ міръ, которымъ человѣкъ окружаетъ себя и который ему суждено принимать за дѣйствительный. Если уже, говоря о человѣческой чувственности, мы видѣли въ ней стремленіе, объективно оцѣнивая воспріятія, искать въ нихъ самихъ внутренней законности, строить изъ нихъ систему, въ которой отношенія членовъ столь-же необходимы, какъ и члены сами по себѣ; то это было только признаніемъ невозможности иначе отличить эту чувственность отъ чувственности животныхъ. На дѣлѣ упомянутое стремленіе становится замѣтнымъ только въ словѣ и развивается въ понятіи. До сихъ поръ форму вліянія предшествующихъ мыслей на послѣдующія мы одинаково могли называть сужденіемъ, апперценціею, связы-

вала ли эта послѣдняя образы или представленія и понятія; но принимая бытіе познанія, исключительно свойственнаго человѣку, мы тѣмъ самымъ отличали извѣстный родъ апперцепціи отъ простаго отнесенія новаго воспріятія къ сложившейся прежде схемѣ. Здѣсь только яснѣе скажемъ, что собственно человѣческая апперцепція, сужденіе представленія и понятія, отличается отъ животной тѣмъ, что рождаетъ мысль о необходимости соединенія своихъ членовъ. Эта необходимость податлива: предъ лицомъ всякаго новаго сочетанія, уничтожающаго прежнія, эти послѣднія являются заблужденіемъ; но и то, что признано нами за ошибку, въ свое время имѣло характеръ необходимости, да и самое понятіе о заблужденіи возможно только въ душѣ, которой доступна его противоположность. Когда Филиппъ сказалъ Наѳанаилу: «мы нашли того, о комъ писалъ Мойсей въ законъ и пророки, Иисуса, сына Іосифова, изъ Назарета», и когда Наѳанаиль отвѣчалъ ему: «можетъ-ли что путнее быть изъ Назарета», онъ, какъ самъ потомъ увидѣлъ, ошибался, но очень неполное понятіе о человѣкѣ, родомъ изъ Назарета, было для него готовою нормою, съ которою необходимо должно было сообразоваться все, что будетъ отнесено къ ней впоследствии. Такіе примѣры на каждомъ шагу въ жизни. Не останавливаясь на такихъ однородныхъ съ упомянутымъ случаяхъ, какъ употребленіе руководящихъ нашимъ мнѣніемъ понятій кацапа, хохла, цыгана, жида, Собакевича, Манилова, мы замѣтимъ, что и тамъ, гдѣ нѣтъ клички, нѣтъ ни явственной похвалы, ни порицанія, *общее* служитъ однако закономъ *частному*. Если извѣстная пословица «гурица не птица, прапорщикъ не офицеръ» предполагаетъ знаніе, какова *должна быть* настоящая птица, настоящій офицеръ, то опредѣляющее понятіе или слово въ простомъ утвержденіи «это — птица» или «птица!» должно тоже содержать въ себѣ законъ объясняемаго, хотя въ выраженіи «птица», въ которомъ одинъ членъ апперцепціи—еще чувственное воспріятіе, не получившее обдѣлки, необходимой для дальнѣйшихъ успѣховъ мысли, этотъ законъ—еще только въ зародышѣ. Такимъ законодательнымъ схемамъ под-

чиняетъ человѣкъ и все свои дѣйствія. Произволь, собственно говоря, возможенъ только на дѣлѣ, а не въ мысли, не на словахъ, которыми человѣкъ объясняетъ свои побужденія. Самодуръ, въ располохъ принужденный къ отвѣту, на чемъ онъ основываетъ свою дурь, скажетъ: «я такъ хочу», отвергая всякую мѣру своихъ дѣйствій, сошлетъ однако на свое я, какъ на законъ. Но онъ самъ недоволенъ своимъ отвѣтомъ и сдѣлалъ его только потому, что не нашель другаго. Кажется труднымъ представить себѣ «*sic volo*», сказанное не въ шутку, но безъ гнѣва. Въ недалекомъ отъ него, но болѣе спокойномъ «такой ужъ у меня норовъ», слышится извиненіе и болѣе явственное сознаніе необходимости, съ какою изъ извѣстныхъ нравственныхъ качествъ вытекають тѣ, а не другія дѣйствія. Чаще произволь ищетъ оправданія внѣ себя, въ мысли, что «на томъ свѣтъ стоитъ» и т. п., при чемъ ясно выступаетъ сознаніе закона отдѣльныхъ явленій. Какъ сами себя осуждаемъ за «*sic volo*», такъ вчужѣ то, для чего не можемъ принскать закона, что «ни ракъ, ни рыба», тѣмъ самымъ становится для насъ достойнымъ порицанія.

Изъ сказаннаго можно видѣть, чего мы не предполагаемъ въ соотвѣтствующихъ человѣческимъ формамъ душевной дѣятельности животныхъ. Если собака обнаруживаетъ радость при стукѣ тарелокъ, или если отогнанная гуртовщикомъ скотина реветъ, не встрѣчая знакомыхъ предметовъ, если птица съ крикомъ кружится надъ разореннымъ гнѣздомъ, то въ первомъ случаѣ произошло нѣчто въ родѣ положительнаго сужденія (новое воспріятіе *есть* сумма прежнихъ, т. е. сливается съ ними), въ двухъ другихъ—нѣчто въ родѣ сужденія отрицательнаго (новое *не есть* прежнее, т. е. не сливается со входящимъ въ сознаніе прежнимъ). Но нигдѣ нѣтъ внутренняго единства между членами сочетанія, потому что нигдѣ одинъ членъ не является закономъ, который бы управлялъ другимъ. Внутреннее единство, противоположное механичности сочетанія, тождественно для насъ съ сознаніемъ необходимости или случайности. Это единство сводится на отношеніе между предметомъ и его признакомъ, субстанціею и атрибутомъ или акци-

денцію. Въ животномъ мы потому же отрицаемъ сознание необходимости, почему не приписываемъ ему вообще способности критически относиться къ механическому теченію своихъ воспріятій, почему не предполагаемъ въ немъ разложенія чувственныхъ данныхъ на предметы и признаки ¹⁾).

Слово не есть, какъ и слѣдуетъ изъ предъидущаго, внѣшняя прибавка къ готовой уже въ человѣческой душѣ идеѣ необходимости. Оно есть вытекающее изъ глубины человѣческой природы средство создавать эту идею, потому что только посредствомъ него происходитъ и разложеніе мысли. Какъ въ словѣ впервые человѣкъ сознаетъ свою мысль, такъ въ немъ же прежде всего онъ видитъ ту законность, которую потомъ переноситъ на міръ. Мысль, вскормленная словомъ, начинаетъ относиться непосредственно къ самимъ понятіямъ, въ нихъ находитъ искомое знаніе, на слово же начинаетъ смотрѣть какъ на посторонній и произвольный знакъ, и представляетъ спеціальной наукѣ искать необходимости въ цѣломъ зданіи языка и въ каждомъ отдѣльномъ его камнѣ.

Столь же важную роль играетъ слово и относительно другаго свойства мысли, нераздѣльнаго съ предшествующимъ, именно относительно стремленія всему назначать свое мѣсто въ системѣ. Какъ необходимость достигаетъ своего развитія въ понятіи и наукѣ, исключаящей изъ себя все случайное, такъ и наклонность систематизировать удовлетворяется наукою, въ которую не входитъ безсвязное. Путь наукъ уготовляется словомъ. «Нерѣдко, говоритъ Лотце, кажется, будто мы неполнѣ знаемъ извѣстный предметъ, свойства коего мы изслѣдовали со всѣхъ сторонъ, полный образъ коего мы уже составили, если не знаемъ его имени. Повидимому только звукъ слова мгновенно разсѣваетъ эту тьму, хотя этотъ звукъ ничего не прибавляетъ къ содержанію, хотя далеко не всегда слово объясняетъ предметъ указаніемъ его мѣста въ ряду другихъ или въ объемѣ высшаго понятія» (сочетанія въ родѣ нашихъ: *трость* — *дерево*, *китъ* — *рыба*, вѣм. *Wallfisch*,

¹⁾ Ср. Lotze, Mikrokosm. I, 253—6; II, 231—2, 277—8, 280—3.

Rennthier — довольно рѣдки). «Ботанизирующей молодежи доставляемъ удовольствіе узнавать латинскія названія растеній», или, чтобы взять болѣе знакомый намъ примѣръ, мы заботливо узнаемъ у ямщика имя встрѣчной деревушки, хотя что же намъ даетъ, повидимому, собственное имя? «Намъ мало воспріятія предмета; чтобы имѣть право на бытіе, этотъ предметъ долженъ быть частью расчлененной системы, которая имѣетъ значеніе сама по себѣ, независимо отъ нашего знанія. Если мы не въ силахъ дѣйствительно опредѣлить мѣсто, занимаемое извѣстнымъ явленіемъ въ цѣломъ природы, то довольствуемся однимъ именемъ. Имя свидѣтельствуемъ намъ, что вниманіе многихъ другихъ покоилось уже на встрѣченномъ нами предметѣ; оно ручается намъ за то, что общій разумъ (*Intelligenz*), по-крайней-мѣрѣ, пытался уже и этому предмету назначить опредѣленное мѣсто въ единствѣ болѣе обширнаго цѣлага. Если имя и не даетъ ничего новаго, никакихъ частныхъ предмета, то оно удовлетворяетъ человѣческому стремленію постигать объективное значеніе вещей, оно представляетъ незнакомое намъ чѣмъ-то не безизвѣстнымъ общему мышленію человечества, но давно уже постановленнымъ на свое мѣсто. Потому то произвольно данное нами имя не есть имя; недостаточно назвать вещь, какъ попало: она дѣйствительно должна такъ называться, какъ мы ее зовемъ; имя должно быть свидѣтельствомъ, что вещь принята въ міръ общепризнаннаго и познаннаго и, какъ прочное опредѣленіе вещи, должно ненарушимо противустоять личному произволу» ¹⁾). Все выписанное здѣсь кажется вполне справедливымъ и напоминаетъ мысль Гумбольта: «*Sprechen heisst sein besonderes Denken an das allgemeine anknüpfen*», говорить значитъ связывать свою личную узкую мысль съ мышленіемъ своего племени, народа, человечества. Намъ остается только прибавить, что только въ ту пору, когда человѣку стала болѣе-менѣе доступна научная система понятій, слово на самомъ дѣлѣ вноситъ въ мысль весьма

¹⁾ Lotze Mikr. II, 238—9.

мало; первоначально же оно дѣйствительно даетъ новое содержаніе, указывая на отношенія мыслимой единицы къ ряду другихъ. Въ этомъ можно убѣдиться напр. изъ всякаго разумнаго, основаннаго на языкѣ, мѣологическаго изслѣдованія. Въ извѣстные періоды живость внутренней формы даетъ мысли возможность проникать въ прозрачную глубину языка; слово, обозначающее, положимъ, старость человѣка, своимъ сродствомъ со словами для дерева указываетъ на мѣю о происхожденіи людей изъ деревьевъ, по своему связываетъ человѣка и природу, вводитъ слѣдовательно мыслимое при словѣ *старость* въ систему своеобразную, несоотвѣтствующую научной, но предполагаемую ею.

Указанныя до сихъ поръ отношенія понятія къ слову сводятся къ слѣдующему: слово есть средство образованія понятія, и притомъ не внѣшнее, не такое, каковы изобрѣтенныя человѣкомъ средства писать, рубить дрова и проч., а внушенное самою природою человѣка и незамѣнимое; характеризующая понятіе ясность (раздѣльность признаковъ), отношеніе субстанции къ атрибуту, необходимость въ ихъ соединеніи, стремленіе понятія занять мѣсто въ системѣ: все это первоначально достигается въ словѣ и прообразуется имъ такъ, какъ рука прообразуетъ всевозможныя машины. Съ этой стороны слово сходно съ понятіемъ, но здѣсь же видно и различіе того и другаго.

Понятіе, разсматриваемое психологически, т. е. не съ одной только стороны своего содержанія, какъ въ логикѣ, но и со стороны формы своего появленія въ дѣйствительности, однимъ словомъ—какъ дѣятельность, есть извѣстное количество сужденій, слѣдовательно не одинъ актъ мысли, а цѣлый рядъ ихъ. Логическое понятіе, т. е. одновременная совокупность признаковъ, отличенная отъ агрегата признаковъ въ образѣ, есть фикція, впрочемъ совершенно необходимая для науки. Несмотря на свою длительность, психологическое понятіе имѣетъ внутреннее единство. Въ нѣкоторомъ смыслѣ оно заимствуетъ это единство отъ чувственнаго образа, потому что, конечно, еслибы напримѣръ образъ

дерева не отдѣлился отъ всего посторонняго, которое воспринималось вмѣстѣ съ нимъ, то и разложеніе его на сужденія съ общимъ субъектомъ было бы невозможно; но какъ о единствѣ образа мы знаемъ только черезъ представленіе и слово, такъ и рядъ сужденій о предметѣ связывается для насъ тѣмъ-же словомъ. Слово можетъ, слѣдовательно, одинаково выражать и чувственный образъ, и понятіе. Впрочемъ человѣкъ, нѣкоторое время пользовавшійся словомъ, развѣ только въ очень рѣдкихъ случаяхъ будетъ разумѣть подъ нимъ чувственный образъ, обыкновенно же думаетъ при немъ рядъ отношеній: легко представить себѣ, что слово *солнце* можетъ возбуждать одно только воспоминаніе о свѣтломъ солнечномъ кругѣ; но не только астронома, а и ребенка или дикаря оно заставляетъ мыслить рядъ сравненій солнца съ другими примѣтами, т. е. понятіе, болѣе или менѣе совершенное, смотря по развитію мыслящаго, напр. солнце—меньше (или же многимъ больше) земли; оно колесо (или имѣетъ сферическую форму); оно благодѣтельное или опасное для человѣка божество (или безжизненная матерія, вполне подчиненная механическимъ законамъ) и т. д. Мысль наша, по содержанію, есть или образъ, или понятіе; третьяго средняго между тѣмъ и другимъ нѣтъ; но на поясненіи слова понятіемъ или образомъ мы останавливаемся только тогда, когда особенно имъ заинтересованы, обыкновенно же ограничиваемся однимъ только словомъ. Поэтому мысль со стороны формы, въ какой она входитъ въ сознаніе, можетъ быть не только образомъ или понятіемъ, но и представленіемъ или словомъ. Отсюда ясно отношеніе слова къ понятію. Слово, будучи средствомъ развитія мысли, измѣненія образа въ понятіе, само не составляетъ ея содержанія. Если помнится центральный признакъ образа, выражаемый словомъ, то онъ, какъ мы уже сказали, имѣетъ значеніе не самъ по себѣ, а какъ знакъ, символъ извѣстнаго содержанія; если вмѣстѣ съ образованіемъ понятія теряется внутренняя форма, какъ въ большей части нашихъ словъ, принимаемыхъ за коренныя, то слово становится чистымъ указаніемъ на мысль,

между его звукомъ и содержаніемъ не остается для сознанія говорящаго нечего средняго. Представлять значить, слѣдовательно, думать сложными рядами мыслей, не вводя почти ничего изъ этихъ рядовъ въ сознаніе. Съ этой стороны значеніе слова для душевной жизни можетъ быть сравнено съ важностью буквеннаго обозначенія численныхъ величинъ въ математикѣ, или со значеніемъ различныхъ средствъ, замѣняющихъ непосредственно цѣнные предметы (напр. денегъ, векселей) для торговли. Если сравнить созданіе мысли съ приготовленіемъ ткани ¹⁾, то слово будетъ ткацкій челнокъ, разомъ проводящій утокъ въ рядъ нитей основы и замѣняющій медленное плетенье ²⁾. Поэтому несправедливо было бы упрекать языкъ въ томъ, что онъ замедляетъ теченіе нашей мысли. Нѣтъ сомнѣнія, что тѣ дѣйствія нашей мысли, которыя въ мгновеніе своего совершенія не нуждаются въ непосредственномъ пособіи языка, происходятъ очень быстро. Въ обстоятельствахъ, требующихъ немедленнаго соображенія и дѣйствія, напр. при неожиданномъ вопросѣ, когда многое зависитъ отъ того, каковъ будетъ нашъ отвѣтъ, человѣкъ до отвѣта въ одно почти недѣлимое мгновеніе можетъ безъ словъ передумать весьма многое. Но языкъ не отнимаетъ у человѣка этой способности, а напротивъ, если не даетъ, то по-крайней-мѣрѣ усиливаетъ ее. То, что называютъ житейскимъ, научнымъ, литературнымъ тактомъ, очевидно предполагаетъ мысль о жизни, наукѣ, литературѣ, — мысль, которая не могла бы существовать безъ слова. Еслибы человѣку доступна была только безсловесная быстрота рѣшенія, и еслибы слово, какъ условіе совершенствованія,

¹⁾ Zwar ist's mit der Gedanken-Fabrik,
Wie mit einem Weber-Meisterstück,
Wo ein Tritt tausend Fäden regt,
Die Schiffllein herüber hinüber schiessen,
Die Fäden ungesehen fließen,
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.

(Faust).

²⁾ G. Steintal, Zur Sprachphilos. Zeitschrift von Fichte und Ulrici, XXXII, 197—201.

было нераздѣльно съ медленностію мысли, то все же эту медленность слѣдовало бы предпочесть быстротѣ. Но слово, раздробляя одновременные акты души на послѣдовательные ряды актовъ, въ тоже время служить опорю врожденнаго человѣку стремленія обнять многое однимъ нераздѣльнымъ порывомъ мысли. Дробность, дискурсивность мышленія, приписываемая языку, создала тотъ стройный міръ, за предѣлы коего мы, разъ вступивши въ нихъ, уже не выходимъ; только, забывая это, можно жаловаться, что именно языкъ мѣшаетъ намъ продолжать твореніе. Крайняя бѣдность и ограниченность сознанія до слова не подлежитъ сомнѣнію, и говорить о несовершенствахъ и вредѣ языка вообще было бы умѣстно только въ такомъ случаѣ, еслибы мы могли принять за достояніе человѣка недосыгаемую цѣль его стремленій, божественное совершенство мысли, примиряющее полную наглядность и непосредственность чувственныхъ воспріятій съ совершенною одновременностію и отличностію мысли.

Слово можетъ быть орудіемъ съ одной стороны разложенія, съ другой—*сгущенія* мысли единственно потому, что оно есть представленіе, т. е. не образъ, а образъ образа. Если образъ есть актъ сознанія, то представленіе есть познаніе этого сознанія. Такъ какъ простое сознаніе есть дѣятельность не посторонняя для насъ, а въ насъ происходящая, обусловленная нашимъ существомъ, то сознаніе сознанія или *естъ* то, что мы называемъ самосознаніемъ, или полагаетъ ему начало и ближайшимъ образомъ сходно съ нимъ. Слово рождается въ человѣкѣ неволью и инстинктивно, а потому и результатъ его, самосознаніе, должно образоваться инстинктивно. Здѣсь найдемъ противорѣчіе, если атрибутомъ самосознанія сдѣлаемъ свободу и намѣренность.

Если бы въ то самое мгновеніе, какъ я думаю и чувствую, мысль моя и чувство отражались въ самосознающемъ *я*, то дѣйствительно упомянутое противорѣчіе имѣло бы полную силу. На сторонѣ *я*, какъ объекта, была бы необходимость, съ какою представленія и чувства, смѣняя другъ друга, безъ нашего вѣдома образуютъ тѣ или другія соче-

танія; на сторонѣ *я*, какъ субъекта, была-бы свобода, съ какою это внутреннее око то обращается къ сценѣ душевной жизни, то отвращается отъ нея. *Я* сознающее и *я* создаваемое не имѣли бы ничего общаго: *я*, какъ объектъ, намъ извѣстно, измѣнчиво, усовершимо; *я*, какъ субъектъ, неопредѣлимо, потому что всякое его опредѣленіе есть содержаніе мысли, предметъ самосознанія, нетождественный съ самосознающимъ *я*; оно неизмѣнно и неусовершимо, по-крайней-мѣрѣ неусовершимо понятнымъ для насъ образомъ, потому что предикатовъ его, въ коихъ должно происходить измѣненіе, мы не знаемъ. Допустивши одновременность создаваемого и сознающаго, мы должны отказаться отъ объясненія, почему самосознаніе пріобрѣтается только долгимъ путемъ развитія, а не дается намъ вмѣстѣ съ сознаниемъ.

Но опытъ показываетъ, что настоящее наше состояніе не подлежитъ нашему наблюденію, и что замѣченное нами за собою принадлежитъ уже прошедшему. Дѣятельность моей мысли, становясь сама предметомъ моего наблюденія, измѣняется извѣстнымъ образомъ, перестаетъ быть собою; еще очевиднѣе, что сознаніе чувства, слѣдовательно мысль, не есть это чувство. Отсюда можно заключить, что въ самосознаніи душа не раздвояется на *сознаваемое* и *чистое сознающее я*, а переходитъ отъ одной мысли къ мысли объ этой мысли, т. е. къ другой мысли, точно такъ, какъ при сравненіи отъ сравниваемого къ тому, съ чѣмъ сравнивается. Затрудненія, встрѣчаемыя при объясненіи самосознанія, понятнаго такимъ образомъ, тѣже, что и при объясненіи простаго сравненія. Говоря, что создаваемое въ процессѣ самосознанія есть прошедшее, мы сближаемъ его отношеніе къ сознающему *я* съ тѣмъ отношеніемъ, въ какомъ находится прочитанная нами первая половина періода ко второй, которую мы читаемъ въ данную минуту и которая, дополняя первую, сливается съ нею въ одинъ актъ мысли. Если я говорю: «Я думаю то-то», то это можетъ значить, что я прилагаю такую-то свою мысль, въ свое мгновеніе поглощавшую всю мою умственную дѣятельность, къ непрерывному ряду

чувственныхъ воспріятій, мыслей, чувствъ, стремленій, составляющему мое *я*; это значить, что я апперципирую упомянутую мысль своимъ *я*, изъ котораго въ эту минуту можетъ находиться въ сознаниі очень немногое. Апперципирующее не есть здѣсь неизмѣнное чистое *я*, а, напротивъ, есть нѣчто очень измѣнчивое, нарастающее съ общимъ нашимъ развитіемъ; оно не тождественно, но однородно съ апперципируемымъ, подлежащимъ сомосознанію; можно сказать, что при самосознаніи данное состояніе души не отражается въ ней самой, а находится подъ наблюденіемъ другаго его состоянія, т. е. извѣстной, болѣе или менѣе опредѣленной мысли. Такъ напр., спрашивая себя, не проронилъ ли я лишняго слова въ разговорѣ съ такимъ то, я стараюсь дать отчетъ не чистому *я* и не всему содержанію своего эмпирическаго *я*, а только одной мысли объ томъ, что слѣдовало мнѣ говорить съ этимъ лицомъ, мысли, безъ сомнѣнія, связанной со всеѣмъ моимъ прошедшимъ. Такъ у психолога извѣстный научный вопросъ, цѣль, для которой онъ наблюдаетъ за собою, есть вмѣстѣ и наблюдающая, господствующая въ то время въ его сознаниі частица его *я*. Разсматривая самосознаніе съ такой точки, съ которой оно сходно со всякою другою апперценціею, можно его вывести изъ такихъ ненамѣренныхъ душевныхъ дѣйствій, какъ апперценція въ словѣ, т. е. представленіе.

Доказывая, что представленіе есть инстинктивное начало самосознанія, не слѣдуетъ однако упускать изъ виду, что содержаніе самосознанія, т. е. раздѣленіе всего, что есть и было въ сознаниі на *я* и *не я*, есть нѣчто постоянно развивающееся, и что конечно въ ребенкѣ, только что начинающемъ говорить, не найдемъ того отдѣленія себя отъ міра, какое находятъ въ себѣ развитый человѣкъ. Если для ребенка въ первое время его жизни все, приносимое ему чувствами, все содержаніе его души есть еще нерасчлененная масса, то конечно самосознанія въ немъ быть не можетъ, но есть уже необходимое условіе самосознанія, именно невыразимое чувство непосредственной близости всего

находящагося въ сознаниі къ сознающему субъекту. Нѣкоторое понятіе объ этомъ чувствѣ взрослый человѣкъ можетъ получить, сравнивая живость ощущеній, какими наполняютъ его текуція мгновенія жизни, съ тѣмъ большимъ или меньшимъ спокойствіемъ, съ какимъ онъ съ высоты настоящаго смотритъ на свое прошедшее, котораго онъ уже не чувствуетъ своимъ, или—съ равнодушнымъ отношеніемъ человѣка ко внѣшнимъ предметамъ, не составляющимъ его личности. На первыхъ порахъ для ребенка еще все—свое, еще все—его *я*, хотя именно потому, что онъ не знаетъ еще внутренняго и внѣшняго, можно сказать и наоборотъ, что для него вовсе нѣтъ своего *я*. По мѣрѣ того, какъ извѣстныя сочетанія воспріятій отдѣляются отъ этого темнаго грунта, слагаясь въ образы предметовъ, образуется и самое *я*; составъ этого *я* зависитъ отъ того, на сколько оно выдѣлило изъ себя и объективировало *не—я*, или, наоборотъ, отъ того, насколько само выдѣлилось изъ своего міра: все равно, скажемъ ли мы такъ или иначе, потому что исходное состояніе сознания есть полное безразличіе *я* и *не я*. Ходъ объективирования предметовъ можетъ быть иначе названъ процессомъ образованія взгляда на міръ; онъ не выдумка досужихъ головъ; разныя его степени, замѣтныя въ недѣлимомъ, повторяетъ въ колоссальныхъ размѣрахъ исторія человѣчества. Очевидно напр., что когда міръ существовалъ для человѣчества только какъ рядъ живыхъ, болѣе или менѣе человѣкообразныхъ существъ, когда въ глазахъ человѣка свѣтила ходили по небу не въ силу управляющихъ ими механическихъ законовъ, а руководясь своими соображеніями; очевидно, что тогда человѣкъ менѣе выдѣлялъ себя изъ міра, что міръ его былъ болѣе субъективенъ, что тѣмъ самымъ и составъ его *я* былъ другой, чѣмъ теперь. Можно оставаться при успокоительной мысли, что наше собственное міросозерцаніе есть вѣрный снимокъ съ дѣйствительнаго міра, но нельзя же намъ не видѣть, что именно въ сознаниі заключались причины, почему человѣку періода миѳовъ міръ представлялся такимъ, а не другимъ. Нужно ли прибавлять,

что считать созданье мифовъ за ошибку, болѣзнь челоуѣчества, значить думать, что челоуѣкъ можетъ разомъ начать со строго-научной мысли, значить полагать, что мотылекъ заблуждается, являясь сначала червякомъ, а не мотылькомъ?

Показать на дѣлѣ участіе слова въ образованіи послѣдовательнаго ряда системъ, обнимающихъ отношенія личности къ природѣ, есть основная задача исторіи языка; въ общихъ чертахъ мы вѣрно поймемъ значеніе этого участія, если приняли основное положеніе, что языкъ есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее, что онъ не отраженіе сложившагося міросозерцанія, а слагающая его дѣятельность. Чтобы уловить свои душевныя движенія, чтобы осмыслить свои внѣшнія воспріятія, челоуѣкъ долженъ каждое изъ нихъ объективировать въ словѣ и слово это привести въ связь съ другими словами. Для пониманія своей и внѣшней природы вовсе не безразлично, какъ представляется намъ эта природа, посредствомъ какихъ именно сравненій стали ощутительны для ума отдѣльныя ея стихіи; насколько истинны для насъ сами эти сравненія, однимъ словомъ—не безразличны для мысли: первоначальное свойство и степень забвенія внутренней формы слова. Наука въ своемъ теперешнемъ видѣ не могла бы существовать, если бы напр. оставившія ясный слѣдъ въ языкѣ сравненія душевныхъ движеній съ огнемъ, водою, воздухомъ, всего челоуѣка съ растеніемъ и т. д. не получили для насъ смысла только риторическихъ украшеній или не забылись совсѣмъ; но тѣмъ-не-менѣе она развилась изъ мифовъ, образованныхъ посредствомъ слова. Самый мифъ сходенъ съ наукою въ томъ, что и онъ произведенъ стремленіемъ къ объективному познанію міра.

Чувственный образъ, исходная форма мысли, вмѣстѣ и субъективенъ, потому что есть результатъ намъ исключительно принадлежащей дѣятельности и въ каждой душѣ слагается иначе, и объективенъ, потому что появляется при такихъ, а не другихъ внѣшнихъ возбужденіяхъ и проицируется душою. Отдѣлять эту послѣднюю сторону отъ той, которая не дается челоуѣку внѣшними вліяніями и, слѣдова-

тельно, принадлежить ему самому, можно только посредством слова. Рѣчь нераздѣльна съ пониманіемъ, и говорящій, чувствуя, что слово принадлежить ему, въ тоже время предполагаетъ, что слово и представленіе не составляютъ исключительной личной его принадлежности, потому что понятное говорящему принадлежить слѣдовательно и этому послѣднему.

Быть можетъ, мы не впадемъ въ противорѣчіе со сказаннымъ выше о высокомъ значеніи слова для развитія мысли, если позволимъ себѣ сравнить его съ игрою, забавою. Сравненіе «*n'est pas raison*», но оно, какъ говорятъ, можетъ навести на мысль. Забавы нельзя устранить изъ жизни взрослого и серьезнаго человѣка, но взрослый долженъ судить о ея важности не только потому, какое значеніе она имѣетъ для него теперь, а и потому, что значила она для него прежде, въ дѣтствѣ. Ребенокъ еще не двойтъ своей дѣятельности на трудъ и забаву, еще не знаетъ другаго труда, кромѣ игры; игра—приготовленіе къ работѣ, игра для него исчерпываетъ лучшую часть его жизни, и потому онъ высоко ее цѣнитъ. Точно такъ, мы не можемъ отдѣлаться отъ языка, хотя во многомъ стоимъ выше его (во многомъ—ниже, насколько отдѣльное лицо ниже всего своего народа); о важности его должны судить не только потому, какъ мы на него смотримъ, но и потому, какъ смотрѣли на него предшествоующіе вѣка. Не вдаваясь въ серьезные изслѣдованія, мы здѣсь только напомнимъ на отчасти извѣстные факты, характеризующіе этотъ взглядъ темныхъ вѣковъ.

Теперь и въ простомъ народѣ замѣтно нѣкоторое равнодушіе къ тому, какое именно изъ многихъ подобныхъ словъ употребить въ данномъ случаѣ. Судя по нѣкоторымъ пословицамъ (напр. «не вмеръ Данило, болячка вдавила»), народу кажется смѣшнымъ не видѣть тождества мысли за различіемъ словъ ¹⁾. На такой степени развитія, какъ та,

¹⁾ Ср. польск. „*Ne kijem, ino palka*; серб. *Није по шјаи, ветъ по врату*. Срп. Посл. Кар. 216“. *Није украо, него узео, да нико не види, ib.* 219; *Не бојамсе, но ме је страхъ* (говорится въ шутку, когда кто скажетъ, что не боялся),

на которую указывают подобныя пословицы, находимся мы. За словомъ, которое намъ служить только указаніемъ на предметъ, мы думаемъ видѣть самый предметъ, независимый отъ нашего взгляда ¹⁾). Не то предполагаемъ во времена далекія отъ нашего и даже во многихъ случаяхъ въ современномъ простомъ народѣ, употребляющемъ упомянутыя пословицы. Между роднымъ словомъ и мыслью о предметѣ была такая тѣсная связь, что наоборотъ измѣненіе слова казалось непремѣнно измѣненіемъ предмета. Въ примѣрѣ этого Ляцарусъ приводитъ анекдотъ про нѣмца, который къ странностямяъ французовъ причислялъ то, что хлѣбъ они называютъ «*du pain*». Вѣдь мы же, отвѣтилъ ему другой, говоримъ „*Brod*“. Да, сказалъ тотъ, но оно *Brod* и есть. Слѣдуетъ замѣтить, что для этого нѣмца была уже, безъ сомнѣнія, потеряна внутренняя форма слова *Brod* ²⁾); оно ничего ему не объясняло, а между-тѣмъ казалось единственно законнымъ названіемъ хлѣба ³⁾). Это даетъ намъ право пред-

ib. 194. „Узео наше *оцило*, па му надѣо нме *оцило*“, когда кто, взявши чужое, переименовать его немного, чтобъ не узнали, ib. 230 и пр.

¹⁾ Поэтому мы имѣемъ возможность сосредоточить мысль на словѣ, взятомъ отдѣльно отъ своего содержанія, что довольно затруднительно для ребенка. Вписываемъ относящееся сюда мѣсто изъ предисловія къ одному малоизвѣстному букварю: „Можетъ случиться, что ученикъ не будетъ отдѣлять слова отъ предмета, напр., если спросить его, какой звукъ (т. е. какая гласная) въ словѣ *столь*, можетъ случаться, что онъ будетъ смотрѣть на *столь* и не находить тамъ никакого звука. Въ такомъ случаѣ нужно довести его до того, чтобы онъ могъ представлять себѣ слово, какъ нѣчто отдѣльное отъ предмета. Этого можно достигнуть объясненіемъ неизвѣстныхъ ему словъ“. *Завадскій*.

²⁾ По Гриму, *brot* родственно съ англ. *breotan* и предполагаемымъ дрв. н. *priotan*, *breschen*, ломать, такъ что *brot*—то, что ломають, или кусають, дробяь зубами.

³⁾ Можно, кажется, найти довольно подобныхъ славянскихъ анекдотовъ и пословицъ. „Непознаемъ ја нашега *бумура*“ (кукурузной или пшеничной каши), казао некакавъ херцеговац, кад је чуо, не турци *бумур* зову *пилавож*, као што га по босни турци, особито спромашнѣји, заиста и зову и употребљују као *пиривач* (т. е. вмѣсто *пилаву* изъ *риса*). Посл. 208. Херцеговинецъ (надъ которымъ сербъ подсмѣивается, какъ великороссіянинъ надъ хохломъ) не узналъ знакомой каши, по тому что ее назвали непривычнымъ для него именемъ. Ср. также: „кад би трговацъ свагда добивао (если бы всегда получилъ барышъ) не би се звао *трговац*, него *добивалац*“ ib. 115. „Ловацъ, да свагда улови, не би се звао *ловац*, него *носац*. Рјечи. Обыкновенныя названія кушца, охотника кажутся единственно законными.

положить, что въ то время, когда слово было не пустымъ знакомъ, а еще свѣжимъ результатомъ анперцепціи, объясненія воспріятій, наполнявшаго человѣка такимъ же радостнымъ чувствомъ творчества, какое испытываетъ ученый, въ головѣ коего блеснула мысль, освѣщающая цѣлый рядъ до того темныхъ явленій и неотдѣлимая отъ нихъ въ первыя минуты, что въ то время гораздо живѣе чувствовалась законность слова и его связь съ самимъ предметомъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ языкѣ и поэзіи есть положительныя свидѣтельства, что, по вѣрованіямъ всѣхъ индоевропейскихъ народовъ, слово есть мысль, слово—истина и правда, мудрость, поэзія. Вмѣстѣ съ мудростью и поэзіею слово относилось къ божественному началу. Есть миѣны, обожествляющіе самое слово. Не говоря о божественномъ словѣ (λόγος) евреевъ еллинистовъ, скажемъ только, что какъ у германцевъ Одинъ въ видѣ орла похищаетъ у великановъ божественный медъ, такъ у индусовъ тоже самое дѣлаетъ извѣстный стихотворный *размирз*, превращенный въ птицу. Слово есть самая вещь, и это доказывается не только филологическою связью словъ, обозначающихъ *слово* и *вещь*, сколько распространеннымъ на всѣ слова вѣрованіемъ, что они обозначаютъ сущность явленій. Слово, какъ сущность вещи, въ молитвѣ и занятіи получаетъ власть надъ природою. «Verba... Quæ mare turbatum, quæ concita flumina sistant» (Ovid. Met. VII, 150. Ср. ib. 204 и мн. др.), эти слова имѣютъ такую силу не только въ заговорѣ, но и въ поэзіи («То старина, то и дѣянье, какъ бы синему морю на утишенье». Др. Р. Ст.), потому что и поэзія есть знаніе. Сила слова не представлялась слѣдствіемъ ни нравственной силы говорящаго (это предполагало бы отдѣленіе слова отъ мысли, а отдѣленія этого не было), ни сопровождающихъ его обрядовъ. Самостоятельность слова видна уже въ томъ, что какъ-бы ни могущественны были порывы молящагося, онъ долженъ знать, какое именно слово слѣдуетъ ему употребить, чтобы произвести желаемое. Тайственная связь слова съ сущностью предмета не ограничивается одними

священными словами заговоровъ: она остается при словахъ и въ обыкновенной рѣчи. Нетолько не слѣдуетъ призывать зла («Не зови зло, јер само може дочи», срн. Посл. 199), но и съ самымъ невиннымъ намѣреніемъ, въ самомъ спокойномъ разговорѣ не слѣдуетъ поминать извѣстныхъ существъ или, по-крайней-мѣрѣ, если рѣчь безъ нихъ никакъ не обойдется, нужно замѣнять обычныя и законныя ихъ имена другими, произвольными и не имѣющими той силы ¹⁾. Сказавши неумышленно одно изъ подобныхъ словъ, малорусскій поселянинъ до сихъ поръ еще заботливо оговаривается: «не приміряючи», «не передъ нічю згѣдуючи» (чтобъ не привидилось и не приснилось); сербъ говоритъ: «не буди примијенено», когда въ разговорѣ сравнитъ счастливаго съ несчастнымъ, живаго съ мертвымъ и пр. (ср. Посл. 195), и трудно опредѣлить, гдѣ здѣсь кончается обыкновенная вѣжливость и начинается серьезное опасеніе за жизнь и счастье собесѣдника. Если невзначай языкъ выговоритъ не то слово, какого требуетъ мысль, то исполняется не мысль говорящаго, а слово. Напр. сербская вѣштица, когда хочетъ летѣть, мажетъ себѣ подъ мышками извѣстною мазью (какъ и наша вѣдьма) и говоритъ: «ни о трн, ни о грм (дубъ и кустарникъ тоже, какъ кажется, колючій), већ на пометно гумно!». Рассказываютъ, что одна женщина, намазавшись этою мазью, невзначай вмѣсто «ни о трнъ и пр.» сказала «и о трн» и полетѣвши поразрывалась о кусты.

Х. Поэзія. Проза. Сгущеніе мысли.

Символизмъ языка, повидимому, можетъ быть названъ его поэтичностью; наоборотъ, забвеніе внутренней формы кажется намъ прозаичностью слова. Если это сравненіе вѣрно, то вопросъ объ измѣненіи внутренней формы слова обазывается тождественнымъ съ вопросомъ объ отношеніи языка къ

¹⁾ Много подтверждающихъ это нѣмецкихъ примѣровъ можно найти въ миеологіи и словарѣ Гримма; славянскихъ тоже есть очень много.

поэзіи и прозѣ, т. е. къ литературной формѣ вообще. Поэзія есть одно изъ искусствъ, а потому связь ея со словомъ должна указывать на общія стороны языка и искусства. Чтобы найти эти стороны, начнемъ съ отождествленія моментовъ слова и произведенія искусства. Можетъ быть, само по себѣ это сходство моментовъ не говоритъ еще ничего, но оно по крайней мѣрѣ облегчаетъ дальнѣйшіе выводы.

Въ словѣ мы различаемъ: *внѣшнюю форму*, т. е. членораздѣльный звукъ, *содержаніе*, объективируемое посредствомъ звука, и *внутреннюю форму*, или ближайшее этимологическое значеніе слова, тотъ способъ, какимъ выражается содержаніе. При нѣкоторомъ вниманіи нѣтъ возможности смѣшать содержаніе съ внутреннею формою. Напр. различное содержаніе, мыслимое при словахъ *жалованье*, *annuit*, *pensio*, *gage*, представляетъ много общаго, и можетъ быть подведено подъ одно понятіе платы; но нѣтъ схода въ томъ, какъ изображается это содержаніе въ упомянутыхъ словахъ: *annuit*—то, что отпускается на годъ, *pensio*—то, что отвѣшивается, *gage* (по Дицу—слово германскаго происхожденія) первоначально—залогъ, ручательство, вознагражденіе и проч., вообще результатъ взаимныхъ обязательствъ, тогда какъ *жалованье*—дѣйствіе любви (ср. синонимич. слова *миловать*—*жаловать*, изъ коихъ послѣднее и теперь еще мѣстами значить *любить*), подарокъ, во никакъ не законное вознагражденіе, не «*legitimum vadium*», не слѣдствіе договора двухъ лицъ.

Внутренняя форма каждаго изъ этихъ словъ иначе направляетъ мысль; почти то же выйдетъ, если скажемъ, что одно и то же новое воспріятіе, смотря по сочетаніямъ, въ какія оно войдетъ съ накопившимся въ душѣ запасомъ, вызоветъ то или другое представленіе въ словѣ.

Внѣшняя форма нераздѣльна съ внутреннею, мѣняется вмѣстѣ съ нею, безъ нея перестаетъ быть сама собою, но тѣмъ не менѣе совершенно отъ нея отлична; особенно легко почувствовать это отличіе въ словахъ разнаго происхожденія, получившихъ съ теченіемъ времени одинаковый выго-

воръ: для малороссіянина слова *мыло* и *мило* различаются внутреннею формою, а не вѣшнею.

Тѣ же стихіи и въ произведеніи искусства, и не трудно будетъ найти ихъ, если будемъ разсуждать такимъ образомъ: «это—*мраморная* статуя (внѣшняя форма) женщины съ мечемъ и вѣсами (внутренняя форма)¹⁾, представляющая правосудіе (содержаніе)». Окажется, что въ произведеніи искусствъ образъ относится къ содержанію, какъ въ словѣ представленіе къ чувственному образу или понятію. Въмѣсто «содержаніе» художественнаго произведенія можемъ употребить болѣе обыкновенное выраженіе, именно «идея». Идея и содержаніе въ настоящемъ случаѣ для насъ тождественны, потому что напр. качество и отношенія фигуръ, изображенныхъ на картинѣ, событія и характеры романа и т. п. мы относимъ не къ содержанію, а къ образу, представленію содержанія, а подъ содержаніемъ картины, романа разумѣемъ рядъ мыслей, вызываемыхъ образами въ зрителѣ и читателѣ, или служившихъ почвою образа въ самомъ художникѣ во время акта созданія²⁾. Разница между образомъ и содержаніемъ ясна. Мысль о необходимости смерти и о томъ, «что думка за моремъ, а смерть за плечима» одинаково приходитъ въ голову по поводу каждой изъ сценъ пляски смерти³⁾; при большой измѣнчивости образовъ содержаніе здѣсь относительно (но только относительно) неподвижно. Наоборотъ, одно и то же художественное произведеніе, одинъ и тотъ же образъ различно дѣйствуетъ на разныхъ людей, и на одно лицо въ разное время, точно такъ, какъ одно и

1) Steinh. Der Urspr. der Spr. 130.

2) Въ этомъ ряду можно различить мысли: ближайшія по времени къ воспріятію образа (когда напр. читатель говоритъ: „Донъ-Кихоть есть насмѣшка надъ рыцарскими романами“) и болѣе далекія отъ него, и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе важныя для насъ (когда читатель говоритъ: „въ Донъ-Кихотѣ смѣхотворство есть только средство изобразить всегдашнія и благородныя свойства человѣческой природы; авторъ любитъ своего смѣшнаго героя, и хоть сыплетъ на него удары со всѣхъ сторонъ, но ставитъ безконечно выше всѣхъ окружающихъ его лицъ“). Такое различіе въ настоящемъ случаѣ для насъ не нужно.

3) См. Буслаевъ, Очерки.

то же слово каждымъ понимается иначе; здѣсь относительная неподвижность образа при измѣнчивости содержанія.

Труднѣе нѣсколько не смѣшать внутренней формы съ внѣшнею, если сообразимъ, что эта послѣдняя въ статуѣ не есть грубая глыба мрамора, но мраморъ, обтесанный извѣстнымъ образомъ, въ картинѣ—не полотно и краски, а опредѣленная цвѣтная поверхность, слѣдовательно сама картина. Здѣсь выручаетъ насъ сравненіе со словомъ. Внѣшняя форма слова тоже не есть звукъ, какъ матеріалъ, но звукъ уже сформированный мыслью, между тѣмъ самъ по себѣ этотъ звукъ не есть еще символъ содержанія. Въ поздніе періоды языка появляется много словъ, въ которыхъ содержаніе непосредственно примыкаетъ къ звуку; сравнивши упомянутое состояніе словъ съ такимъ, когда явственно различаются въ нихъ три момента, можемъ замѣтить, что въ первомъ случаѣ словамъ недостаетъ образности и что только въ послѣднемъ возможно такое ихъ пониманіе, которое представляетъ соотвѣтствіе съ пониманіемъ художественнаго произведенія и эстетическимъ наслажденіемъ. Положимъ, кто нибудь знаетъ, что литов. *baltas* значитъ добрый (можетъ быть ласковый, милый); ему даны въ этомъ словѣ очень опредѣленные звуки и не менѣе опредѣленное содержаніе, но эстетическое пониманіе этого слова ему не дано, потому что онъ не видитъ, почему именно эти сочетанія звуковъ, а не сотня другихъ, должны означать доброту и пр., и почему, наоборотъ, такое содержаніе должно требовать такихъ именно звуковъ. Если затеряна для сознанія связь между звукомъ и значеніемъ, то звукъ перестаетъ быть *внѣшнею* формою въ эстетическомъ значеніи этого слова; кто чувствуетъ красоту статуи, для того ея содержаніе (напр. мысль о верховномъ божествѣ, о громовержцѣ) находится въ совершенно-необходимомъ отношеніи къ совокупности замѣчаемыхъ въ ней изгибовъ мраморной поверхности. Для возстановленія въ сознаніи красоты слова *baltas* нужно знаніе, что извѣстное намъ его содержаніе условлено другимъ, именно значеніемъ бѣлизны: *baltas* зна-

чить добрый и пр. потому, что оно значить *блгый*, точно такъ, какъ русское *блгый*, *свтлмй* значать, между прочимъ, *млмй*, именно вслѣдствіе своихъ значеній *albus*, *lucidus*. Только теперь, при существованіи для насъ символизма слова (при сознаніи внутренней формы), его звуки становятся внѣшней формою, необходимо требуемою содержаніемъ. Дѣло нисколько не измѣняется оттого, что мы не знаемъ причины соединенія звуковъ *baltas*, *блмй* со значеніемъ *albus*: мы спрашивали вовсе не объ этомъ, а объ отношеніи значенія *млмй* къ звуку; ограниченныя требованія удовлетворяются знаніемъ ограниченныхъ, а не безусловныхъ причинъ.

Чтобы, воспользовавшись сказаннымъ о словѣ, различить внутреннюю и внѣшнюю форму въ художественномъ произведеніи, нужно найти такой случай, гдѣ бы потерянная эстетичность впечатлѣнія могла быть возстановлена только сознаніемъ внутренней формы. Не будемъ говорить о картинахъ и статуяхъ, какъ о предметахъ мало намъ извѣстныхъ, и остановимся на обычныхъ въ народной пѣснѣ сравненіяхъ, изъ коихъ каждое можетъ считаться отдѣльнымъ поэтическимъ цѣлымъ ¹⁾.

Чего недостаетъ намъ для пониманія такого напр. сравненія?

Czystas wandenelis tek'
Czystame upuzelej,
O ir werna meiluze
Wernoje szirdatej (Ness. 93).

(Чистая вода течетъ въ чистой рѣчкѣ, а вѣрная любовь въ вѣрномъ сердцѣ) ²⁾.

¹⁾ Они такъ же цѣльны, какъ напр. четверостишіе Гейне:
Mein Herz gleicht ganz dem Meere
Hat Sturm, und Ebb', und Fluth,
Und manche schöne Perle
In seiner Tiefe ruht.

²⁾ Ср. „Eiksz szenay mergyte,
Eiksz szenay, jaunoji,
Kalbesiva kalbužate,

Намъ недостаетъ того же, что требовалось для пониманія слова *baltas*, добрый, именно законности отношенія между внѣшнею формою, или лучше сказать между тѣмъ, что должно стать внѣшнею формою, и значеніемъ. Форма и содержаніе—понятія относительныя: В, которое было содержаніемъ по отношенію къ своей формѣ А, можетъ быть формою по отношенію къ новому содержанію, которое мы назовемъ С; уголь \sphericalangle , обращенный вершиною влѣво, есть извѣстное содержаніе, имѣющее свою форму, свое начертаніе (напр. уголь можетъ быть острый, тупой, прямой), но это содержаніе въ свою очередь есть форма, въ которой математика выражаетъ одно изъ своихъ понятій. Точно такимъ образомъ значеніе слова имѣетъ свою звуковую форму, но это значеніе, предполагающее звукъ, само становится формою новаго значенія. Формою поэтическаго произведенія будетъ не звукъ, первоначальная внѣшняя форма, а слово, единство звука и значенія. Въ приведенномъ сравненіи то, къ чему стремится и на чемъ останавливается умственная дѣятельность, есть мысль о любви, которой исполнено сердце. Если отвлечемъ, для большей простоты, это содержаніе отъ его словеснаго выраженія, то увидимъ, что оно существуетъ для насъ въ формѣ, составляющей содержаніе перваго двустипія. Образъ текучей свѣтлой воды (на сколько онъ выраженъ въ словахъ) не можетъ быть однако внѣшнею формою мысли о любви; отношеніе воды къ любви такое же внѣшнее и произвольное,

Dumosiva dumuzate,
Kur srove giliausia,
Kur meile meiliausia“ (Ness. 3).

(Поди сюда, дѣвица, поди сюда, молодая, будемъ думать-гадать, гдѣ глубже рѣка, гдѣ крѣпче (милье) любовь). Сравненіе употреблено и въ этихъ и въ вышеприведенныхъ стихахъ слишкомъ самостоятельно, для того, чтобъ можно было видѣть здѣсь заимствованіе откуда бы ни было. Въ моравской пѣснѣ мы встрѣтили такой же мотивъ.

„O lasko, lasko, bud' mezi nami,
Jako ta vodička mezi brehami
Woda uplyné, brehy podryje,
Tebe si, dzévuško, synek ne vezmě“.

(Morav. nâr. p. F. S. 300).

какъ отношеніе звука *baltas* къ значенію *добрый*. Законная связь между водою и любовью установится только тогда, когда дана будетъ возможность, не дѣлая скачка, перейти отъ одной изъ этихъ мыслей къ другой, когда напр. въ сознаниіи будетъ находиться связь свѣта, какъ одного изъ эпитетовъ воды, съ любовью. Это третье звено, связующее два первыхъ, есть именно внутренняя форма, иначе—символическое значеніе выраженнаго первымъ двуступнемъ образа воды. Итакъ, для того, чтобы сравненіе воды съ любовью имѣло для насъ эстетическое значеніе, нужно, чтобы образъ, который прежде всего дается сознанию, заключалъ въ себѣ указаніе на выражаемую имъ мысль. Онъ можетъ и не имѣть этого символическаго значенія, и между тѣмъ воспринимается весьма опредѣленно; слѣдовательно внѣшняя форма, принимаемая не въ смыслъ грубаго матеріала (полотно, краски, мраморъ), а въ смыслъ матеріала, подчиненнаго мыслию (совокупность очертаній статуи), есть нѣчто совершенно отличное отъ внутренней формы.

Беремъ еще одинъ примѣръ. Въ Малороссіи весною дѣвки поютъ:

«Кроковое колесо

Више тину стояло,

Много дива видало.

Чи бачило, колесо,

Куди милый поїхавъ?»

— За нимъ трава зелена

И діброва весела.—

«Кроковое колесо

Више тину стояло

Много дива видало.

Чи бачило, колесо,

Куди нелюбъ поїхавъ?»

— За нимъ трава полягла

И діброва загула!

Можно себѣ представить, что эту пѣсню ктонибудь пойметъ въ буквальный смыслъ, то есть не пойметъ ея

вовсе. Всѣ черты того, что изображено здѣсь, все то, что становится впоследствии внѣшнею формою, будетъ схвачено душою, а между тѣмъ въ результатѣ выйдетъ нелѣпость: шафранное колесо, которое смотритъ изъ надъ тыну? Но пусть эта бессмыслица получитъ внутреннюю форму, и отъ пѣсни повѣсть на насъ весною природы и дѣвичьей жизни. Это желтое колесо—солнце; солнце смотритъ сверху и видитъ много дива. Оно рассказываетъ пѣвицѣ, что куда проѣхалъ ея милый, тамъ позеленѣла трава и повеселѣла дуброва и проч.

Кажется, изъ сказаннаго ясно, что и въ поэтическомъ, слѣдовательно, вообще художественномъ произведеніи есть тѣ же самыя стихіи, что и въ словѣ: *содержаніе* (или идея), соотвѣтствующее чувственному образу или развитому изъ него понятію; *внутренняя форма*, *образъ*, который указываетъ на это содержаніе, соотвѣтствующій представленію (которое тоже имѣетъ значеніе только какъ символъ, намекъ на извѣстную совокупность чувственныхъ воспріятій, или на понятіе) и, наконецъ, *внѣшняя форма*, въ которой объективируется художественный образъ. Разница между внѣшнею формою слова (звукомъ) и поэтическаго произведенія та, что въ послѣднемъ, какъ проявленіи болѣе сложной душевной дѣятельности, внѣшняя форма болѣе проникнута мыслью. Впрочемъ и членораздѣльный звукъ, форма слова, проникнуть мыслью; Гумбольтъ, какъ мы видѣли выше, можетъ понять его только какъ «работу духа».

Языкъ во всемъ своемъ объемѣ и каждое отдѣльное слово соотвѣтствуютъ искусству, при томъ не только по своимъ стихіямъ, но и по способу ихъ соединенія.

«Созданіе языка, говоритъ Гумбольтъ, начиная съ первой его стихіи, есть синтетическая дѣятельность въ строгомъ смыслѣ этого слова, именно въ томъ смыслѣ, по которому синтезъ создаетъ нѣчто такое, что не заключено въ слагаемыхъ частяхъ, взятыхъ порознь» ¹⁾. Звукъ, какъ

¹⁾ Ueb. die Versch. 104.

междометіе, какъ рефлексія чувства, и чувственный образъ или схема, были уже до слова; но самое слово не дается механическимъ соединеніемъ этихъ стихій. Внутренняя форма въ самую минуту своего рожденія измѣняетъ и звукъ, и чувственный образъ. Измѣненіе звука состоитъ (не говоря о позднѣйшихъ, болѣе сложныхъ звуковыхъ явленіяхъ) въ устраниеніи того страстнаго оттѣнка, нарушающаго членораздѣльность, какой свойственъ междометию. Изъ перемѣнъ, какимъ подвергается мысль при созданіи слова, укажемъ здѣсь только на ту, что мысль въ словѣ перестаетъ быть собственностью самаго говорящаго и получаетъ возможность жизни самостоятельной по отношенію къ своему создателю. Имѣя въ виду эту самостоятельность, именно—неуничтожающую возможности взаимнаго пониманія способность слова всякимъ пониматься по своему, мы поймемъ важность слѣдующихъ словъ Гумбольта: «На языкъ нельзя смотрѣть какъ на нѣчто (ein Stoff) готовое, обозримое въ цѣломъ и исподволь сообщимое; онъ вѣчно создается, при томъ такъ, что законы этого созданія опредѣлены, но объемъ и нѣкоторымъ образомъ даже родъ произведенія остаются неопредѣленными» ¹⁾. «Языкъ состоитъ не только изъ стихій, получившихъ уже форму, но вмѣстѣ съ тѣмъ и главнымъ образомъ изъ методъ продолжать работу духа въ такомъ направленіи и въ такой формѣ, какія опредѣлены языкомъ. Разъ и прочно сформированныя стихіи составляютъ нѣкоторымъ образомъ мертвую массу, но эта масса носитъ въ себѣ живой зародышъ безъ конечной опредѣлимости» ²⁾. Сказанное здѣсь обо всемъ языкѣ мы примѣняемъ къ отдѣльному слову. Внутренняя форма слова, произнесеннаго говорящимъ, даетъ направленіе мысли слушающаго, но она только возбуждаетъ этого послѣдняго, даетъ только способъ развитія въ немъ значеній, не назначая предѣловъ его пониманію слова. Слово одинаково принадлежитъ и говорящему и слу-

¹⁾ Ib. 57—7.

²⁾ Ueb. die Versch. 62.

шающему, а потому значеніе его состоитъ не въ томъ, что оно имѣеть опредѣленный смыслъ для говорящаго, а въ томъ, что оно способно имѣть смыслъ вообще. Только въ силу того, что содержаніе слова способно расти, слово можетъ быть средствомъ понимать другаго.

Искусство тоже творчество, въ томъ самомъ смыслѣ, въ какомъ и слово. Художественное произведеніе очевидно не принадлежитъ природѣ: оно присоздано къ ней человѣкомъ. Факторы напр. статуи—это, съ одной стороны, безплотная мысль ваятеля, смутная для него самого и недоступная никому другому, съ другой—кусокъ мрамора, неимѣющій ничего общаго съ этою мыслью; но статуя не есть ни мысль, ни мраморъ, а нѣчто отличное отъ своихъ производителей, заключающее въ себѣ больше, чѣмъ они. Синтезъ, творчество очень отличны отъ арифметическаго дѣйствія: если агенты художественнаго произведенія, существующіе до него самаго, обозначимъ черезъ 2 и 2, то оно само не будетъ равняться четыремъ. Замысль художника и грубый матеріалъ не исчерпываютъ художественнаго произведенія, соответственно тому, какъ чувственный образъ и звукъ не исчерпываютъ слова. Въ обоихъ случаяхъ и та и другая стихія существенно измѣняются отъ присоединенія къ нимъ третьей, т. е. внутренней формы. Сомнѣніе можетъ быть развѣ относительно содержанія: можно думать, что не только художникъ долженъ былъ имѣть въ душѣ извѣстное содержаніе, прежде чѣмъ изобразилъ его въ мраморѣ, словѣ или на полотнѣ, но что содержаніе это было такое же и до, и послѣ созданія. Но это несправедливо уже по тому одному, что мысль, объективированная художникомъ, дѣйствуетъ на него, какъ нѣчто близкое ему, но вмѣстѣ и постороннее. Преклоняетъ ли художникъ колѣна предъ своимъ созданіемъ, или подвергаетъ его заслуженному или незаслуженному осужденію—все равно, онъ относится къ нему какъ цѣнитель, признаетъ его самостоятельное бытіе. Искусство есть языкъ художника, и какъ посредствомъ слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить въ немъ его

собственную, такъ нельзя ее сообщить и въ произведеніи искусства; поэтому содержаніе этого послѣдняго (когда оно окончено) развивается уже не въ художникѣ, а въ понимающихъ. Слушающій можетъ гораздо лучше говорящаго понимать, что скрыто за словомъ, и читатель можетъ лучше самого поэта постигать идею его произведенія. Сущность, сила такого произведенія не въ томъ, что разумѣлъ поднимъ авторъ, а въ томъ, какъ оно дѣйствуетъ на читателя или зрителя, слѣдовательно въ неисчерпаемомъ воз-
можномъ его содержаніи. Это содержаніе, проицируемое нами, т. е. влагаемое въ самое произведеніе, дѣйствительно условлено его внутреннею формою, но могло во-
все не входить въ расчеты художника, который творить, удовлетворяя временнымъ, нерѣдко весьма узкимъ потребностямъ своей личной жизни. Заслуга художника не въ томъ минимумъ содержанія, какое думалось ему при созданиіи, а въ извѣстной гибкости образа, въ силѣ внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержаніе. Скромная загадка: «одно каже: «свитай Боже», друге каже «не дай Боже», трете каже «мені все одно» (окно, двери и сволюкъ) можетъ вызвать мысль объ отношеніи разныхъ слоевъ народа къ разсвѣту политической, нравственной, научной идеи, и такое толкованіе будетъ ложно только въ томъ случаѣ, когда мы выдадимъ его за объективное значеніе загадки, а не за наше личное состояніе, возбужденное загадкою. Въ незамысловатомъ разсказѣ, какъ бѣднякъ хотѣлъ было набрать воды изъ Савы, чтобъ развести глотокъ молока, который былъ у него въ чашкѣ, какъ волна безъ слѣда унесла изъ сосуда его молоко, и какъ онъ сказалъ: «Саво, Саво! Себе не забіжели, а мене зацрни» (т. е. опечалила) ¹⁾, въ этомъ разсказѣ можетъ кому нибудь ночудиться неумолимое, стихійно-разрушительное дѣйствіе потока міровыхъ событій на счастье отдѣльныхъ лицъ, вопль, который вырывается изъ груди невозвратными и, съ личной точки, незаслуженными

¹⁾ Ср. Посл. 278.

потерями. Легко ошибиться, навязавъ народу то или другое пониманіе, но очевидно, что подобные рассказы живутъ по цѣлымъ столѣтіямъ не ради своего буквального смысла, а ради того, который въ нихъ можетъ быть вложенъ. Этимъ объясняется, почему созданія темныхъ людей и вѣковъ могутъ сохранять свое художественное значеніе во времена высокаго развитія, и вмѣстѣ, почему, не смотря на мнимую вѣчность искусства, настаетъ пора, когда съ увеличеніемъ затрудненій при пониманіи, съ забвеніемъ внутренней формы, произведенія искусства теряютъ свою цѣну.

Возможность того обобщенія и углубленія идеи, которое можно назвать самостоятельною жизнью произведенія, не только не есть отрицаніе нераздѣльности идеи и образа, но, напротивъ, условливается ею. Дидактическія произведенія, при всей нерѣдко имъ свойственной глубинѣ первоначальнаго замысла, осуждены на раннее забвеніе именно вслѣдствіе иногда трудно уловимыхъ недостатковъ синтеза, недостатковъ зародыша безконечной (новой) опредѣлимости разъ сформированнаго матеріала.

Быть можетъ, излишне будетъ прибавлять, что отдѣльное слово только до тѣхъ поръ можетъ быть сравниваемо съ отдѣльнымъ произведеніемъ искусства, пока измѣненія внутренней формы слова при пониманіи его разными лицами ускользаютъ отъ сознанія; рядъ измѣненій внутренней формы есть уже рядъ словъ одного происхожденія и соотвѣтствуетъ ряду произведеній искусства, связанныхъ между собою такъ, какъ эпическія сказанія разныхъ временъ, представляющія развитіе одного типа.

На слово нельзя смотрѣть какъ на выраженіе готовой мысли. Такой взглядъ, какъ мы старались показать, ведетъ ко многимъ противорѣчіямъ и заблужденіямъ относительно значенія языка въ душевной экономіи. Напротивъ, слово есть выраженіе мысли лишь на столько, на сколько служить средствомъ къ ея созданію; внутренняя форма, единственное объективное содержаніе слова, имѣетъ значеніе только потому, что видоизмѣняетъ и совершенствуетъ тѣ

агрегаты воспріятій, какіе застаець въ душѣ. Если, какъ и слѣдуетъ, примемъ, что внутренняя форма или представленіе такъ относится къ чувственному образу, какъ внутренняя форма художественнаго произведенія (образъ, идеаль) къ мысли, которая въ ней объективировалась, то должны будемъ отказаться отъ извѣстнаго опредѣленія идеала, какъ «изображенія идеи въ недѣлимомъ»¹⁾. Не отказываясь принимать это опредѣленіе въ смыслѣ воплощенія готовой идеи въ образъ, мы должны бы были принять и слѣдствія: *во первыхъ*, такъ какъ умственное стремленіе человѣка удовлетворяется не образомъ самимъ по себѣ, а идеею, т. е. совокупностью мыслей, пробуждаемыхъ образомъ и относимыхъ къ нему, какъ источнику, то художникъ, въ которомъ была бы уже готовая идея, не имѣлъ бы лично для себя никакой нужды выражать ее въ образъ; *во вторыхъ*, если бы эта идея, по неизвѣстнымъ побужденіямъ, была вложена въ образъ, то ея сообщеніе понимающему могло бы быть только передачею въ собственномъ смыслѣ этого слова, что противорѣчитъ здравому взгляду на пониманіе, какъ на созданіе извѣстнаго содержанія въ себѣ самомъ по поводу внѣшнихъ возбужденій. Чтобы не сдѣлать искусства явленіемъ не необходимымъ или вовсе лишнимъ въ человѣческой жизни, слѣдуетъ допустить, что и оно, подобно слову, есть не столько выраженіе, сколько средство созданія мысли; что цѣль его, какъ и слова—произвести извѣстное субъективное настроеніе какъ въ самомъ производителѣ, такъ и въ понимающемъ; что и оно не есть *ἔργον*, а *ἐνέργεια*, нѣчто постоянно создающееся. Этимъ опредѣляются частныя черты сходства искусства и языка.

Значеніе слова, или, точнѣе говоря, внутренней формы, *представленія*, для мысли сводится къ тому, что а) оно объединяетъ чувственный образъ и б) условливаетъ его сознаніе. То же въ своемъ кругу производитъ идеаль въ искусствѣ.

а) Искусство имѣетъ своимъ предметомъ природу въ обширнѣйшемъ смыслѣ этого слова, но оно есть не непо-

¹⁾ W. Humb. *Gesamm. W.* IV. Hermann u. Dorothea. 33.

средственное отраженіе природы въ душѣ, а извѣстное видоизмѣненіе этого отраженія. Между произведеніемъ искусства и природою стоитъ мысль человѣка; только подъ этимъ условіемъ искусство можетъ быть творчествомъ. Гумбольтъ, принявъ за исходную точку искусства *дѣйствительность* (но не въ общежитейскомъ смыслѣ, по которому дѣйствительность есть уже результатъ апперцепціи, а въ смыслѣ совокупности непосредственныхъ воспріятій, лишенныхъ еще всякой обработки), имѣетъ полное право сказать, что «царство фантазіи (подъ которою здѣсь можемъ разумѣть вообще творческую способность души) рѣшительно противоположно царству дѣйствительности, и столь же противоположенъ характеръ явленій, принадлежащихъ къ обѣимъ этимъ областямъ. Съ понятіемъ дѣйствительности» — какъ его раскрываетъ психологическій анализъ — «неразрывно связано то, что каждое явленіе стоитъ отдѣльно, само для себя, и что ни одно не зависитъ отъ другаго, какъ основаніе или слѣдствіе. Мало того, что мы непосредственно не воспринимаемъ такой зависимости, а доходимъ до нее только путемъ умозаключеній: понятіе дѣйствительности дѣлаетъ излишнимъ самое стараніе отыскивать эту зависимость. Явленіе передъ нами: этого довольно для того, чтобы устранить всякое сомнѣніе въ его дѣйствительности; зачѣмъ еще явленію оправданіе посредствомъ его причины или дѣйствія?» тѣмъ болѣе, что самыя категоріи причины и дѣйствія не даются непосредственнымъ воспріятіемъ. «Напротивъ, въ области *возможнаго* все существуетъ лишь на столько, на сколько зависитъ отъ другаго; поэтому все, что мыслимо только подъ условіемъ всесторонней внутренней связи — *идеально* въ самомъ строгомъ и простомъ смыслѣ этого слова. Въ этомъ отношеніи идеальное прямо противоположно дѣйствительному, *реальному*. Такимъ образомъ должно быть идеализировано все, что рука искусства переноситъ въ чистую область воображенія» ¹⁾).

¹⁾ Humb. Herm. u. Doroth. 20.

Очевидно, что такая идеальность свойственна не только искусству и воображенію, но и разумной дѣятельности вообще. «Перенести въ страну идей всю природу, т. е. сравнить по объему содержание своего опыта съ міромъ: соединить эту огромную массу отрывочныхъ явленій въ нераздѣльное единство и организованную цѣлость... такова конечная цѣль умственныхъ усилій человѣка. Участіе искусства въ этой работѣ показываетъ, что оно принадлежит не къ тѣмъ механическимъ, подчиненнымъ занятіямъ, посредствомъ коихъ мы только приготовляемся къ своему настоящему назначенію, а къ тѣмъ высочайшимъ, посредствомъ коихъ мы его непосредственно исполняемъ» ¹⁾).

Къ этому первому и самому обширному опредѣленію идеальнаго, какъ того, что не есть дѣйствительность, присоединяется другое, по которому искусство облагораживаетъ и украшаетъ природу, и идеаль имѣетъ значеніе того, что превосходитъ дѣйствительность. Художникъ, воссоздавая предметъ въ своемъ воображеніи, уничтожаетъ всякую черту, основанную только на случайности, каждую дѣлаетъ зависимою только отъ другой, а все—только отъ него самого.... Если ему удастся, то подъ конецъ у него выходятъ однѣ характеристическія формы, одни образы очищенной и неискаженной измѣнчивыми обстоятельствами природы. Каждый изъ этихъ образовъ носить на себѣ отпечатокъ своей особенности, и эта особенность заключена только въ формѣ, воспринимается только наглядно (*kann nie anders, als durch Anschauen gefasst werden*) и невыразима понятіемъ ²⁾).

Впрочемъ «выраженіе, что поэтъ возвышаетъ природу, слѣдуетъ употреблять очень осмотрительно, потому что, собственно говоря художественное произведеніе и созданіе природы принадлежать не къ одной и той же области и несоизмѣримы однимъ и тѣмъ же масштабомъ», точно такъ, какъ чувственный образъ и представленіе его въ словѣ не

¹⁾ Ib. 21.

²⁾ Ib. 22.

принадлежать къ одному continuous формъ душевной жизни. «Нельзя сказать, что изображенные живописцемъ плоды прекраснѣ естественныхъ. Вообще, природа прекрасна лишь на столько, на сколько фантазія представляетъ ее прекрасною. Нельзя сказать, что контуры въ природѣ менѣе совершенны, что цвѣта менѣе живы: разница только въ томъ, что дѣйствительность дѣйствуетъ на чувства, а искусство на фантазію, что первая даетъ суровыя (harte) и рѣзкія очертанія, а второе—хотя опредѣленные, но вмѣстѣ и безконечныя» ¹⁾.

Здѣсь упомянуты два свойства искусства: а) особенность его дѣйствія на человѣка сравнительно съ дѣйствіемъ природы (даже въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова) и б) совмѣстное существованіе въ каждомъ художественномъ произведеніи противоположныхъ качествъ, именно опредѣленности и безконечности очертаній. Первое видно уже изъ того, очень обыкновеннаго явленія, что многія явленія природы и человѣческой жизни, невозбуждающія интереса въ дѣйствительности, сильно дѣйствуютъ на насъ, будучи, по видимому, совершенно вѣрно изображены въ искусствѣ. По пословицѣ «и сунце пролази крѣз калява мѣста, ветъ се не окаля», искусство можетъ изображать самую роскошную и соблазнительную красоту, или самыя возмутительныя и безобразныя явленія, и оставаться дѣвственнымъ и прекраснымъ. Причина этому заключается въ томъ, что художественное творчество, оставаясь вполне вѣрнымъ природѣ, разлагаетъ ея явленія, такъ что, во первыхъ, каждое искусство беретъ на свою долю только одну извѣстную сторону предметовъ, напр. ваеніе только пластическую красоту формъ, устраняя разнообразныя дѣйствія цвѣтовъ, живопись только свѣтъ, тѣни и цвѣта и т. д.; во вторыхъ, каждое отдѣльное произведеніе опускаетъ многія не необходимыя черты предмета, данныя въ дѣйствительности и доступныя средствамъ искусства, подобно тому, какъ слово обозна-

¹⁾ Ib. 23—4.

чаетъ образъ, положимъ, *золота* только посредствомъ одного его признака, именно желтаго цвѣта, предоставляя личному пониманію дополнять этотъ образъ другими признаками, напр. звукомъ, тяжестью и проч.

Что до противорѣчія между единичностью образа и безконечностью его очертаній, то эта безконечность есть только замѣтная и въ языкѣ невозможность опредѣлить, сколько и какое содержаніе разовьется въ понимающемъ по поводу воспринимаемаго вполне опредѣленнаго представленія. Какъ слово въ началѣ есть знакъ очень ограниченнаго, конкретнаго чувственнаго образа, который, однако, въ силу представленія, тутъ же получаетъ возможность обобщенія, такъ художественный образъ, относясь въ минуту созданія къ очень тѣсному кругу чувственныхъ образовъ, тутъ же становится типомъ, идеаломъ.

Въ сферѣ языка посредствомъ представленія, объединяющаго чувственную схему и отдѣляющаго предметъ отъ всего остальнаго, т. е. сообщающаго ему идеальность, устанавливается внутренняя связь воспріятій, отличная отъ механическаго ихъ спѣшенія. Начавши съ очевиднаго положенія, что отдѣльное слово, какъ предложеніе, еще не вноситъ гармоніи во всю совокупность нашихъ воспріятій, потому что выдѣляетъ изъ нихъ только одну незначительную часть, мы должны будемъ прибавить, что это слово полагаетъ начало водворенію этой гармоніи, потому что готово стать подлежащимъ или сказуемымъ другихъ вновь возникающихъ словъ. Слово, объединившее извѣстную группу воспріятій, въ свою очередь стремится къ внутреннему соединенію со словомъ ближайшей группы, и такое стремленіе условлено самимъ объединеннымъ въ словъ образомъ: составленное изъ двухъ словъ предложеніе, связывающее между собою *два* образа, есть однако обозначеніе сужденія, которое признается разложеніемъ *одного* чувственнаго образа. Первый шагъ на пути, по которому ведетъ человѣка языкъ, возбуждаетъ стремленіе обойти весь кругъ сродныхъ явленій.

Этому соответствует такъ называемая Гумбольтомъ *цѣльность* (Totalität) искусства. «Прекрасное назначеніе поэта—посредствомъ всесторонняго ограниченія своего матеріала произвести неограниченное и безконечное дѣйствіе, посредствомъ индивидуальнаго образа удовлетворить требованія идеи, съ одной точки зрѣнія *открыть цѣлый міръ явленій*» ¹⁾. «Дѣло вовсе не въ томъ, чтобы показать *все*» (утверждать это было бы то же, что сказать, будто въ одномъ словѣ можемъ исчерпать все возможное содержаніе нашей мысли), «что само по себѣ невозможно, или даже *многое*, что устранило бы многіе виды искусства, а въ томъ, чтобы привести въ такое настроеніе, при которомъ мы готовы все обнять взоромъ (Die Stimmung alles zu sehen)». «Сила не въ числѣ предметовъ, принятыхъ поэтомъ въ свой планъ, ни въ ихъ отношеніи къ высшимъ интересамъ человѣчества: то и другое, хотя можетъ усилить дѣйствіе произведенія, безразлично для его художественнаго достоинства». «Пусть только поэтъ заставитъ насъ сосредоточиться въ одномъ пунктѣ, забыть себя ради извѣстнаго предмета (Sich in einem Gegenstand ausser sich selbst hinzustellen—objectiv zu sein),—и вотъ, каковъ бы ни былъ этотъ предметъ, передъ нами—міръ. Тогда все наше существо обнаружитъ творческую дѣятельность, и все, что оно ни произведетъ въ этомъ настроеніи, должно соответствовать ему самому и имѣть то же *единство* и *цѣльность*. Но именно эти два понятія мы соединяемъ въ словѣ *міръ*».

Здѣсь повторяется то же, что мы видѣли при достиженіи идеальности. Пусть поэтъ, согласно съ первымъ и простѣйшимъ требованіемъ своего искусства, перенесетъ насъ за предѣлы дѣйствительности, и мы очутимся въ области, гдѣ каждая точка есть центръ цѣлаго, и слѣдовательно цѣлое беспредѣльно и безконечно... Духъ, на который художникъ подѣйствовалъ такимъ образомъ, всегда *склоненъ*, съ какого бы предмета ни началъ, обходить весь кругъ

¹⁾ Herm. u. Doroth. 16.

сродныхъ съ этимъ предметомъ явленій и собирать ихъ въ одинъ цѣльный міръ» ¹⁾. «То *всеобъемлющее*, что поэтъ сообщаетъ фантазіи, заключается именно въ томъ, что она нигдѣ не ступаетъ такъ тяжело, чтобъ укорениться на одномъ мѣстѣ, но скользитъ все далѣе и далѣе и вмѣстѣ господствуетъ надъ пройденнымъ ею кругомъ; въ томъ, что ея наслажденіе граничитъ со страданіемъ, и наоборотъ; что она видитъ предметъ не въ цвѣтѣ дѣйствительности, а въ томъ блескѣ, какимъ одѣло его ея таинственное обаяніе» ²⁾.

Какъ въ языкѣ причина, почему отдѣльное слово стремится къ соединенію съ другими, заключается не только въ томъ, что это слово разлагаетъ (идеализируетъ) свой чувственный образъ, но и въ томъ, что этотъ образъ самъ по себѣ способенъ къ разложенію и слѣдовательно къ связи съ другими; такъ и условіе художественной цѣльности— не только въ свойствахъ идеализирующей дѣятельности, но и въ ея предметахъ, взятыхъ объективно. «Всѣ различныя состоянія чловѣка и всѣ силы природы (слѣдовательно все возможное содержаніе искусства) такъ сродны между собою, такъ взаимно поддерживаютъ и условливаютъ другъ друга, что врядъ ли возможно живо изобразить одно изъ нихъ, не принимая вмѣстѣ съ этимъ въ свой планъ и цѣлаго круга» ³⁾. «Способъ постановки одной фигуры въ поэтическомъ произведеніи заставляетъ фантазію не только присоединить къ ней многія другія, но и именно столько, сколько нужно для того, чтобы вмѣстѣ съ первою образовать замкнутый кругъ» ⁴⁾. Такимъ образомъ, сложное художественное произведеніе есть такое же развитіе одного главнаго образа, какъ сложное предложеніе—одного чувственнаго образа.

б) Обь отношеніи искусства къ сознанію того, что уже есть въ сознаніи, т. е. къ самосознанію, замѣтимъ слѣдующее:

¹⁾ Ibid. 31.

²⁾ Ibid. 32.

³⁾ Ibid. 28—9.

⁴⁾ Ibid. 33—4.

Выше мы привели вполне убедительное на наш взгляд мнѣніе, по которому звукъ, сырой матеріалъ слова, есть одно изъ средствъ успокоенія организма, устраненія полученныхъ имъ извнѣ потрясеній. То же совершаетъ въ своей сферѣ и психическая сторона слова. «Человѣку, говоритъ Гумбольтъ, врождено стремленіе высказывать только что услышанное» ¹⁾, освобождать себя отъ волненія, производимаго силою, дѣйствующею на его душу, въ словѣ передавая эту силу другимъ и, нерѣдко, не заботясь объ томъ, будетъ ли она воспринята разумнымъ существомъ, или нѣтъ. Это стремленіе, особенно въ первобытномъ человѣкѣ и ребенкѣ, можетъ граничить съ физиологическою необходимостью. — Какъ ребенку и женщинѣ нужно бываетъ выплакаться, чтобъ облегчить свое горе, такъ необходимо высказаться и отъ полноты душевной. Мысль эта съ давнихъ поръ стала уже достояніемъ народной поэзіи. Въ одной сербской сказкѣ говорится, что у царя Трояна были козы уши. Стыдясь этого, онъ убивалъ всѣхъ, кто его брилъ. Одного мальчика бородобрѣя царь помиловалъ подъ условіемъ соблюденія тайны, но этотъ, мучимый невозможностью высказаться, сталъ чахнуть и вянуть, пока не надоумили его повѣрить свою тайну землѣ. Мальчикъ вышелъ въ поле, вырылъ въ землѣ яму, засунулъ въ нее голову и трижды сказалъ: «У царя Трояна козы уши». Тогда ему стало легче на сердцѣ ²⁾. Есть пословица: «островъ въ морѣ, что сердце въ горѣ», гдѣ сердце и горе сравниваются съ моремъ, обтекающимъ островъ. Если удержимъ это сравненіе, то заключительные стихи быliny

«То сторона, то и дѣянье...

Синему морю на утишенье».

кромѣ своего буквального значенія, получаютъ еще другое, болѣе глубокое и вѣрное—власти поэзіи надъ сердцемъ. Гумбольтъ, сказавши, что въ художественной цѣльности,

¹⁾ Ueb. die Versch. 55.

²⁾ Срп. Приповjet. № 39.

въ искусствѣ потрясти всего человѣка по поводу ограниченнаго числа данныхъ явленій ¹⁾, еще никто не превзошелъ древнихъ, продолжаетъ: «Отсюда то успокоеніе, которое испытываетъ чисто настроенная душа при чтеніи древнихъ; оттого-то древніе даже состоянія страстнаго волненія и подавляющаго отчаянія низводятъ къ душевному покою или возвышаютъ до мужества. Это вдыхающее силу спокойствіе необходимо являетсяъ, когда человѣкъ вполне *обозрѣлъ* свои отношенія къ міру и судьбѣ. Лишь тогда, когда онъ останавливается тамъ, гдѣ или внѣшняя сила, или его собственная страсть грозить нарушить его равновѣсіе, лишь тогда происходитъ раздраженіе и отчаяніе (*verzweifelnder Missmuth*). Такъ выгодно однако мѣсто, указанное ему въ ряду предметовъ, что гармонія и спокойствіе немедленно возстановляются, какъ скоро онъ завершилъ кругъ явленій, представляемыхъ ему фантазіею въ серьезныя минуты разсчета съ судьбою (*in dies. Angenb. einer ernsten Rührung*)» ²⁾.

Успокоительное дѣйствіе искусства условливается именно тѣмъ, что оно идеально, что оно, связывая между собою явленія, очищая и упрощая мысль, даетъ ея обзоръ, ея сознаніе прежде всего самому художнику, подобно тому, какъ успокоительная сила слова есть слѣдствіе представленія образа. Представленіе и идеаль, разлагая волнуемое человѣка чувство, уничтожаютъ власть послѣдняго, отодвигаютъ его къ прошедшему. Необъективированное состояніе души покоряетъ себѣ сознаніе, объективированное въ словѣ или произведеніи искусства—покоряется ему, ложится въ основаніе

¹⁾ „Всякій гимнъ Пиндара, всякій большій хоръ трагиковъ, всякая ода Горация проходить, но только съ безконечно-измѣнчивымъ разнообразіемъ, одинъ и тотъ же кругъ. Вездѣ поэтъ изображаетъ возвышенность боговъ, могущество судьбы, зависимость человѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ и величіе его духа и мужество, которое даетъ ему возможность бороться съ судьбою и стать выше ея.... Не только во всемъ твореніи Гомера, но въ каждой отдѣльной пѣснѣ, въ каждомъ мѣстѣ—передъ нами открыто и ясно лежитъ вся жизнь. Душа разомъ, легко и вѣрно рѣшаетъ, что мы есть и чѣмъ мы можемъ быть, какъ страдаемъ и наслаждаемся, въ чемъ правы и въ чемъ ошибаемся“ (Herm. u. Dor. 28—9).

²⁾ Herm. u. Dor. 29.

дальнѣйшей душевной жизни. Отсюда, какъ слово, такъ и художественное произведеніе заканчиваетъ періоды развитія художника, служить поворотною точкою его душевной жизни. Признанія поэтовъ, изъ коихъ одинъ стихами отдѣлался отъ могучаго образа, много лѣтъ возмущавшаго его умъ ¹⁾, другой передавалъ своимъ героямъ свои дурныя качества, служить блистательными доказательствами того, что и искусство есть органъ самосознанія.

Находя, что художественное произведеніе есть синтезъ трехъ моментовъ (внѣшней формы, внутренней формы и содержанія), результатъ бессознательнаго творчества, средство развитія мысли и самосознанія, т. е. видя въ немъ тѣже признаки что и въ словѣ, и наоборотъ, открывая въ словѣ идеальность и цѣльность, свойственныя искусству, мы заключаемъ, что и слово есть искусство, именно поэзія.

Очевидно, что не одна и та же внутренняя потребность вынуждаетъ появленіе пластическихъ искусствъ и музыки съ одной—и слова съ поэзію съ другой стороны: искусства выражаютъ разныя стороны душевной жизни, и потому незамѣнимы одно другимъ. «Можно бы было, говорить Ляцарусъ, обозначить части статуи, или всю ее, рядомъ указаній (напр. высокій лобъ, кудрявая борода, длинные, вьющіеся волосы, возвышенное выраженіе лица); но точнаго изображенія ея нельзя бы было достигнуть словами, а математическими формулами размѣровъ и изгибовъ—развѣ только тогда, когда бы мы, какъ олицетворенная математика, могли составить безконечное множество такихъ формулъ и сложить ихъ въ наглядный образъ» ²⁾. Но цѣль такой невѣроятной работы, то есть переложеніе статуи на другой

1)Этотъ дикій бредъ
Преслѣдовалъ мой разумъ много лѣтъ,
Но я, разставшись съ прочими мечтами,
И отъ него отдѣлался—стихами.

Лери.

2) Das Leb. der Seele, II, 222.

языкъ, не была бы достигнута, потому что требуемое эстетическое впечатлѣніе можно получить не от совокупности формулъ или словъ, а от результата ихъ сложенія, т. е. от самой статуи. То же слѣдуетъ сказать о зодствѣ, живописи и музыкѣ по отношенію ихъ другъ къ другу и къ поэзіи, языку и условливаемой ими наукѣ. Различныя направленія человѣческой мысли не повторяютъ другъ друга, потому что не извнѣ принесены и случайны, а вытекаютъ изъ самой сущности человѣка.

Незамѣнимость одного искусства другими или словомъ, не только не противорѣчитъ, но даже требуетъ такой ихъ связи, по которой одно искусство является условіемъ существованія другаго. Не думая браться за рѣшеніе важной и трудной народно-психологической задачи о значеніи поэзіи въ исторіи прочихъ искусствъ, мы упомянемъ только о томъ, что поэзія предшествуетъ всѣмъ остальнымъ уже по тому одному, что первое слово есть поэзія. Сначала всѣ искусства служатъ, если не исключительно, то преимущественно религіи, которая развивается только въ языкѣ и поэзіи. Прежде дается человѣку власть надъ члено-раздѣльностью и словомъ, какъ матеріаломъ поэзіи, чѣмъ умѣнье справиться со своимъ голосомъ, а тѣмъ болѣе, чѣмъ та степень технического развитія, которая предполагается пластическими искусствами. Отсюда, между прочимъ, можно объяснить, почему гомерическія пѣсни многимъ древнѣе времени процвѣтанія ваянія и зодчества въ Греціи, почему вообще совершеннѣйшія произведенія народной поэзіи относятся къ такимъ временамъ, когда люди не въ состояніи были бы ни понять, ни произвести что либо достойное имени картины или статуи. Принявши, что народная поэзія, какъ и языкъ, есть произведеніе безличнаго творчества, мы найдемъ и другую причину упомянутаго явленія, именно, что зодчество, ваяніе и живопись предполагаютъ уже обособленіе и выдѣленіе изъ массы личности художника, слѣдовательно возможность значительной степени самосознанія и познанія природы, коимъ начало полагается языкомъ.

Въ началѣ слово и поэзія сосредоточиваютъ въ себѣ всю эстетическую жизнь народа, заключаютъ въ себѣ зародыши остальныхъ искусствъ въ томъ смыслѣ, что совокупность содержанія, доступнаго только этимъ послѣднимъ, первоначально составляетъ невыраженное и несознанное дополненіе къ слову. До значительной степени это относится и къ музыкѣ. Хотя періоды выдѣленія искусствъ изъ слова давно уже пройдены и забыты высшими слоями человечества, и музыка давно уже стала самостоятельнымъ искусствомъ, въ большинствѣ случаевъ вовсе не требующимъ и, повидимому, не предполагающимъ слова; но въ отсталыхъ классахъ почти на нашихъ глазахъ совершается процессъ отдѣленія музыки отъ поэзіи. Только въ болѣе близкія къ намъ времена пѣсня можетъ пѣться ради напѣва, можетъ механически сшиваться изъ обрывковъ почти безъ всякаго вниманія къ содержанію; это предполагаетъ съ одной стороны—паденіе народной поэзіи, зависящее отъ судьбы языка, съ другой—усложненіе музыкальныхъ мотивовъ, т. е. стремленіе выдѣлить и сознать, объективируя въ искусствѣ, чувство, невыразимое словомъ.

Сказанное Ляцарусомъ о нравственномъ развитіи вполне примѣняется и къ художественному: «Всѣ болѣе благородныя, тонкія и нѣжныя отношенія нравственной жизни могутъ развиваться только тогда, когда предшествующія ихъ степени достигли полной ясности сознанія. Нравственная жизнь начинается съ чувствъ и внутреннихъ образовъ (*innere Anschauungen*); эти чувства большею частью темный и неопредѣленный предметъ внутренняго воспріятія (*der inneren Wahrnehmung*), но они могутъ достигнуть опредѣленности, образоваться въ представленія, которыя обозначаются и упрочиваются словомъ. Лишь тогда, когда прежнія чувства стали представленіями, возникаютъ изъ нихъ новыя, болѣе нѣжныя; отрасли чувства должны стать вѣтвями представленій, и изъ этихъ пускаются новыя побѣги; языкъ упрочиваетъ и укрѣпляетъ произведенное душою и тѣмъ даетъ ей возможность перейти къ новой творческой дѣятель-

ности. Такъ происходящее облагороженіе человѣка состоитъ конечно не въ томъ, что человѣкъ дѣлаетъ первоначальную, естественную жизнь своего чувства предметомъ холодной и отвлеченной рефлексіи; оно возможно только подъ условіемъ возвышенія естественнаго міра чувства до степени *духовной* собственности души, до ясныхъ представленій» ¹⁾). Болѣзненное, разслабляющее дѣйствіе анализа своихъ чувствъ происходитъ только отъ неполноты и несовершенства анализа; самъ по себѣ, онъ—могущественное средство человѣческаго развитія. «Такъ и изъ эстетическихъ чувствъ развиваются представленія, ведущія за собою новыя чувства» и новыя художественныя произведенія, быть можетъ непоказывающія на себѣ предшествующаго имъ разложенія мысли посредствомъ слова, подобно тому, какъ растеніе, повидимому, не носить на себѣ слѣдовъ почвы, на которой выросло.

Таково же отношеніе языка и поэзіи къ другимъ проявленіямъ собственно-умственной жизни. Изъ языка, первоначально тождественнаго съ поэзіею, слѣдовательно изъ поэзіи, возникаетъ позднѣйшее раздѣленіе и противоположность поэзіи и прозы, которыя, говоря словами Гумбольта, должны быть названы «явленіями языка». Разумѣется, это можно утверждать только въ томъ смыслѣ, въ какомъ говорится о выдѣленіи изъ поэзіи всѣхъ остальныхъ искусствъ. Какъ скульптура образуется не изъ поэзіи, и, хотя требуетъ извѣстной степени ея развитія, но есть новый актъ творчества; такъ и проза—не изъ поэзіи, но изъ приготовленной ею мысли ²⁾). Прозу принимаемъ здѣсь за науку, потому что, хотя эти понятія не всегда тождественны, но особенности прозаическаго настроенія мысли, требующія прозаической формы, въ наукѣ достигаютъ полной опредѣленности и противоположности съ поэзіею.

«И та и другая идетъ отъ дѣйствительности (въ выше опредѣленномъ смыслѣ) къ чему-то ей не принадлежащему» ³⁾).

¹⁾ Das Leb. der Seele II, 202.

²⁾ Ueb. die Versch. 243.

³⁾ Ib. 230.

Дѣйствительность и идея, законъ—моменты общіе и поэзіи, и прозѣ; и въ той и въ другой мысль стремится внести связь и законченность въ разнообразіе чувственныхъ данныхъ; но различіе свойственныхъ имъ средствъ и результатовъ требуетъ, чтобы оба эти направленія мысли поддерживали и дополняли другъ друга до тѣхъ поръ, пока человечество «стремится».

«Поэзія беретъ дѣйствительность въ чувственномъ проявленіи (wie sie äusserlich und innerlich empfunden wird), не заботясь о томъ, *почему* (wodurch) она—дѣйствительность, и даже намѣренно устраняя этотъ ея характеръ». Изъ преобразования чувственныхъ воспріятій, а не изъ какихъ либо другихъ источниковъ, она беретъ, положимъ, что «у царя Трояна козы уши», но устраняетъ отъ себя повѣрку этого образа новыми воспріятіями, не спрашиваетъ, могъ ли Троянъ имѣть козы уши, удовлетворяется тѣмъ смысломъ, какой имѣетъ этотъ образъ самъ по себѣ. «Проза, напротивъ, доискивается въ дѣйствительности именно того, чѣмъ она коренится въ бытіи, тѣхъ волоконъ, которыя связываютъ ее съ этимъ послѣднимъ ¹⁾. Въ свою очередь она не признаетъ за фактъ того, что «у Трояна козы уши», прельщаясь тѣмъ, что этотъ образъ ведетъ къ сознанию необходимости и связи извѣстныхъ нравственныхъ явленій, или же интересуется этимъ образомъ только какъ фепоменомъ душевной жизни поэта и проч.

Въ поэзіи связь образа и идеи не доказывается, а утверждается, какъ непосредственное требованіе духа; въ наукѣ подчиненіе факта закону должно быть доказано, и сила доказательствъ есть мѣра истины. Доказательство есть всегда разложеніе первоначальныхъ данныхъ, а потому только что высказанную мысль можно выразить и иначе, именно: поэтический образъ не разлагается во время своего эстетическаго дѣйствія, тогда какъ научный фактъ тѣмъ болѣе для насъ осмысленъ, чѣмъ болѣе раздробленъ, т. е. чѣмъ

¹⁾ Ib. 230—1.

болѣе развилось изъ него сужденій. Отсюда чѣмъ легче апперципируются поэтическіе образы и чѣмъ больше происходящее отсюда наслажденіе, тѣмъ совершеннѣе и законченнѣе кажутся намъ эти образы, между тѣмъ какъ, напротивъ, чѣмъ лучше понимаемъ научный фактъ, тѣмъ болѣе поражаемся неполнотою его разработки. Есть много созданныхъ поэзію образовъ, въ которыхъ нельзя ничего ни прибавить, ни убавить; но нѣтъ и не можетъ быть совершенныхъ научныхъ произведеній. Такая противоположность поэзіи и науки уяснится, если сведемъ ее на отношеніе простѣйшихъ стихій той и другой, представленія и понятія. Въ языкѣ поэзіи непосредственно примыкаетъ къ лишеннымъ всякой обработки чувственнымъ даннымъ; представленіе, соотвѣтствующее идеалу въ искусствѣ, назначенное объединять чувственный образъ, во время апперценціи слова до тѣхъ поръ не теряетъ своей особенности, пока изъ чувственнаго образа не создало понятія и не смѣшалось со множествомъ признаковъ этого послѣдняго. Наука тоже относится къ дѣйствительности, но уже послѣ того, какъ эта послѣдняя прошла чрезъ форму слова; наука невозможна безъ понятія, которое предполагаетъ представленіе; она сравниваетъ дѣйствительность съ понятіемъ, и старается уравнивать одно съ другимъ, но такъ какъ количество признаковъ въ каждомъ кругу воспріятій неисчерпаемо, то и понятіе никогда не можетъ стать замкнутымъ цѣлымъ.

Наука раздробляетъ міръ, чтобы съизнова сложить его въ стройную систему понятій; но эта цѣль удаляется по мѣрѣ приближенія къ ней, система рушится отъ всякаго невошедшаго въ нее факта, а число фактовъ не можетъ быть исчерпано. Поэзія предупреждаетъ это недостижимое аналитическое знаніе гармоніи міра; указывая на эту гармонію конкретными своими образами, не требующими безконечнаго множества воспріятій, и замѣняя единство понятія единствомъ представленія, она нѣкоторымъ образомъ вознаграждаетъ за несовершенство научной мысли и удовлетворяетъ врожденной человѣку потребности видѣть вездѣ цѣльное и совер-

шенное. Назначеніе поэзіи—не только готовить науку, но и временно устраивать и завершать невысоко отъ земли выведенное ея зданіе. Въ этомъ заключается давно замѣченное сходство поэзіи и философіи. Но философія доступна немногимъ; тяжеловѣсный ходъ ея не внушаетъ довѣрія чувству недовольства одностороннею отрывочностью жизни и слишкомъ медленно исцѣляетъ происходящія отсюда нравственныя страданія. Въ этихъ случаяхъ выручаетъ человѣка искусство, особенно поэзія и первоначально тѣсно связанная съ нею религія.

Въ обширномъ и вмѣстѣ строгомъ смыслѣ, все достойное мысли субъективно, т. е. хотя и условлено внѣшнимъ міромъ, но есть произведеніе личнаго творчества; но въ этой всеобъемлющей субъективности можно разграничить объективное и субъективное и отнести къ первому науку, ко второму—искусство. Основанія заключаются въ слѣдующемъ: въ искусствѣ общее достоиніе всѣхъ есть только образъ, пониманіе коего иначе происходитъ въ каждомъ, и можетъ состоять только въ неразложенномъ (дѣйствительномъ и вполне личномъ) чувствѣ, какое возбуждается образомъ; въ наукѣ же нѣтъ образа и чувство можетъ имѣть мѣсто только какъ предметъ изслѣдованія; единственный строительный матеріалъ науки есть понятіе, составленное изъ объективированныхъ уже въ словѣ признаковъ образа. Если искусство есть процессъ объективированія первоначальныхъ данныхъ душевной жизни, то наука есть процессъ объективированія искусства. Различіе степеней объективности мысли тождественно съ различіемъ степеней ея отвлеченности: самая отвлеченная изъ наукъ, математика, есть вмѣстѣ самая несомнѣнная въ своихъ положеніяхъ, наименѣе допускающая возможность личнаго взгляда.

Многое заставляетъ предположить, что наша обыденная мысль, которая повидимому только скользитъ по поверхности предметовъ и лишена всякой глубины, что даже эта мысль есть очень сложное и относительно позднее явленіе, составляющее результатъ научнаго анализа, предполагающее еще

болѣе поверхностную мысль. Мы можемъ видѣть это, сравнивши отвлеченность разговорнаго нашего языка съ поэтичностью житейскаго, будничнаго языка простонародья, обративши вниманіе на недостижимую для насъ цѣльность міросозерцанія въ простолюдинѣ. Тогда напр., какъ образованный человѣкъ со всѣхъ сторонъ окруженъ неразрѣшимыми загадками и за безсвязною дробностью явленій только *предполагаетъ* ихъ связь и гармонию, для народной поэзіи—эта связь дѣйствительно, осязательно существуетъ, для нея нѣтъ незаполненныхъ пробѣловъ знанія, нѣтъ тайнъ ни этой, ни загробной жизни. Наука медленно, но неутомимо разрушаетъ эту узкую, но прекрасную цѣльность; она расширяетъ предѣлы міра (потому что господство поэзіи возможно только тогда, когда напр. земля кончается для насъ тамъ, гдѣ она сходится съ небомъ, когда почти совершенно невозможенъ вопросъ, на чемъ держится море, по которому плаваетъ китъ, носящій землю и т. п.), но вмѣстѣ уменьшаетъ значеніе извѣстнаго по отношенію къ неизвѣстному, представляетъ первое только незначительнымъ отрывкомъ послѣдняго. Впрочемъ, должны быть нормальныя отношенія между противоположными свойствами поэтической и научной дѣятельности, должно быть между ними извѣстное равновѣсіе, нарушение коего отзывается въ человѣкѣ страданіемъ. Какъ миѳы принимаютъ въ себя научныя положенія, такъ наука не изгоняетъ ни поэзіи, ни вѣры, а существуетъ рядомъ съ ними, хотя ведетъ съ ними споры о границахъ.

Слово только потому есть органъ мысли и непремѣнное условіе всего позднѣйшаго развитія пониманія міра и себя, что первоначально есть символъ, идеаль и имѣетъ всѣ свойства художественнаго произведенія. Но слово съ теченіемъ времени должно потерять эти свойства, равно какъ и поэтическое произведеніе, если ему дана столь продолжительная жизнь, какъ слову, кончаетъ тѣмъ, что перестаетъ быть собою. То и другое измѣняется не отъ какихъ-либо носто-

ронныхъ причинъ, а по мѣрѣ достиженія своей ближайшей цѣли, по мѣрѣ увеличенія въ говорящемъ и слушающемъ массы мыслей, вызываемыхъ образомъ, слѣдовательно, такъ сказать, отъ своего собственнаго развитія лишается своей конкретности и образности. Напр. пословица «Для дятла влювь составляетъ зло, бѣду» (потому что охотникъ найдетъ его по стучу, подстережетъ и убьетъ. Срп. Посл. 78) [сначала для говорящаго могла относиться къ одному случаю; но въ душѣ слушающаго она получила болѣе обширное значеніе,] т. е. заключенный въ ней образъ вызвалъ идею, былъ отнесенъ ко всѣмъ подобнымъ случаямъ съ дятломъ вообще и съ человѣкомъ. Очевидно, что если бы упомянутое выраженіе не достигло такой цѣли, то оно не стало бы пословицей. Но измѣненіе содержанія влечетъ за собою перемѣну самого образа, какую предположимъ въ другой подобной пословицѣ «Свакатица од свог клюна гине». Здѣсь образъ, прежде вполнѣ опредѣленный, допускаетъ уже различныя толкованія; по поводу его мы можемъ думать не только о дятлѣ, который стучомъ клюва невольно открываетъ себя охотнику, но и о всякой птицѣ, которую губить необходимость искать пищи и ѣсть. Потеря символизма и вмѣстѣ эстетическаго дѣйствія этой пословицы можетъ произойти для насъ или отъ убѣжденія, что не всегда мы сами виною своего несчастія ¹⁾, или отъ того, что такъ-какъ мы не птицеловы, и имѣемъ другія, самыя разнообразныя занятія, то впечатлѣнія охотничьей жизни, оттѣсненные другими, не прійдутъ намъ въ голову по первому вызову. Пословица лишится своего смысла потому, что мы станемъ выше ея. Такъ и выраженіе «какъ въ кремнѣ огонь не виденъ» можетъ превосходно опредѣлять извѣстныя нравственныя свойства человѣка только подъ условіемъ нѣкоторой, хотя бы и умысленной, узости пониманія природы камня и огня. Въ

¹⁾ Слѣдовательно отъ безсознательно, быть можетъ, предложеннаго вопроса по какому праву одинъ, именно этотъ признакъ (—представленіе, образъ) служить представителемъ всѣхъ остальныхъ, отъ вопроса объ относительной важности стихій образуемаго понятія.

комъ мысль, что огонь таится въ кремнѣ, совсѣмъ вытѣснена болѣе правильными понятіями, для того не существуетъ красота сравненія.

Приведемъ примѣръ подобнаго явленія и въ отдѣльныхъ словахъ. Въ старину распространено было вѣрованіе, что нравственныя свойства человѣка зависятъ отъ преобладанія одной изъ стихій, изъ коихъ онъ созданъ. Въ приводимой г. Костомаровымъ ¹⁾ выпискѣ изъ одного рукописнаго сборника читаемъ: «отъ земли тѣло: тотъ человѣкъ темень, неговорливъ; отъ моря кровь въ человѣцѣ, и тотъ прохладенъ; отъ огня—жаръ: тотъ человѣкъ сердить; *отъ камня кость: тотъ человекъ скупъ, немилостивъ*» и пр. Съ насъ довольно будетъ сказать нѣсколько словъ объ одной стихіи, камнѣ. Указанная здѣсь связь представленій камня—кости ²⁾ и скупости вполне народна, потому что подтверждается языкомъ, представляющимъ довольно примѣровъ перехода значенія отъ камня и кости къ скупости ³⁾.

Скупость сознавалась въ образѣ камня, кости, пня, предметовъ туго связанныхъ, сжатаго вообще и чего-то

¹⁾ Очеркъ жизни Великор. Нар. Совр. 1860. X.

²⁾ Кость и камень сближаются въ народной повѣи, а вѣроятно и въ языкѣ. Ср. Срб. посл. „Месо при кости и земля при кршу“ Срп. посл. 177.

³⁾ а) *Камень и скупость: кремь, скупецъ; закиричить, скрѣпиться, поскупѣть.* б) *кость и скупость: маклакъ, маклыа, кость и скупецъ; маклачить, торговаться, скражничать, поживляться чужимъ добромъ.* Сюда, быть можетъ, относятся *котевый, скупой.* Въ языкѣ сродни камень и корень: сл. *корень, ко-кора, кор-ка,* происходятъ отъ того же корня *кр.*, который въ словѣ *кремень;* при Срб. *криш.*, камень, встрѣчаемъ русск. *кариша, кириша,* сучковатый пень, колода или карага, мѣшающая ходу судна; по корню сродни *коло-да* (одного происхожденія съ *колотъ*) и *с-кала,* камень, а въ Срб. стѣна, *цель* и *Арх. щелье,* гранитный невысокій берегъ моря изъ одного цѣльнаго камня. На этомъ основаніи рождаются в) *корень* и *скупость: корень,* скрага, суровый, неуступчивый человѣкъ, *кокора кержакъ,* съ тѣмъ же значеніемъ. Сюда, вѣроятно, слѣдуетъ отнести слова *скрыа,* скупецъ и общепотребительное *скрыа.* Во всѣхъ приведенныхъ словахъ между значеніемъ камня, кости или корня и скупости посредствуетъ значеніе *твердости* (Ср. Срб. *тверд. твердаи,* скупъ, скупецъ). Такимъ образомъ и глаг. *жать,* образующій названія скупости, предполагаетъ значеніе *жать, крѣпко,* выжимать до тверда: г) *жмыкъ, твердый комъ сѣмени,* изъ коего выжато масло и *скрыа; жмотикъ, жмойда, жморъ, жомъ,* скупецъ; *комыа,* тоже (Ср. сжать въ комокъ), *кулакъ,* тоже (*сжать* кулакъ). Наконецъ д) отъ значенія вязать (крѣпко)—*крѣпкой, жила, корпика,* скупецъ (см. Области. слов. и прибавл.).

твердаго. Такой взгляд на нравственное качество человека, а вместе и такая память внутренней формы, возможны только до тех поръ, пока мы обращаемъ вниманіе на одну сторону скупости, именно на отношенія скупаго къ другимъ, на его неподатливость, пока не видимъ, что эта неподатливость можетъ вовсе не быть скупостью. Чѣмъ успешнѣе идетъ то обобщеніе и углубленіе, къ которому мысль направлена словомъ, и чѣмъ болѣе содержанія накапливается въ словѣ, тѣмъ менѣе нужна первоначальная точка отправления мыслей (внутр. ф.), такъ что если дойдемъ до понятія о скупости, какъ о преувеличенномъ и ненормальномъ стремленіи предпочитать возможность наслажденія благами жизни дѣйствительному наслажденію, то необходимо наглядное значеніе такихъ словъ, какъ *маклакъ*, *жила*, затеряется въ толпѣ другихъ признаковъ, болѣе для насъ важныхъ и, на нашъ глазъ, болѣе согласныхъ съ дѣйствительностью. Такимъ образомъ развитіе понятія изъ чувственнаго образа и потеря поэтичности слова—явленія взаимно условленныя другъ другомъ; единственная причина общаго всѣмъ языкамъ стремленія слова стать только знакомъ мысли, есть психологическая; иначе и быть не можетъ, потому что слово—не статуя, сдѣланная, и потомъ подверженная дѣйствию воздуха, дождя и пр.; оно живетъ только тогда, когда его произносятъ; его матеріаль, звукъ, вполне проникнуть мыслью, и всѣ звуковыя измѣненія, затемняющія для насъ значеніе слова, исходятъ изъ мысли.

Но какой бы отвлеченности и глубины ни достигла наша мысль, она не отдѣляется отъ необходимости возвращаться, какъ бы для освѣженія, къ своей исходной точкѣ, представленію. Языкъ не есть только матеріаль поэзіи, какъ мраморъ—ваянія, но сама поэзія, а между тѣмъ поэзія въ немъ невозможна, если забыто наглядное значеніе слова. Поэтому народная поэзія при меньшей степени этого забвенія, восстанавливаетъ чувственную, возбуждающую дѣятельность фантазіи сторону словъ посредствомъ такъ называемыхъ эпическихъ выраженій, т. е. такихъ постоянныхъ сочетаній

словъ, въ которыхъ одно слово указываетъ на внутреннюю форму другаго. Въ нашей народной поэзіи есть еще довольно такихъ простѣйшихъ эпическихъ формулъ, которыя состоятъ только изъ двухъ словъ. Упуская изъ виду различія этихъ формулъ, происходящія отъ синтаксическаго значенія ихъ членовъ («миръ—народъ», «красна дѣвица», «косу чесать», «плакать-рыдать» и пр.), замѣтимъ только, что цѣль этихъ выраженій—возстановленіе для сознанія внутренней формы—достигается въ нихъ въ разной мѣрѣ и разными средствами. Ближайшее сродство между наглядными значеніями обоихъ словъ—въ такихъ выраженіяхъ, какъ *косу чесать*, гдѣ оба слова относятся къ одному корню. Отличіе отъ полной тавтологіи (напр. «дѣло дѣлать») здѣсь только въ томъ, что звуковое сродство нѣсколько затерлось. Такія постоянныя выраженія, какъ *чорна хмара, ясная зоря, червона калина*, уже не могутъ быть названы вполне тавтологическими, потому что хотя напр. въ выраженіи *чорна хмара* слово *хмара* само по себѣ означаетъ нѣчто черное, но заключенное въ немъ представленіе черного цвѣта безъ сомнѣнія не то, что въ словѣ *черный*. Этимологія найдетъ въ каждомъ языкѣ по нѣскольку далѣе неразложимыхъ корней съ однимъ и тѣмъ же, повидимому, значеніемъ (напримѣръ *и*, откуда *иду*, и *ми*, откуда *міръ, мпра, мпна*), въ которыхъ однако по теоретическимъ соображеніямъ и по различію производныхъ словъ необходимо предположить первоначальное различіе. Еще дальше другъ отъ друга внутреннія формы словъ въ выраженіяхъ, какъ *дрібенъ дощъ*, гдѣ постоянный эпитетъ поясняетъ внутреннюю форму не своего опредѣляемаго, а его синонима (ср. чеш. *sitno pr'seti*, гдѣ не только эпитетъ значитъ *мелко*, но и опредѣляемое *pr'seti*, дождитъ (*pr's*, дождь) сродно съ *прахъ*, пыль, и значитъ дождитъ мелко), гдѣ оба слова связываются третьимъ, невысказаннымъ, нерѣдко уже совершенно забытымъ въ то время, когда эпическое выраженіе еще живетъ, хотя уже плохо понимается. Во многихъ изъ подобныхъ выраженій особенно ясно видно, что народъ при созданіи ихъ руково-

дился не свойствами новыхъ воспріятій, а именно безсознательнымъ стремленіемъ возобновить забытую внутреннюю форму слова. Напр. постоянный эп. *берегъ—крутой*; хотя множество наблюденій могло убѣдить, что берегъ не всегда крутъ, что сплошь да рядомъ, если одинъ берегъ крутой, то другой—низкій, но эпитетъ остается, потому что слово *берегъ* имѣло и у насъ въ старину, какъ теперь *бриѣг* у сербовъ, значеніе горы и находится въ несомнѣнномъ сродствѣ съ нѣм. *Berg*. Наконецъ эпитетъ можетъ пояснять не синонимъ своего опредѣляемаго, а слово, съ которымъ это опредѣляемое находится въ болѣе внутренней связи, напр. *горькія слезы*, потому что слезы отъ горя, а горе—горько. Очевидно, что эти выраженія вовсе не то, что обыкновенное чисто синтаксическое измѣненіе прежняго сказуемаго въ опредѣленіе: такому выраженію, какъ *черная собака*, предполагающему предикативное отношеніе *собака черна*, конечно соотвѣтствуетъ выраженіе *горькія слезы*, предполагающія выраженіе *слезы горьки*, но это послѣднее есть постоянное эпич. выраженіе, связанное не прямо единствомъ чувственнаго образа, какъ выраж. *собака черна*, а посредственно, отразившеюся въ самомъ языкѣ связью. И такія формулы могутъ слѣдовательно служить важнымъ указаніемъ для этимолога.

Вслѣдствіе постепеннаго усложненія отношеній между составными частями эпическихъ формулъ, на дѣлѣ бываетъ трудно отличить эти послѣднія отъ неэпическихъ, съ коими они незамѣтно сливаются. [Можно только сказать, что чѣмъ больше вглядываешься въ народную пѣсню, сказку, поговорку, тѣмъ болѣе находишь сочетаній, необходимо условленныхъ предшествующею жизнью внутренней формы словъ, тогда какъ въ произведеніи современнаго поэта такое чутье внутренней формы является только какъ случайность (у Гоголя «*лапы листья*», гдѣ опредѣляющее одного происхожденія съ *листь* ср. Лит. *lapas* *листь* древесный, съ нашими *лепестокъ*, *лопухъ* и др.), да и не нужно, судя потому, что его отсутствіе ни кѣмъ не замѣчается. Разумѣется, мы

говоримъ не объ отсутствіи пониманія языка вообще, а объ томъ, что новые поэты не такъ проникнуты стариною языка, какъ простонародная поэзія.

Въ столь же тѣсной связи съ языкомъ находятся и болѣе сложныя постоянныя выраженія народной поэзіи; ихъ послѣдовательныя измѣненія можно считать такимъ же возстановленіемъ внутренней формы отдѣльныхъ словъ, какъ и вышеупомянутыя простѣйшія двучленныя сочетанія. Напр. въ слѣдующей малорусской нѣснѣ:

«Зеленая явіриночка!

Чомъ ти мала-невеличка?

Чи ти росту не великого?

Чи коріння не глубокого?

Чи ти *листу не широкого?*

Молодая Марусечко!

Чомъ ти мала-невеличка?

Чи ти роду не великого?

Чи ти батька не богатого?

Чи ти *матки не розумної?*»

Сравненіе широты листа съ умомъ матери никоимъ образомъ не можетъ быть выведено изъ непосредственнаго разложенія воспріятій. Напротивъ, это сравненіе, глубоко коренящееся въ языкъ и составляющее (въ нѣсколько другой формѣ) общее достояніе славяно-литовскаго племени (а можетъ быть и другихъ индо-европейскихъ племенъ), возможно единственно потому, что въ отдѣльныхъ словахъ существовало до него сближеніе разума и слова, слова и шума, шума листьевъ и ихъ широты. Считаемо лишнимъ здѣсь доказывать это; если приведенный примѣръ и не годится, то на его мѣсто можно приискать сотни другихъ, вполне убѣждающихъ, что современныя намъ самыя мелкія явленія народной поэзіи, построены на основѣ, слагавшейся въ теченіе многихъ тысячелѣтій. Замѣтимъ только, чтобы оправдать употребленное нами слово *возстановленіе*, что возстановленіе внутренней формы есть не безразличная для развитія починка стараго, а созданіе новыхъ явленій, свидѣтельствующее объ успѣхахъ

мысли. Новый акт творчества прибавляетъ къ своимъ историческимъ послылкамъ нѣчто такое, чего въ нихъ не заключалось. Измѣняется не только содержаніе сравненія, но и напряженность сравнивающей силы; обнимая въ единствѣ сознанія отношенія листа, шума, слова и разума, человѣкъ дѣлаетъ больше и лучше, чѣмъ переходя только отъ шума къ листу. Мѣняются и формы перехода отъ одного члена сравненія къ другому, и смыслъ этихъ измѣненій вполнѣ подтверждаетъ положеніе, что и поэзія не есть выраженіе готоваго содержанія, а, подобно языку, могущественное средство развитія мысли.

Немногія замѣчанія, которыя мы намѣрены сдѣлать объ этомъ, начнемъ со слѣдующаго: всѣ сравненія первобытной и, если такъ можно выразиться объ искусствѣ, безыскусственной поэзіи, построены такимъ образомъ, что символъ предшествуетъ обозначаемому. Нельзя сказать, чтобы такія очень обыкновенныя выраженія, какъ «у хаті въ її, якъ у віночку; хлібъ випеченой, якъ сонце; сама сидишь, якъ квіточка» (Зап. о Ю. Р.) не были основаны на внутренней формѣ словъ; но выраженный въ нихъ переходъ мысли отъ представленія главнаго предмета, который и самъ по себѣ ясенъ, къ представленію другаго предмета, прибавляющаго къ первому только новую черту, есть уже довольно сложное и позднее явленіе. Еслибы сравниваемый предметъ первоначально могъ предшествовать своему символу, то слѣдовало бы предположить, что слово можетъ выражать предметъ самъ по себѣ, при чемъ и самое сравненіе оказалось бы лишнимъ, потому что мысль и безъ него постигла бы сущность предмета. Но сравненіе необходимо: выше мы старались показать, что нельзя представить себѣ перваго двучленнаго предложенія иначе, какъ въ видѣ сравненія, что и одно слово въ живой рѣчи есть переходъ отъ чувственного образа къ его представленію или символу, и потому должно быть названо сравненіемъ. И въ словѣ, и въ развитомъ сравненіи исходная точка мысли есть воспріятіе явленія, непосредственно дѣйствующаго на чувства; но въ собственномъ сравненіи

это явление ашперципируется или объясняется два раза: сначала—непосредственно, въ той половинѣ сравненія, которая выражаетъ символъ, потомъ—посредственно, вмѣстѣ съ этою—во второй половинѣ, содержаніе коей болѣе близко къ самому мыслящему и менѣе доступно непосредственному воспріятію. Такъ въ двустипіи:

«Ой зірочка зійшла, усе поле освітила,

А дівчина внишла, козаченька звеселила»

поэтическое, образное пониманіе втораго стиха возможно только подъ условіемъ перехода мысли отъ зори къ дѣвицѣ, отъ свѣта къ веселью, потому что хотя слова *зоря*, *дѣвица* и сами по себѣ, каждое по своему, указываютъ на свѣтъ, но это ихъ этимологическое значеніе дается далеко не съ перваго разу. Ясно также, что упомянутый переходъ требуется не объективными свойствами звѣзды, свѣта, дѣвицы, веселья, а относительно субъективнымъ ихъ изображеніемъ въ языкѣ, отношеніями представленій зори и дѣвицы, свѣта и красоты, свѣта и веселья, установленными только системою языка.

Извѣстно, что содержаніе народной поэзіи составляетъ не природа, а человѣкъ, т. е. то, что есть самаго важнаго въ мірѣ для человѣка. Если человѣкъ обстанавливается въ ней картиннами природы въ такихъ напр. началахъ пѣсенъ, какъ слѣдующее:

«Летивъ крячокъ на той бочокъ,

Жалібненько кригнувъ;

Горе жъ мені на чужині,

Що я не привикнувъ», или:

«Подъ горою високою

Голуби літають;

Я роскоши не зазнаю,

А літа минають»,

то это дѣлается не изъ какихъ либо артистическихъ соображеній, не потому, почему живописецъ окружаетъ группу лицъ приличнымъ ландшафтомъ; какъ бы ни былъ этотъ ландшафтъ тѣсно связанъ въ воображеніи живописца съ ли-

цами картины и какъ бы онъ ни былъ необходимъ для эстетическаго дѣйствія этой картины, но онъ можетъ быть оставленъ въ чернѣ или только намѣченъ, тогда какъ человѣческія фигуры уже окончены, или наоборотъ. Въ поэзіи, на той ступени ея жизни, къ какой принадлежатъ примѣры, подобные приведеннымъ, необходимость начинать съ природы существуетъ независимо отъ сознанія и намѣренія, и потому ненарушима; она, такъ сказать, размахъ мысли, безъ котораго не существовала бы и самая мысль. Человѣкъ обращается внутрь себя только отъ внѣшнихъ предметовъ, познаетъ себя сначала только внѣ себя; внутренняя жизнь всегда имѣетъ для человѣка непосредственную цѣну, но познается и уясняется только исподоволь и посредственно.

Хотя общій тонъ пѣсни опредѣленъ еще до ея начала настроеніемъ пѣвца; хотя въ этомъ настроеніи должны заключаться причины, почему изъ многихъ наличныхъ воспріятій внѣшней природы мысль обращается къ тѣмъ, а не другимъ, почему въ данномъ случаѣ пѣвецъ выразитъ въ словѣ полетъ птицы, а не другой предметъ, вмѣстѣ съ этимъ обнимаемый его взоромъ; но тѣмъ не менѣе въ началахъ, въ родѣ упомянутыхъ, слышится нѣчто произвольное. Кажется, будто природа импонируетъ человѣку, который освобождается отъ ея давленія лишь по мѣрѣ того, какъ посредствомъ языка слагаетъ внѣшнія явленія въ систему и осмысливаетъ ихъ, связывая съ событіями своей душевной жизни.

Къ положительному сравненію, или что на то же выйдетъ, къ представленію и значенію, какъ стихіямъ отдѣльнаго слова, примыкаютъ примѣты. При нѣкоторомъ знакомствѣ съ языкомъ легко замѣтить, что примѣта въ своемъ древнѣйшемъ видѣ есть развитіе отдѣльнаго слова, видоизмѣненіе сравненія. Такъ примѣта «если звенить въ ухѣ, то говорятъ объ насъ» образовалась только потому, что до нея было въ языкѣ сравненіе звона со словомъ. Однако примѣта заключаетъ въ себѣ моменты, какихъ не было въ сравненіи. Въ послѣднемъ символъ только приводилъ на мысль значеніе,

и связь между тѣмъ и другимъ представлялась существующею только для мыслящаго субъекта и внѣшнею по отношенію къ сравниваемымъ явленіямъ; въ примѣтѣ эта связь переносится въ самыя явленія, оказывается существенно принадлежностью ихъ самихъ: крикъ филина можетъ быть незамѣченъ тѣмъ, кому онъ вѣщуеть смерть, но тѣмъ не менѣе этотъ человѣкъ долженъ умереть; лента, видѣнная мною во снѣ, предвѣщаетъ *мнѣ* дорогу, хотя я самъ и не могу объяснить себѣ этого сна. При томъ примѣта предполагаетъ, что лежащіе въ ея основаніи члены сравненія тѣсно ассоціировались между собою и расположились такъ, что въ дѣйствительности данъ только первый, вызывающій своимъ присутствіемъ *ожиданіе* втораго. Въ сравненіи: «погасла свѣча, не стало такого то» оба члена или на лицо, или, если только въ мысли, то такъ, что не требуютъ дополненія со стороны новыхъ воспріятій; но въ примѣтѣ «его свѣча (горѣвшая передъ нимъ или въ его рукахъ въ извѣстномъ торжественномъ случаѣ) погасла, онъ умретъ» второй членъ есть ожидаемое событіе. Почти то же будетъ, если вмѣсто неизвѣстнаго будущаго поставимъ неизвѣстное же, представляемое происходящимъ теперь или свершившимся. Во всякомъ случаѣ, примѣта по отношенію къ сравненію есть пріобрѣтеніе мысли, расширеніе ея горизонта.

Примѣта не есть причинное отношеніе членовъ сравненія: звонъ, слышимый мною въ ухахъ, не производитъ пересудовъ обо мнѣ, и хотя находится съ ними въ предметной связи, но такъ, что связь эта для меня совершенно неопредѣлена; однако отъ примѣты—ближайшій переходъ къ причинной зависимости. Образование категоріи причины объясняются сочетаніемъ доставляемыхъ общимъ чувствомъ впечатлѣній напряженія мускуловъ съ мыслию о желаемомъ предметѣ. Простѣйшія условія появленія этой категоріи находимъ уже въ ребенкѣ. Въ немъ воспоминаніе его собственнаго крика, требующаго извѣстныхъ усилій, ассоціировалось съ воспоминаніемъ того, что, вслѣдъ за крикомъ, его начинали кормить; онъ пользуется крикомъ, какъ средствомъ

производить или получать пищу, но еще не имѣть категоріи причины. Для созданія этой послѣдней нужно перенести отношенія своихъ усилій къ вызываемому ими явленію на взаимныя отношенія предметовъ, существующія независимо отъ мыслящаго лица и постигаемыя имъ только посредствомъ. Этотъ процессъ застаеъ уже въ языкѣ сравненіе и примѣту и примыкаетъ къ нимъ. Для насъ по крайней мѣрѣ болѣе чѣмъ вѣроятно, что въ чарахъ, такъ называемыхъ теперь симпатическихъ средствахъ и тому подобныхъ явленіяхъ, основанныхъ на языкѣ, человѣкъ впервые пришелъ къ сознанію причины, т. е. создалъ ее. Невозможно объяснить, какъ человѣкъ сталъ лечить болѣзнь (рожу и мн. друг.) огнемъ, если упустишь изъ виду, что до этого существовало сравненіе огня съ болѣзнью, представленіе послѣдней огнемъ; никому бы не пришло въ голову распускать ложные слухи, для того, чтобъ отливаемый въ это время колоколъ былъ звонче, еслибъ еще прежде не было въ сознаніи сближенія звона и рѣчи, молвы. Подобными отношеніями даже въ глазахъ современнаго простолюдина связано многое въ мірѣ, а прежде было связано все.

Устанавливаемая такимъ путемъ связь между явленіями субъективна съ точки той связи, которая намъ кажется истинною и внесена въ наше міросозерцаніе умственными усиліями многихъ тысячелѣтій; но понятія объективнаго и субъективнаго—относительны, и безъ сомнѣнія придетъ время, когда то, что намъ представляется свойствомъ самой природы, окажется только особенностію взгляда нашего времени. Для пониманія важности, какую имѣлъ для человѣка совершившійся въ языкѣ переходъ отъ сравненія къ причинѣ, слѣдуетъ представлять эту первобытную категорію причины не неподвижнымъ результатомъ относительно слабой умственной дѣятельности, а живымъ средствомъ познавать новое. Нѣтъ ничего легче, какъ съ высоты, на которую безъ нашей личной заслуги поставило насъ современное развитіе человѣчества, презрительно взирать на все, отъ чего

мы уже отошли на нѣкоторое разстояніе. Гордясь напр. тѣмъ, что мы уже не вѣримъ въ примѣты, что мы уже не язычники, безъ особенныхъ усилій мысли можемъ объявить все, связанное съ созданіемъ мифовъ, за уродливый плодъ болѣзненного воображенія, за горячечный бредъ. Но и при полномъ убѣжденіи въ законности того младенческаго пониманія явленій и ихъ связи, какое видимъ въ языкѣ, весьма трудно заполнить пропасть, отдѣляющую это пониманіе отъ научнаго. Впрочемъ, мысль о непрерывной причинной связи простѣйшихъ проявленій умственной дѣятельности съ наиболѣе сложными давно уже не новость. Мы приведемъ относящееся сюда мѣсто изъ Жанъ-Поля, который, какъ педагогъ и вообще какъ мыслящій человекъ, хорошо понималъ чрезвычайную важность первыхъ шаткихъ шаговъ дѣтской мысли для позднѣйшаго развитія.

«На низшей степени, тамъ гдѣ еще только начинается человекъ (и кончается животное) первое легчайшее сравненіе двухъ представленій... есть уже острота (Witz)» ¹⁾. «Остроумныя сближенія суть первородныя созданія стремленія къ развитію, и переходъ отъ игры остроумія къ наукѣ есть только шагъ, а не скачекъ... Всякое изобрѣтеніе есть сначала только острота» ²⁾. Остроуміе (Witz) есть непосредственное творчество. «Самое слово (*Witz*) обозначало прежде способность знать, какъ и англ. гл. *wit*, знать, сущестъ. *wit*, разсудокъ, разумъ, смыслъ. Вообще довольно частѣ одно слово обозначаетъ и остроуміе, и духъ вообще: ср. *esprit*, *spirit*, *ingeniosus*».

«Точно такимъ образомъ, какъ и остроуміе, но съ болѣею напряженностью сравниваетъ и *проницательность ума* (*Scharfsinn*) и *глубокомысліе* (*Tiefsinn*)».

¹⁾ Jean Paul's Sämmtl. W. XVIII. Vorschule d. Aesth. § 45.

²⁾ „Die Erstgeburten des Bildungstriebes sind witzige. Auch ist der Uebergang von der Messkunst zu den elektrischen Kunststücken des Witzes... mehr ein Nebenschritt, als ein Uebersprung... Jede Erfindung ist anfangs ein Unfall“. Ib. t. XXIII, 93.

«Съ объективной стороны эти три направленія разнятся между собою. Остроуміе находитъ отношеніе сходства, т. е. частнаго равенства, скрытаго за ббльшимъ несходствомъ; пронигательность—отношеніе несходства, т. е. частнаго неравенства, скрываемаго преобладающимъ равенствомъ; глубокомысліе за обманчивою наружностью явленій находитъ полное равенство»....

«Остроуміе сравниваетъ преимущественно несоизмѣримыя величины, ищетъ сходства между міромъ тѣлеснымъ и духовнымъ (напр. солнце-истина), другими словами—уровниваетъ себя съ тѣмъ, что внѣ, слѣдовательно—два непосредственныя воспріятія (Anschauungen)... Отношеніе, нагдимое остроуміемъ—наглядно» (есть первичное, постигаемое слушателемъ сразу), тогда какъ, напротивъ, пронигательность, въ найденныхъ уже отношеніяхъ соизмѣримыхъ и сходныхъ величинъ находящая и различающая новыя отношенія... требуетъ, чтобы читатель (или слушатель) повторилъ за изслѣдователемъ весь трудъ изслѣдованія. Пронигательность, какъ остроуміе, возведенное въ степень, сравнивающее не предметы, а сравненія, согласно со своимъ нѣмецкимъ именемъ (Scharfsinn; острое раздѣляетъ, разсѣкаетъ), сьизнова дѣлитъ данныя уже сходства».

«За тѣмъ развивается третья сила, или лучше сказать одна и та же совсѣмъ всходитъ на горизонтъ. Это—глубокомысліе.... которое стремится къ равенству и единству всего того, что наглядно связано остроуміемъ и разсудочно (verständlich), разрознено пронигательностью. Глубокомысліе—сторона челоуѣка, обращенная къ незримоу и высочайшему» ¹⁾.

По поводу этой выписки замѣтимъ слѣдующее:

Во первыхъ, на счетъ самаго слова *остроуміе*. Никакой разумный педагогъ не усумнится, что игра ребенка за-

¹⁾ Ibid. t. XVIII, § 43.

ключаетъ въ себѣ въ зародышѣ и преобразуетъ позднѣйшую дѣятельность, свойственную только взрослому человѣку, точно такъ, какъ слово есть первообразъ и зародышъ позднѣйшей поэзіи и науки. Извѣстна также характеризующая ребенка смѣлость, съ какою онъ объясняетъ свои наличныя воспріятія прежними: неуклюжій кусокъ дерева превращается въ его воображеніи и въ лошадь, и въ собаку, и въ чело- вѣка въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. Дитя совершенно серьезно принимаетъ къ сердцу оскорбленія, въ шутку наносимыя его куклѣ, потому что апперципировало ея образъ тѣми рядами воспріятій, которые ложатся въ основаніе нашего уваженія къ *человѣческому* достоинству, любви къ ближнему и т. п. и сравнило между собою куклу и себя, предметы для насъ весьма различныя. Факты, подобныя послѣднему, показываютъ, что считать эти первоначальныя сближенія за остроты въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова—такъ же ошибочно, какъ въ первой дѣятельности ребенка находить границы между трудомъ и развлеченіемъ, въ первомъ словѣ—видѣть прилагательное или глаголь. Называя извѣстное сближеніе остроумнымъ, мы тѣмъ самымъ предполагаемъ въ себѣ сознаніе другихъ отношеній, которыя считаемъ истинными; если же намъ нечему противопоставить остроты, то она есть для насъ полная истина.

Во вторыхъ: средство, разрушающее прежнія сравненія (и причинныя отношенія сравниваемыхъ членовъ), сила, называемая Жанъ-Полемъ «Scharfsinn», есть не что иное, какъ отрицаніе; но крайней мѣрѣ это послѣднее имѣетъ всѣ признаки, находимыя Жанъ-Полемъ въ пронизательности.

а) Отрицаніе есть отношеніе соизмѣримыхъ величинъ. *Non-A* само по себѣ, независимо отъ всего остальнаго, невысказано, не заключаетъ въ себѣ никакихъ причинъ, по которымъ оно могло бы прійти на мысль. Полное отрицаніе невозможно. Такъ какъ дѣятельность даетъ мысли только положительныя величины, то отрицаніе должно быть результатомъ извѣстнаго столкновенія этихъ величинъ въ сознаніи.

Какъ происходитъ это столкновение, можно видѣть изъ слѣдующаго: если кто говорить: «эта бумага *не была*», то, значить, первое впечатлѣніе заставило его воспроизвести прежнюю мысль о бѣлизнѣ бумаги, а слѣдующее вытѣснило эту мысль изъ сознанія. Первый актъ мысли образовалъ сужденіе положительное, въ которомъ одна стихія вызывала другую, т. е. имѣла съ нею общія стороны; но предикатъ не могъ удержаться при давленіи слѣдующаго воспріятія, которое будетъ выражено и словомъ, если скажемъ: «это не бѣлая, а сѣрая бумага». Раздѣлимъ противорѣчащія другъ другу предикаты такимъ количествомъ другихъ актовъ мысли, которое достаточно для того, чтобы, при мысли о сѣрой бумагѣ, помѣшать воспроизведенію мысли о бѣлизнѣ и мы получимъ положительное сужденіе «бумага сѣра». Отсюда видно, что отрицаніе есть сознаніе процесса замѣщенія одного воспріятія другимъ, непосредственно за нимъ слѣдующимъ. Для измѣненія предполагаемаго чистаго *non A* въ дѣйствительную величину, т. е. въ *неполное* отрицаніе, необходимо прибавить къ нему обстоятельство, вызывающее его въ сознаніе; это обстоятельство можетъ быть только положительною величиною, однородною и сравниваемою съ *non A*. Легко примѣнить это къ языку и простѣйшимъ формамъ поэзіи. И здѣсь основная форма есть положительное сравненіе; отрицаніе примыкаетъ къ нему, развивается изъ него, — *есть* первоначально *отрицательное сравненіе*, и только впоследствии стираетъ съ себя печать своего происхожденія. Какъ будто нѣсколько книжная пословица «власть не сласть, а воля не завидная доля» возможна только потому, что въ языкѣ рождаются представленія свободы и счастья, что воля есть именно завидная доля. Кашебская пословица «тьма не ѣсть людей, но валить ихъ съ ногъ» предполагаетъ мысль, что тьма дѣйствительно ѣсть людей, что будетъ понятно, если вспомнимъ, что *тьма* (поль. *ста*, ночной мотылекъ) есть мифическое существо, тождественное съ сер. вѣштицею, съѣдающею сердце. Такъ и во многихъ другихъ случаяхъ. Поэтому намъ кажется весьма древнею такая форма

отрицанія, въ которой этому послѣднему предшествуетъ утвердительное сравненіе:

И по той бікъ гора,
И по сей бікъ гора,
А міжъ тими та гіроньками
Ясная зоря;
Ой тожь не зоря,
Ой тожь не ясна,
Ой тожь, тожь моя та дівчинонька
По воду пішла.

Судя по сжатости и темнотѣ, позднѣе упомянутой, такая форма, въ которой положительное сравненіе не выражается словами:

Не буйные вѣтры понавѣяли,
Незванные гости понаѣхали.

Примѣненіе созданныхъ уже категорій къ наукѣ въ сущности есть повтореніе тѣхъ приемовъ мысли, коими создавались эти категоріи. Первое научное объясненіе факта соотвѣтствуетъ положительному сравненію; теорія, разбивающая это объясненіе, соотвѣтствуетъ простому отрицанію. Для человѣка, въ глазахъ котораго рядъ заключенныхъ въ языкѣ сравненій есть наука, мудрость, поэтическое отрицаніе есть своего рода разрушительная критика.

б) Изъ предшествующаго видно и второе сходство отрицанія съ пронизательностью, именно ббльшая сложность сочетаній въ отрицаніи, чѣмъ въ сравненіи. Впрочемъ, эта сложность безъ дальнѣйшихъ опредѣленій столь же мало можетъ быть исключительнымъ признакомъ отрицанія, какъ и предполагаемая его пониманіемъ необходимость прослѣдить весь предшествующій ходъ мысли. Не то ли самое въ сложномъ сравненіи, напр. листьевъ съ разумомъ, или пера со словомъ?

Хотя исходная точка языка и сознательной мысли есть сравненіе и хотя все же языкъ происходитъ изъ усложненія этой первоначальной формы, но отсюда не слѣдуетъ, чтобы мысль говорящаго при каждомъ словѣ должна была

проходить все степени развитія, предполагаемая этимъ словомъ. Напротивъ, въ большинствѣ случаевъ необходимо забвение всего предшествующаго послѣдней формѣ нашей мысли. Какимъ образомъ, напр., возможно было бы существованіе научнаго понятія о силѣ, если бы слово *сила* (корень *си*, вязать) постоянно приводило на мысль представленіе *вязанья*, бывшее однимъ изъ первыхъ шаговъ мысли, идеализирующей чувственныя воспріятія, но уже постороннее для понятія силы?

Языкъ представляетъ множество доказательствъ, что такія явленія, которыя, повидимому, могли бы быть непосредственно сознаны и выражены словомъ, на самомъ дѣлѣ предполагаютъ продолжительное подготовленіе мысли, оказываются только послѣднею въ ряду многихъ предшествующихъ, уже забытыхъ инстанцій. Таковы напр. дѣятельности *бѣжать*, *дѣлать*, предметы въ родѣ частей тѣла и проч. Предположимъ напр., что слово *гр*, *гар* (или какая нибудь болѣе древняя его звуковая форма) имѣетъ первоначальное значеніе горѣнія и огня. Въ этомъ словѣ апперципируется потомъ уменьшеніе горючаго матеріала при горѣніи и уменьшеніе снѣди, по мѣрѣ того какъ ѣдятъ, откуда слова *жрѣти*, *жрать*, получаютъ значеніе *ѣсть*. Въ словѣ съ этимъ послѣднимъ значеніемъ сознается чувственный образъ горла, которое сначала представляется только пожирающимъ, истребляющимъ пищу, подобно огню. Такое значеніе апперципируетъ образы, обозначаемые тѣми же, или подобными звуками: *Мр. жерело*, *гирло* (устье). *Вр. жерло* и т. п. Преобладающее въ послѣднихъ словахъ значеніе отверстія (кажется болѣе сложное, чѣмъ зн. человѣческаго горла) очень далеко отъ первоначальнаго значенія огня, и потому не приводитъ его на память; степень забвенія мысли *A* соответствуетъ количеству другихъ мыслей, отдѣляющихъ ее отъ *B*, которое въ эту минуту находится въ сознаніи; благодаря этому въ приведенномъ выше примѣрѣ мысль можетъ сосредоточиться на значеніи отверстія, не возвращаясь на пути, которыми пришла къ его сознанію.

По мѣрѣ того, какъ мысль посредствомъ слова идеализируется и освобождается отъ подавляющаго и раздробляющаго ее вліянія непосредственныхъ чувственныхъ воспріятій, слово лишается исподоволь своей образности ¹⁾. Тѣмъ самымъ полагается начало прозѣ, сущность коей—въ извѣстной сложности и отвлеченности мысли. Нельзя сказать, когда начинается проза, какъ нельзя точно опредѣлить времени, съ котораго ребенокъ начинаетъ быть юношей. Первое появленіе прозы въ письменности не есть время ея рожденія, еще до этого она уже есть въ разговорной рѣчи, если входящія въ нее слова—только знаки значеній, а не, какъ въ поэзіи, конкретные образы, пробуждающіе значеніе.

Количество прозаическихъ стихій въ языкѣ постоянно увеличивается согласно съ естественнымъ ходомъ развитія мысли; самое образованіе формальныхъ словъ—грамматическихъ категорій есть подрывъ пластичности рѣчи. Проза рождается не во всеоружіи, и потому можно сказать, что прежде было ея меньше, чѣмъ теперь. Тѣмъ не менѣе, не противорѣча мысли, что различныя степени живости внутренней формы словъ въ различныхъ языкахъ могутъ условливать большую или меньшую степень поэтичности народовъ, что напр. такіе прозрачные языки какъ славянскіе и германскіе, болѣе выгодны для поэтического настроенія отдѣльных лицъ, чѣмъ французскій, слѣдуетъ прибавить, что нѣтъ такого состоянія языка, при которомъ слово тѣми или другими средствами не могло получить поэтического значенія. Очевидно только, что характеръ поэзіи долженъ мѣняться отъ свойства стихій языка, т. е. отъ направленія образующей ихъ мысли и количества предполагаемыхъ ими степеней. Исторія литературы должна все болѣе и болѣе сближаться

¹⁾ Мы нигдѣ здѣсь не упоминали о происхожденіи формальныхъ, или, какъ говоритъ Гумбольтъ, „субъективныхъ“ словъ, „исключительное содержаніе коихъ есть выраженіе личности или отношенія къ ней“, но полагаемъ, что и эти слова, подобно „объективнымъ, описательнымъ и повѣствовательнымъ, означающимъ движенія и пр. безъ отношенія въ личности“ (Humb. *üb. die Versch.* 114, 116, 122), что и эти слова въ свое время не были лишены поэтической образности.

съ исторією языка, безъ которой она такъ же ненаучна, какъ физиологія безъ химіи.

Важность забвенія внутренней формы—въ положительной сторонѣ этого явленія, съ которой оно есть усложненіе, или, какъ говоритъ Ляцарусъ, *сгущеніе* мысли. Самое появленіе внутренней формы, самая апперцепція въ словѣ сгущаетъ чувственный образъ, замѣняя всѣ его стихіи однимъ представленіемъ, расширяя сознаніе, сообщая возможность движенія большимъ мысленнымъ массамъ ¹⁾. За тѣмъ, въ ряду вырастающихъ изъ одного корня представленій и словъ, изъ коихъ послѣдующія исподоволь отрываются отъ предшествующихъ и теряютъ слѣды своего происхожденія, сгущеніемъ можетъ быть названъ тотъ процессъ, въ силу котораго становится простымъ и нетребующимъ усилія мысли то, что прежде было мудрено и сложно. Многіе на вопросъ, ходятъ ли они, воспринимаютъ ли извнѣ дѣйствія, какъ *копать*, *рубить*, или качества, какъ *зелень* и проч., отвѣтятъ утвердительно, не обративъ вниманія на противорѣчіе, заключенное въ вопросѣ (чувственное воспріятіе качествъ или дѣйствія, вообще неподлежащаго чувствамъ) и не думая о томъ, что можно вовсе не сознавать ни дѣйствія, ни качества. Извѣстно, что истина, добытая трудомъ многихъ поколѣній, потомъ легко дается даже дѣтямъ, въ чемъ и состоитъ сущность прогресса; но менѣе извѣстно, что этимъ прогрессомъ челоуѣкъ обязанъ языку. Языкъ есть потому же условіе прогресса народовъ, почему онъ органъ мысли отдѣльнаго лица.

Легко увѣриться, что широкое основаніе дѣятельности потомковъ, приготовляемое предками—не въ наслѣдственныхъ физиологическихъ расположеніяхъ тѣла, и не въ вещественныхъ памятникахъ прежней жизни. Безъ слова челоуѣкъ остался бы дикаремъ среди изящнѣйшихъ произведеній искусства, среди машинъ, картъ и т. п., хотя бы ви-

¹⁾ *Steinth.* Gr. L. v. Ps. 331, 334. *Zeitschr. für Philos. v. Fichte etc.* XXXII. 218.

дѣль на дѣль употребленіе этихъ предметовъ, потому что какъ же учить нѣмымъ примѣромъ даже наукамъ, требующимъ наглядности, какъ передать безъ словъ такія понятія, какъ наука, истина и пр.? Одно только слово есть *monumentum aere perennius*; одно оно относится ко всемъ прочимъ средствамъ прогресса (къ которымъ не принадлежитъ ихъ источникъ, человѣческая природа) какъ первое и основное.

Мысль о наслѣдственности содержанія языка заключаетъ въ себѣ противорѣчіе и требуетъ нѣкоторыхъ дополненій. Возможность объяснить значеніе языка для мысли вся основана на предположеніи, что мысль развивается извнутри; между тѣмъ *сообщеніе* опыта, какъ чего-то внѣшняго, нарушаетъ эту субъективность развитія. Выше мы видѣли, что языкъ есть полнѣйшее творчество, какое только возможно человѣку, и только потому имѣетъ для него значеніе; здѣсь возвращаемся къ упомянутому уже въ началѣ факту, что мы перенимаемъ, беремъ готовый языкъ, факту, который одинаково можетъ быть обращенъ и противъ мнѣнія о сознательномъ изобрѣтеніи, и о бессознательномъ возрастаніи языка изъ глубины души. Эти недоумѣнія не трудно рѣшить на основаніи предшествующаго.

Что *передаемъ* мы ребенку, который учится говорить? Научить, какъ произносятся звуки, мы не можемъ, потому что сами большею частью не знаемъ, да еслибъ и знали, то учить бы могли только на словахъ. Дитя произносить звуки, т. е. въ немъ такъ же дѣйствуетъ тѣлесный механизмъ, какъ и въ первомъ человѣкѣ; оно любитъ повторять услышанныя слова, причѣмъ создавало бы новые членораздѣльные звуки въ силу дѣйствія внѣшнихъ впечатлѣній, если бы не было окружено уже готовыми. Даже тогда, когда мы прямо показываемъ, какъ обращаться напр. съ перомъ, мы не передаемъ ничего, и только возбуждаемъ, даемъ другому случай получить впечатлѣніе, которое внутренними, почти неизслѣдимыми путями проявляется въ дѣйствіи. Еще менѣе возможна передача значенія слова. Значеніе не пере-

дается, и повторенное ребенкомъ слово до тѣхъ поръ не имѣть для него смысла, пока онъ самъ не соединить съ нимъ извѣстныхъ образовъ, не объяснить его воспріятіями, составляющими его личную, исключительную собственность. Апперцепція есть конечно явленіе вполне внутреннее. Дитя можетъ придавать суффиксу—*овъ* значеніе лица, производящаго то, что обозначено корнемъ, можетъ думать, что Пороховъ—тотъ, что порохъ дѣлаеть; но всякое ложное пониманіе было бы невозможно, еслибъ значеніе давалось извнѣ, а не создавалось понимающимъ.

Говорящіе даютъ ребенку только случай замѣтить звукъ. По выраженію Ляцаруса, воспріятіе ребенкомъ пустаго звука можно сравнить съ астрономическимъ открытіемъ, что на такомъ то мѣстѣ неба должна быть звѣзда; открытіе самой звѣзды, условленное этимъ—то же, что созданіе значенія звуку. Мы уже упомянули, что сознаніе въ словѣ многихъ предметовъ, подлежащихъ чувствамъ, является относительно поздно. Безъ помощи языка, въ которомъ есть сл. *горло*, столько же поколѣній должно бы было трудиться надъ выдѣленіемъ горла изъ массы прочихъ воспріятій, сколько нужно было для созданія самого слова *горла*; современный же ребенокъ, въ которомъ безсознательно сложилась мысль, что слово что нибудь да значить, скоро и легко объяснить себѣ звуки упомянутого слова образомъ самого предмета, на который ему указываютъ. Образъ этотъ не смѣшается съ другими, потому что обособляется и сдерживается словомъ, которое съ нимъ связано. При этомъ путь мысли ребенка сократился; онъ сразу, минуя предшествующія значенія (напр. огня и пожиранія), нашелъ искомое значеніе слова.

Извѣстно, что слова съ нагляднымъ значеніемъ понимаются раньше отвлеченныхъ, но ходъ пониманія тѣхъ и другихъ въ общихъ чертахъ одинъ и тотъ же. «Положимъ, говорить Ляцарусъ, что дитя имѣть уже извѣстное число образовъ съ соотвѣтствующими имъ словами: ѣсть, пить, ходить, бѣжать и проч.; оно еще не умѣетъ выразить сво-

ихъ отношеній къ этимъ образамъ: *хочетъ* ѣсть, но говорить только: «ѣсть», взрослые говорятъ между собою и къ нему: «мы *хотимъ* ѣсть», и дитя замѣчаетъ сначала это слово, а потомъ и то, что желаніе предшествуетъ исполненію. Дитя хочетъ пить и протягиваетъ руку къ стакану, а у него спрашиваютъ: *хочешь* пить? Оно видитъ, что желаніе его понято и названо словомъ *хочешь*. Такъ выдѣляется и значеніе словъ ты, мы, мой, твой и пр. Кто держитъ вещь, тотъ говоритъ «мое» и за тѣмъ не отдаетъ другому; кто даетъ, тотъ говоритъ «твое» и т. д. ¹⁾. Начало пониманію отвлеченнаго слова полагается его сочетаніемъ съ конкретнымъ образомъ (напр. *мое* съ образомъ лица, которое держитъ), откуда видно, что напр. мѣстоименіе, замѣченное ребенкомъ, сначала для него вовсе не формальное слово, но становится формальнымъ по мѣрѣ того, какъ прежнія его сочетанія съ образами разрушаются новыми. Еслибъ притяжательное *мой* слышалось ребенкомъ лишь отъ одного лица и объ одной только вещи, то хотя бы оно и не слилось съ образами этого лица и этой вещи (если и то и другое имѣетъ для него свое имя), но не навсегда осталось бы при узкомъ значеніи такой то принадлежности такому то человѣку; мѣстоименіе обобщается отъ перемѣны его обстановки въ рѣчи. Здѣсь видно, какъ различно воспитательное вліяніе языковъ, стоящихъ на разныхъ степеняхъ развитія внутренней формы. Быстрое расширеніе пониманія слова ребенкомъ оканчивается тамъ, гдѣ остановился самъ языкъ; затѣмъ начинается то медленное движеніе впередъ, результаты коего обнаруживаются только столѣтіями. Въ одномъ изъ Малайскихъ языковъ (на островахъ Дружбы) личныя мѣстоименія не отличаются отъ нарѣчій мѣста: *мнѣ* значитъ вмѣстѣ и *сюда* (къ говорящему), *тебѣ*—*туда* (по направленію ко второму лицу), напр. «Когда говорили *сюда* многія женщины», т. е. говорили намъ; «я можетъ быть говорилъ *туда* неразумно», т. е.

¹⁾ Das Leben der Seele. II, гл. 3.

сказалъ вамъ глупость. Такой языкъ не можетъ образовать понятія о лицѣ независимо отъ его пространственныхъ отношеній; но если бы въ европейцѣ сложилось сочетаніе мѣстоименія съ представленіемъ движенія, направленія, то это сочетаніе было бы немедленно разорвано другими, уничтожающими всякую мысль о пространствѣ.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the word "STATISTICS".

